Ф. Н. ГЛИНКА

Советский писатель

Ф. Н. Глинка.

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

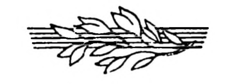
Большая серия

Второе издание

Л Е Н И Н Г Р А Д • 1 9 5 7

Ф. Н. ГЛИНКА

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
В. Г. Базанова

Ф. Н. ГЛИНКА

Федор Николаевич Глинка был поэтом, драматургом, прозаиком. В течение долгого времени Глинка и как писатель и как общественный деятель замалчивался дворянско-буржуазной наукой. О нем если и вспоминали дореволюционные историки, то лишь в общих обзорах русской поэзии. Причем характеризовали его как эпигона Жуковского, мистика и филантропа. Такому одностороннему и неверному взгляду частично способствовало позднейшее творчество поэта, когда религиозно-мистические настроения стали у него главенствующими. Но главной и решающей причиной было стремление старой науки замолчать явления вольнолюбивой поэзии. Мы не можем забыть, что Глинка в молодости, в 20-е годы, близко стоял к Пушкину и Рылееву, что он был видным поэтом и общественным деятелем декабристского направления. В лице Глинки декабристы имели отличного организатора передового литературного движения, опытного руководителя Вольного общества любителей российской словесности — этого своеобразного филиала Союза Благоденствия, а потом и Северного общества — декабристских организаций того времени. Роль Глинки в формировании декабристской идеологии и литературы была заметна и плодотворна. В истории русской поэзии он занимает самостоятельное место. Глинка шел своим путем, разрабатывал свои поэтические приемы, в значительной мере архаические, которые были вне господствовавших литературных традиций. Но в его обширном, пестром и неравноценном наследии есть опыты гражданской поэзии, достойные высокой оценки. Его военно-патриотические песни, стихи 1812 года, знаменитая «Тройка» («Вот мчится тройка удалая...») и столь же знаменитый «Узник» («Не слышно шума городского...»), стихотворение «Москва» («Город чудный, город древний...»), наконец некоторые его элегические псалмы и фрагменты из поэмы «Карелия», в свое время

сочувственно встреченные А. С. Пушкиным, заслуживают включения в самую строгую по отбору антологию русской поэзии. Для советского читателя представляет интерес особенно раннее творчество Глинки, без которого нельзя представить историю декабристской поэзии.

1

Федор Николаевич Глинка родился в 1786 году в имении Сутоках Смоленской губернии. Он получил воспитание в 1-м кадетском корпусе, откуда в 1803 году был выпущен прапорщиком в Апшеронский полк. Назначенный в 1805 году адъютантом гр. Милорадовича, Глинка принял непосредственное участие в войне 1805—1806 годов и сражался под Аустерлицем. После завершения военной кампании он по болезни ушел в отставку и поселился в смоленской деревне, отдавшись полностью литературе. В 1808 году в Москве вышли в свет его «Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях и Венгрии с подробным описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806 гг.». В 1810—1811 годах он совершил краеведческое путешествие по Смоленской и Тверской губерниям, плавал по Волге и побывал в Киеве. «Письма русского офицера» дополнились «Замечаниями, мыслями и рассуждениями во время поездки в некоторые отечественные губернии».

Тогда же, в годы первой войны с Наполеоном, Глинка пробует свои силы в области патриотической поэзии. Показательно название самого первого стихотворения Глинки, напечатанного в 1807 году в Смоленске, — «Глас патриота». И все остальные стихотворения, появившиеся в «Русском вестнике» в ближайшие годы, представляют собой патриотические гимны и оды с явным соблюдением принципов архаического стиля. Вот отрывок одного из самых ранних стихотворений: «Строфы из оды на победы под Пультуском и Прейсиш-Эйлау», появившегося в 1808 году в «Русском вестнике» (ч. 2):

И мне ль, певцу безвестну в мире,
Сынов бессмертья воспевать?
На слабой и нестройной лире —
Не мне хвалы им соплетать.
Их имена для всех священны,
В сердцах потомков впечатленны,
Столетья могут пережить;
Поля побед для них — трофеем,
Вселенна цела — мавзолеем
Должна для сих героев быть!

Подобных примеров можно привести довольно много. Глинка воспользовался приемами высокой риторической поэзии для выражения патриотических чувств и «геройского шума». Минуя современные литературные течения, в частности увлечение легкой поэзией, он обратился к традициям русской поэзии XVIII столетия. Путь, избранный Глинкой в молодости, не мог привести его в «Арзамас». Глинка более тяготел к «Беседе любителей российской словесности». Однако было бы крайне несправедливо поставить знак равенства между поэтической практикой Глинки и «шишковистов». Своеобразие Глинки состоит в его преднамеренной ориентации на поэзию большого государственного и патриотического содержания. В этом отношении он вполне заслуженно может считаться подражателем и продолжателем поэзии Ломоносова и Державина. За Ломоносовым Глинка следовал по существу, широко используя поэтическую композицию ломоносовской оды, ее декламационно-ораторскую окраску, риторическую приподнятость и вопрошания, тематику, гражданский пафос и национальную героику ломоносовской поэзии. Достаточно, например, указать, что Глинка одновременно с «Гласом патриота» и подобными патриотическими гимнами в 1808 году выступал с отрывками из поэмы «Смерть Петра Великого» и с переводом 8-й главы «Книги Иова», т. е. прямым образом продолжал тематику Ломоносова. «Не радости собор сей жизни услажденье, дни скорбны петь хочу — России сокрушенье», — таков зачин глинковской поэмы, как бы продолжающей незаконченную героическую поэму Ломоносова о Петре I. *

Еще Великий Петр, Россию прославляя
И быстрой молнией по всем краям летая,
Там грады воздвигал, а тамо на морях
Сквозь бури он летал на новых кораблях,
Или в пылающих огнях гремящих боев
Творил, образовал для стран родных героев,
Душой, как чад, любя род верных россиян.

Стихотворений, напоминающих каноническую оду, с ясным соблюдением принципов архаического стиля, особенно много поместил Глинка в «Русском вестнике», издателем и редактором которого был его брат С. Н. Глинка, а также в «Трудах Вольного общества любителей российской словесности» (1818—1823). Такой архаической одой является «Гимн величию и всемогуществу божию».

---

* Глинка начал свое творчество прославлением Ломоносова и закончил свой многолетний литературный путь стихотворением в честь Ломоносова.

Есть бог — пространством невместимый,
Кому вся вечность — тесный круг:
Повсюду сущий, никем не зримый
И всё животворящий дух!
Чей взор — моря благотворений!
Чья жадна мысль — есть ряд творений!
Кто весь — любовь и вечный свет!
Чья длань — объемлет бесконечность!
Речет: «Не быть мирам» — и нет!

И по началу этого гимна нетрудно убедиться, что не только форма религиозно-философской оды, но и мысль о боге как о некой субстанции полностью совпадает с державинской одой «Бог». Тяжеловесные и явно подражательные оды, написанные не в кадетском корпусе и не в годы юношеских увлечений (Глинке в 1808 году было 22 года), уживались с дружескими посланиями, камерными элегиями и разной альбомной «мелочью», т. е. жанрами, которые особенно культивировали в поэзии карамзинисты. И значительно позже, в 20—30-е годы, Федор Глинка в своем творчестве легко объединяет противоположные поэтические традиции. Его поэзия пестра и неоднородна. Но в этом пестром наследии главный и наиболее самобытный раздел образуют все же стихи витийственные и громкие, написанные в духе и стиле Ломоносова и Державина. Значительно позже, в 40-е годы, Глинка в письме к А. А. Краевскому писал о своей поэзии: «Поэзия моя, если можно так назвать мои псалмы, возгласы и тому подобное, не по нынешнему веку: она жестка и темна, не посыпана тем сахаром, который льстит современному вкусу». С этим нельзя не согласиться.

Глинка не скрывал своей приверженности к традициям XVIII века и участвовал в литературной полемике с карамзинистами. В 1811 году в «Русском вестнике» он опубликовал свои «Замечания о языке славянском и русском, или светском наречии». Не присоединившись ни к тем, ни к другим, ни к шишковистам, ни к карамзинистам, автор «Замечаний» восторженно отзывался о «наречии славянском», находя в нем много поэтической прелести, самобытности и энергии: «Какое изобилие! Какие возвышенные и какие величественные красоты в наречии славянском. И притом какое искусное и правильное сочетание слов, без чего и лучшие мысли теряют свою красоту... Славянское наречие особенно отличается силою, краткостью, выразительностью. Силу и краткость и выразительность — постараемся сохранить в русском языке». *

* «Русский вестник», 1811, № 7, стр. 75.

«Замечания о языке славянском и русском, или светском наречии» Федора Глинки во многом предвосхищают выступление Катенина в «Сыне отечества» и Кюхельбекера в «Мнемозине». Катенин в 1822 году призывал следовать по пути Ломоносова: «Должны ли мы сбиваться с пути, им (Ломоносовым. — *В. Б.)* так счастливо проложенного?» — спрашивал Катенин. «Знаю, — говорил он, — все насмешки новой школы над славянофилами, варягороссами и пр., но охотно спрошу у самих насмешников: каким же языком нам писать эпопею, трагедию или даже важную благородную прозу? Легкий слог, как говорят, хорош без славянских слов; пусть так, но в легком слоге не вся словесность заключается: он даже не может занять в ней первого места; в нем не существенное достоинство, а роскошь и щегольство языка». *

Русский классицизм (Ломоносов, Державин), затем молодая классика — Крылов и Грибоедов — это наиболее близкая стихия в русской поэзии Катенину и Глинке. Классицизм был дорог будущим поэтам-декабристам своей приверженностью к поэзии общественно-значительной, своим публицистическим пафосом. Отсюда понятно их общее тяготение к поэзии архаической, отличающейся обилием славянизмов и гражданской витийственностью. Классицизм был во многом противоположен нарождавшейся тогда интимно-бытовой поэзии, оторвавшейся от больших общественных проблем, чрезмерно преувеличивавшей мир личных переживаний. По языку эта интимная поэзия тяготела к бытовой лексике дворянского круга, она чуждалась просторечия, народного языка. Будущие поэты-декабристы ценили в поэзии XVIII столетия темы высокого звучания, ее политический и государственный пафос, ее общий размах.

Внутри самой декабристской поэзии следует различать отдельные оттенки и направления. Совершенно очевидно, что Рылеев, Александр Одоевский, Александр Бестужев и частично Кюхельбекер придерживались иных позиций, нежели Катенин и Глинка. Сложность и противоречивость эстетической позиции последних состоит в том, что в борьбе за народность и романтизм они опирались не столько на новейший романтизм и французский классицизм, сколько на традиции русской поэзии XVIII века (Ломоносов, Державин, Радищев, частично Княжнин). В 1826 году, оглядываясь на пройденный путь, Глинка в письме к В. В. Измайлову очень хорошо сказал о себе: «Я не классик и не романтик, а что-то сам не знаю, как назвать». Романтическая теория привлекала декабристов живым интересом к проблемам народности, с романтизмом были связаны поиски национально-самобытных форм поэзии и борьба за национальное содержание литературы. Романтики

---

* «Сын отечества», 1822, № 13, стр. 252.

помогали решать проблему самобытности и проблему особой вольнолюбивой эстетики. Классики помогали поэтам-декабристам создавать новую гражданскую поэзию, поэзию высокую и витийственную. Среди поэтов-декабристов Глинка был больше классиком, чем романтиком.

2

Опираясь на идеи эпохи просвещения, Катенин и Глинка, каждый по-своему, пытаются создать историческую трагедию «гражданского состава». Катенинская трагедия «Андромаха» была начата в 1809 году, когда поэту было всего семнадцать лет. Закончил свою трагедию Катенин в 1818 году, а увидела свет она лишь в 1827 году. В 1808 году Федор Глинка закончил свою трагедию «Вельзен, или Освобожденная Голландия».

Начальствующий над голландскими войсками, главный герой трагедии Вельзен, наделен всеми качествами гражданина. Вельзен — вождь восстания, простой и сильный человек, верный сын своего отечества. Мужественно и непоколебимо ведет себя голландский князь Инслар, он призывает к решительной борьбе против чужеземного ига и тирании. Его обращение к воинам и ответ Эрика и есть тот идейный стержень трагедии, который в дальнейшем движет развитие всего сюжета.

Не только Вельзен и Инслар, но и Годмила, жена Вельзена, участвует в общей борьбе за священные права народа, помогает разить тирана. Она, гордая и независимая, смело высказывает свою ненависть к похитителям свободы нидерландского народа.

От ига жестокого деспота Флорана стонет весь народ. Флоран достиг престола путем преступлений и жертв:

...Флоран, взойдя на здешний трон,
Скрепляя смертию кровавое правленье,
Цветущие страны привел в опустошенье...

Совершенно по-другому выглядит страна, когда царствует справедливый монарх, избранный самим народом. Вельзен, овеянный славой побед над тиранией, как истинный патриот, заботящийся прежде всего о благе своего народа, а не о собственном благополучии, предлагает передать престол законному наследнику покойного Альфреда — его сыну Эдгарду, «подданных другу и благодетелю». Обращаем внимание на следующий диалог: «Все: Законного царя признать наш общий долг. Один из народа: Мы глас сей повторяем. Отца отечества на царство избираем!» Концепция о незаконных царях,

скрепивших «смертию кровавое правленье», и о царях «законных», освободивших соотечественников от «оков и рабства», в годы царствования Александра I, когда память об убийстве Павла ставленниками первого была слишком свежа, в политическом отношении являлась более чем двусмысленной. Через несколько лет подобная двусмысленность встретится в пушкинской оде «Вольность». Характерно, что из всех республиканских трагедий 10—20-х годов трагедия Глинки наиболее оптимистическая. Вожди войск и сами воины ждут с минуты на минуту, когда появится Вельзен, чтобы вместе с ним и под его руководством или за «отечество с восторгом умереть», или «тысячью смертей тирана поразить». Борьба свободных духом голландцев кончается полным торжеством гражданской добродетели, низвержением тирании; в трагедии Глинки отсутствует мотив пострадавших «заговорщиков», предчувствие гибели.

Хотя эта трагедия посвящена Нидерландам, отдельные ее детали свидетельствуют о том, что борьба свободолюбивых сынов с тираном воспринимается поэтом значительно шире. Местный элемент в трагедии носит чисто условный характер. Хотя, как указывают ремарки, действие происходит в древнем Амстердаме, но трагедия Глинки не имеет никакого отношения к Голландии. В ней есть абстрактный образ некоей страны, борющейся со столь же отвлеченным тираном. И все имена героев придуманы самим Глинкой, их нет в летописи нидерландских событий XVI века. Флоран то и дело именуется царем. Нидерландский сюжет сближается с русской действительностью.

Свободу — или смерть! ..
Страна, лишенная законов и свободы,
Не царство — но тюрьма: в ней пленники народы...

Подобная тирада могла относиться ко всякой стране, лишенной законов и свободы, а к России в особенности. В опечатках к тексту трагедии Глинка вынужден был несколько разрядить специальный подбор слов: свобода, закон, царство, тюрьма. Он несколько ослабил свой намек на Россию, дав слово «царство» за опечатку и предложив читать: «темница скорбная — в ней пленники народы». Однако во всех остальных стихах, посвященных тирану, слово «царь» остается:

Кто смеет рассуждать, коль царь велит карать!
Рабам ли о делах монарха рассуждать...

Изображение действия трагедии в Голландии было аллегорично, и Глинка, видимо, имел в виду прежде всего Россию.

Дальнейшее творчество Глинки-прозаика и Глинки-поэта связано с всемирно-историческим событием эпохи — Отечественной войной 1812 года. К началу Отечественной войны 1812 года Глинка жил в родном имении Сутоки Смоленской губернии. С приближением неприятеля к Смоленску он снова вступил в ряды русской армии, сражался на полях Бородина; наступая с армией, дошел до Тарутина, где встретился с генералом Милорадовичем и по его предложению вступил в прежний Апшеронский полк. Вместе с армией, преследовавшей отступающих французов, Глинка проделал весь заграничный поход 1813—1814 годов. На поле боя и во время отдыха офицер-писатель продолжал вести дневник, куда заносил свои мысли и наблюдения. В результате возникли новые «Письма русского офицера». В первом издании, 1808 года, книга эта касалась только 1805—1806 годов, теперь в нее вошли также и воспоминания об Отечественной войне, о Бородинском сражении и последующем заграничном походе русской армии. Таким образом, «Письма» заключали весь военный опыт автора, и опыт этот был немал — он охватывал всю историю борьбы России с Наполеоном. «Письма русского офицера» упрочили за Глинкой литературную известность. Эта книга осталась как заметное явление в истории русской патриотической литературы.

В гимнах и песнях Глинки война 1812 года изображается как народная война — народ является главной движущей силой великого исторического события. «Русский царь» и «трон» оттеснены в песнях Глинки на второй план; по условиям времени о них не мог не сказать поэт, но главное для него — «верные сыны», их подвиг, их борьба за свободу. Вот почему он смог выразить в своих песнях народный патриотический энтузиазм. Рассчитанные и на песенное исполнение («старался приспособить к любым песням народным», — признается поэт в одном из своих примечаний) и особенно на декламационное произношение, военно-патриотические песни писались торжественным слогом, в известной степени предвосхищали высокий гражданский стиль декабристской поэзии.

«Военнная песнь», созданная во время приближения неприятеля к Смоленску, является одной из лучших патриотических песен Глинки. Показательны ее словарь и стилистические приемы. Это пламенная речь поэта-воина, стихотворение мужественное, в котором нет растерянности, хотя поэт и знает, как вероломен и силен враг. Первые строчки стихотворения, построенные на аллитерации звука «р», как бы создают впечатление трубного звука, делают стихотворение по-военному громким:

Раздался звук трубы военной,
Гремит сквозь бурю бранный гром;
Народ, развратом воспоенный,
Грозит нам рабством и ярмом.

Повторяющиеся несколько раз глаголы «гремит», «грозит», «текут», «идут» подчеркивают нарастающую, надвигающуюся опасность.

Текут толпы, корыстью гладны,
Ревут, как звери плотоядны,
Алкая пить в России кровь,
Идут, сердца их жесткий камень,
В руках вращают меч и пламень
На гибель весей и градов!

С таким врагом необходима самая решительная борьба, сплочение всех национальных сил. Чтобы придать своей песне характер политического воззвания, патриотического призыва, Глинка обращается к торжественным церковнославянизмам, которые делают стих еще более упругим и возвышенным. Основной мотив этой «песни» выражен в следующей строфе:

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу,
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь — где узы плена,
Иль смерть — где росские знамена?
В героях быть или в рабах?

Поэт указывает, что нужно делать:

К оружью, дети тишины!
Теперь, сейчас же мы, о други!
Скуем в мечи серпы и плуги:
На бой теперь — иль никогда!
Замедлим час — и будет поздно!
Уж близко, близко время грозно:
Для всех равно близка беда!

Для военно-патриотических песен и гимнов Глинки характерны обостренное чувство политической свободы, презрение к рабству и позорному ярму, ненависть к поработителям. Нет для человека большего позора, чем влачить ярмо иноземного рабства. Эта мысль находит свое дальнейшее развитие и воплощение в «думах» Рылеева. Стилистические приемы военно-патриотических стихотворений, в частности риторические восклицания, рассчитанные на пробуждение патриотических чувств, возвышенно-декламационный стих, ярко выраженная гражданская фразеология — все это предвещает декабристскую поэзию. Глинка использует фразеологию, уже бытовавшую в среде передовых офицеров — будущих декабристов: «верные сыны», «друзья», «отечество», «народ», «слава», «свобода», «узы плена», «рабы», «тиран», «герой» и т. д. Вся эта группа слов образует в стихотворениях поэтов-декабристов целые лексические ряды. Ясно, что сами по себе лексика и фразеология, взятые изолированно, вне связи с социально-политическими идеями того или иного автора, еще мало о чем говорят. Трудно назвать хотя бы одно патриотическое стихотворение 1812 года, чтобы не обнаружить слов «отечество», «свобода» и «тиран». Даже сентиментальный князь Шаликов в «стихах светлейшему князю М. И. Голенищеву-Кутузову-Смоленскому», появившихся в 1812 году в «Сыне отечества», призывает

> . . .спасать царей, спасать народы,
> И, первое из лучших благ,
> Дар возвращать златой свободы.

О преддекабристских стилистических признаках военно-патриотической поэзии 1812 года следует говорить с большими ограничениями. Только в творчестве наиболее передовых поэтов патриотическая фразеология постепенно приобретает новые функции, новое смысловое значение. «Тираны», «рабы», «свобода» переосмысляются, они становятся символом борьбы с крепостничеством и абсолютизмом.

4

Ранние опыты Глинки (трагедия «Вельзен» и цикл военно-исторических песен) следует рассматривать как в отношении их генетической основы, так и в перспективе декабристского романтизма. В 1816 году Федор Глинка был принят М. Н. Новиковым, двоюродным племянником известного просветителя XVIII века Н. И. Новикова, в первую декабристскую революционную организацию Союза Спасения, или Общество истинных и верных сынов отечества. М. В. Нечкина, рестав-

рировавшая по первоисточникам содержание устава Союза Спасения, замечает, что введение к уставу «содержало, по-видимому, объяснение общей цели общества — «подвизаться на пользу общую всеми силами» во имя блага России, как то и надлежит истинным и верным сынам отечества». * Главную цель общества составляла борьба с крепостничеством и абсолютизмом.

В лице Глинки и Катенина Союз Спасения имел своих поэтов. Полагаем, что выступления Глинки в Вольном обществе словесности, наук и художеств 11 октября 1817 года с «Опытами двух трагических явлений» было продиктовано его принадлежностью к тайному обществу и выражало те самые идеи, за которые решили бороться истинные и верные сыны отечества. В 1818 году «Опыты двух трагических явлений» появились в «Сыне отечества» с довольно любопытным примечанием автора: «Вместо имен действующих лиц поставлены здесь нумера, ибо *отрывок* сей (два явления) не принадлежит ни к какому *целому*, а написан только для *опыта*, чтобы узнать, могут ли стихи такой меры заменить *александрийские* и монотонию рифмы, которая едва ли свойственна языку страстей». В этом примечании, главное назначение которого — усыпить бдительность цензуры, выразилось еще и то обстоятельство, что Глинка страстно искал новой формы для гражданско-ораторской поэзии, стремясь преодолеть монотонность стиха, придать стиху мужественную интонационную окраску. «Опыты» написаны в характерной для Глинки манере ораторского обращения к слушателям, это подчеркивается и в кратком изложении содержания, предпосланном стихотворению: «Один из верных сынов покоренного тираном отечества увещевал сограждан своих в тиши ночи к поднятию оружия против насильственной власти». Тот, кто знал военно-патриотические песни Глинки, где выражена вся любовь к отчизне и тоска по ней, тот не мог не почувствовать, что в «Опытах» раздается гневный голос возвратившегося с чужбины воина, увидевшего родину в рабстве и нищете, что поэт изображал в своем стихотворении положение России после войны с Наполеоном. Образ некой страны, находившейся «под пеплом, в оковах, под тяжким ярмом», и эти «верные сыны отечества» (члены Союза Спасения называли себя «истинными и верными сынами отечества»), не узнавшие своей отчизны, своих «священных полей», и этот «железный престол» тирана, и, наконец, обращение к соотечественникам с призывом поднять оружие «против насильственной власти» —

* М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. 1. М., 1955, стр. 163.

все это прекрасно воссоздает обстановку аракчеевской России, в которой зарождался и развивался декабризм:

На трупах, на поле пожженных им стран,
На выях согбенных под гнетом рабов
Тиран наш воздвиг сей железный престол;
Но слышен уж ропот, тирана клянут...

Подобные речи произносили на заседаниях Союза Спасения верные сыны отечества, предлагая себя в цареубийцы, в частности Якушкин и Лунин. Это политическое красноречие прямым образом отразилось в ранних опытах декабристской поэзии. В том же 1818 году в «Сыне отечества» Катенин выступил с переводом монолога римского республиканца Цинны из одноименной трагедии Корнеля. Цинна обращается к друзьям с призывом восстать против тирана:

— Друзья! — сказал я им, — настал нам день блаженный
Наш замысл довершить, великий и священный,
К спасенью Рима бог нас силою облек,
И счастью всех претит единый человек...
. . . .
Воздвигнем вольности низверженный олтарь
И Рима истыми прославимся сынами,
Ярем его сломив отважными руками.
Искать ли случая? но завтра он готов:
Он в Капитолии чтит жертвами богов,
И сам падет, от нас на жертву принесенный...

Действительно, этот монолог, опубликованный в качестве отдельного стихотворения вскоре после того, как в Союзе Спасения обсуждался вопрос о цареубийстве, «был вполне актуальным и совершенно конкретным произведением русской политической поэзии 20-х годов, конкретным вплоть до деталей: как известно, декабрист И. Д. Якушкин вызвался убить Александра I во время богослужения в Успенском соборе». * Знаменательно, что в 1817 году в квартире Н. И. Тургенева Пушкин читал свою оду «Вольность», полную тираноборческого пафоса и вполне злободневных ассоциаций.

Почти одновременно с «Опытами двух трагических явлений» Глинка в «Сыне отечества» (1818) напечатал «Отрывок из Фарсалии». Снова поэт предупреждает, что он не преследует никаких поли-

* В. Н. Орлов. Глава о П. А. Катенине в «Истории русской литературы». М.—Л., 1953, т. VI, стр. 55.

тических целей: «Мне желательно только знать, может ли предлагаемый здесь размер быть не единственным, но и одним из размеров, способных для трагедий». На деле и это стихотворение наполнено декабристскими идеями, само обращение к теме борьбы республиканца Катона-младшего с Цезарем доказывает, что стихотворение писалось с пропагандистскими целями. Под предлогом демонстрации «одного из размеров, способных для трагедии», читателям предлагали стихи, передававшие эмоционально насыщенную патетическую речь гражданина:

Итак, мы решились: нам кесарь не царь!
Бежим, но со славой! Не смерти боюсь,
К свободе, как к другу, от рабства бежим!

По своей политической направленности эти стихи тоже имеют прямое отношение к первым опытам декабристской поэзии. Три десятка строк из монолога Катона вмещают в себе такие слова и выражения, которые войдут в арсенал декабристской поэтической речи: «рабство», «свобода», «сыны», «отчизна», «родной край», «стонут народы», «цепями звуча», «позорный сей плен», «свободных римлян», «тяжелый ярем», «рабы» и т. д. За античным сюжетом здесь скрывались реальные замыслы и настроения участников Союза Спасения, увидевших свой «родной край» в цепях и рабстве. Впоследствии Рылеев в своих гражданских стихотворениях использует античные имена и костюмы для выражения тех же декабристских настроений. В «Отрывках из Фарсалии» можно уловить некоторую связь с «Исповедью Наливайки» Рылеева, которая была написана гораздо позднее. Гражданский герой в стихотворении Глинки выражает непоколебимую решимость идти до конца по избранному пути, несмотря на то, что этот путь опасен и труден. В действительности Глинка не перевел отрывок из «Фарсалии», а написал декабристскую речь — клятву верности. В этом стихотворении заключены основные правила личного поведения общественного борца, своеобразная «памятка», которой гражданин должен придерживаться в своей жизни, в своих поступках и действиях:

Будь честен и правду люби всей душой,
Страшись преступленья, но бед не страшись!
С правдивой душой будь тверд, как гранит,
Под громом, при гневе кипящих людей!

Таким должно быть поведение истинного гражданина, обрекающего себя на борьбу с крепостничеством и самодержавием. Поэтические речи призывали к мужеству, они были направлены против слабых и малодушных.

«Опыты двух трагических явлений» и «Отрывки из Фарсалии» — незавершенные опыты республиканской декабристской трагедии на античном материале. В дальнейшем поэты-декабристы не откажутся от замысла создать свою республиканскую трагедию. Об этом свидетельствуют «Аргивяне» Кюхельбекера, черновые фрагменты Пушкина из трагедии о Вадиме Новгородском, сохранившиеся отрывки рылеевской трагедии о Богдане Хмельницком.

5

В 1818 году в Петербурге вместо распущенного Союза Спасения было организовано новое общество под названием Союза Благоденствия (1818—1821). Продолжая политическую программу прежнего Союза (борьба против абсолютизма за конституционную монархию), Союз Благоденствия значительно изменил тактику и организационные формы деятельности. Если в Союзе Спасения состояло не более 30 человек, то в Союзе Благоденствия было в семь раз больше (около 200 человек). Союз Благоденствия имел законоположение — «Зеленую книгу» (известна часть первая), где была сформулирована задача общества, его открытая цель. В «Зеленой книге» подробно говорилось об обязанностях членов и их практическом участии на поприще просвещения, благотворения, человеколюбия и правосудия. В этом программном документе огромное значение придавалось подготовке общественного мнения, пропагандистской работе.

Федор Глинка — активнейший член Союза Благоденствия с 1818 года. В его квартире в январе 1820 года состоялось совещание Коренной управы Союза, на котором присутствовало не менее 14 человек. Доклад на этом совещании о выгодах и невыгодах как монархического, так и республиканского правлений сделал Пестель. В прениях первым выступил Глинка в защиту конституционной монархии, предлагая на престол жену Александра I — Елизавету Алексеевну. Все остальные участники совещания высказались за учреждение республики. В заключение, как об этом свидетельствует Пестель в своем показании, единогласно было принято республиканское правление. Глинка также голосовал за республику. В пору расцвета Союза Благоденствия Глинка выражал идеалы определенной группы петербургских декабристов, понимавших Союз как своеобразный штаб просвещения, как организацию мирного сотрудничества. В туманной дали Глинке и его идейным союзникам рисовались более крутые меры, но к ним следовало готовиться: изучать политические науки, развивать «худо-

жества», вербовать новых членов, влиять на правительственные сферы, бороться с неправосудием, казнокрадством, жестокостью помещиков. Именно в этой просветительской пропаганде состояла главная задача Глинки как члена Коренной думы. В свете законоположения тайного общества («Зеленая книга») биография Глинки, его общественная деятельность становятся значительными и многие его увлечения не кажутся странными. По словам Михайловского-Данилевского, он был «истинным другом человечества», настоящим «энтузиастом ко всему доброму». Яков Толстой называл Глинку «витязем добра и чести». А. С. Пушкин увековечил его именем Аристида и «великодушного гражданина». Идеализация именно Аристида, а не Катона очень показательна для эпохи Союза Благоденствия. Тогда «энтузиазм ко всему доброму» понимался вполне социально, и «Зеленая книга» имела успех среди современников. Сострадание к человечеству и защита невинно притесненных настолько увлекли Глинку, что он становится вдохновителем и непосредственным участником почти всех мероприятий Союза Благоденствия по отрасли человеколюбия, правосудия и благоденствия. Сразу же после ознакомления с «Зеленой книгой» Глинка принялся за практическое осуществление основных требований тайного общества. Тогда же им были составлены правила, которых он решил придерживаться в своей деятельности руководителя Коренной думы. Глинка считал своей обязанностью: *Порицать*: 1) Аракчеева и Долгорукова; 2) военные поселения; 3) рабство и палки; 4) личность вельмож; 5) слепую доверенность к правителям канцелярии (Геттун и Анненский); 6) жестокость и неосмотрительность уголовной палаты; 7) крайнюю небрежность полиции при первоначальных следствиях. *Желать:* открытых судов и вольной цензуры. *Хвалить:* ланкастерские школы и заведения для бедных у Плавильщикова. * Напомним, что во время следствия декабристы неоднократно возвращались к обсуждению тех же вопросов и единодушно порицали военные поселения и тяжелую жизнь солдат, судопроизводство и уголовные палаты. По выражению Якубовича в письме к Николаю I, «не правосудие, а лихоимство заседает в судилищах, где не защищается жизнь, честь и состояние граждан, но продают за золото или другие выгоды пристрастные решения». Каховский в письме к генералу Левашову еще более резко отзывался о состоянии законодательства в присутственных местах: «Сильные и сутяги торжествуют, бедность и невинность страдают». Между Союзом Благоденствия и Северным

---

* «Русская старина», 1904, март, стр. 512.

обществом существовала преемственность. В формировании взглядов многих декабристов большую роль сыграла их деятельность в ранних тайных обществах, когда они столкнулись с действительностью аракчеевской России. Поэтому особенно важно знать практическую деятельность отдельных управ и филиалов Союза Благоденствия.

Не отрицая своего участия в Союзе Благоденствия, Глинка во время следствия в апреле 1826 года пытался убедить, что в этом тайном обществе только и «упражнялись в практической благотворительности, делая сборы для бедных, определяя сирот в училище, а безместным приискивая пристанище». Однако под давлением улик он вынужден был несколько подробней рассказать о так называемом благотворительстве.

Вот его рассказ:

«В прежде бывшем обществе, преимущественно в отделениях, упражнявшихся в науках, благотворении, правосудии и улучшении нравственности, существовал обычай стараться обнаруживать действительно дознанное зло и возвышать добро, подавая руку помощи и заступления по закону угнетенной невинности и простодушной правоте, уловленной теми, о коих в настольном указе (в зерцале) сказано, что они «подбирают законы, как карты, и подкапывают фортецию правды». Сие обыкновение порицать зло и помогать добру казалось тогда невинным, ибо люди (за 7 лет пред сим) были моложе, и чувственность их была раздражительнее, а чувство правды было более пылко и более порывисто. Желание отклонить какое-либо местное злоупотребление и приобрести умение помочь беспомощному, отстоять на суду сироту и объяснить, доводя до начальства, существо дела, — вот побуждения, заставлявшие членов с любовью заниматься сухим и скучным изучением законов». В продолжении своего рассказа Глинка привел несколько примеров «злоупотреблений», выявленных членами Измайловской управы:

«а) Некто Михайло Васильев, крепостной человек помещика Е. . ., был посажен, находясь в здравом разуме, в дом сумасшедших, где и сидел несколько месяцев (до 4-х месяцев). О сем проведал как-то Н. Годейн и, рассказав мне сие, с большим желанием советовался, как бы избавить сего несчастного. О сем снесенность была с другими, и положили так, чтобы одни взялись через знакомых постыдить деликатно помещика и сказать, что дело уже известно, что о сем говорят уже в городе, а потому — не лучше ли ему вынуть своего человека и помиловать его.

Другие (кажется, о сем просили Перовского) обещали довести до сведения в. к. Николая Павловича; а я взялся рассказать о сем

гр. Милорадовичу.* Через несколько времени помещик не смягчился, а е. и. в. Николай Павлович изволил отдать однажды во дворце Милорадовичу кусочек бумаги с именем: «Михайло Васильев». И, видно, при том что-то Милорадовичу сказал, потому что он, приехав домой, начал шуметь и говорить: «Вот что у нас делается!» и хотел было, увидя меня, рассказать, но я дал ему знать, что про это уже знаю, и пояснил дело. И так тотчас послали в дом сумасшедших, вынули оттуда человека, призвали медицинский факультет и нашли, что он здоров и совсем не сумасшедший! — Таким образом, кажется, для пользы общей и правительства многие взяточники обличены, люди бескорыстные восхвалены, многие невинно утесненные получили защиту; многие выпущены из тюрем и, между прочим, целая толпа сидевших по оговору воровского атамана Розетти; иные, уже высеченные, (по пересмотрению дела) прощены и от ссылки избавлены; духовный купец Саветьев уже с дороги в Иркутск возвращен и водворен благополучно в семейство; а другой, костромской мещанин, высеченный, лишенный доброго имени и сосланный в крепостную работу, когда успели сделать, чтобы дело о нем было пересмотрено, разумеется по высочайшему повелению, московским сенатом, был (сей мещанин) найден невинным и освобожден от крепостной работы и возвращен восвояси, и отдано ему честное имя. Для показания за образец, каким образом совершали в совокупности какое-либо доброе предприятие, я укажу на одно из собраний нашего отделения: в квартире Кошкуля собрались однажды Кавелин, Миркович, Годейн, я, Кошкуль, Башуцкий, еще не помню кто. Толковали о том, как помочь целому бедному семейству, кажется чиновника Баранова (Кавелин вернее о сем знает, ибо, кажется, он о помощи и предлагал). Дело состояло в том, что сей чиновник сидел шесть лет на гауптвахте под судом, а когда кончился суд, то признан невинным. Но в протечении сего времени сие семейство лишилось всего и не имело ни угла, ни хлеба куска. А потому они и взялись довести до начальства (не помню, в каком начальстве был сей чиновник) о пострадании сего человека; Кошкуль вызвался выпросить денег у гр. Потоцкого, я взялся составить записку, а некоторые положили стараться в городе о помещении двух малюток сего бедняка и хотели послать доктора к больной их матери. Успех сего был таков, что когда свиделись не то у меня, не то у Годейна, то оказалось, что чиновник получил от своего начальства некую награду за пострадание; Кошкуль привез от Потоцкого

* Глинка пытался привлечь петербургского генерал-губернатора гр. Милорадовича, с которым он был связан многолетней дружбой, к осуществлению практических мероприятий Союза Благоденствия на поприще правосудия.

(граф Александр) 200 рублей денег, да из общественных положили столько же (200 рублей); матери помог доктор; а детей разместили по добрым людям... Так и совершилось круговое благополучие сего семейства».

Достаточно было рассказать этот эпизод из благотворительной деятельности Союза Благоденствия, как генерал-адъютант Голенищев-Кутузов, занявший пост военного генерал-губернатора Петербурга, прикрикнул на Глинку: «А кто вам дал право?» — «и прочее», как добавляет Глинка. С. Н. Чернов, использовавший в своей заметке «К истории Союза Благоденствия» это показание Глинки, справедливо заметил, что «совершенно напрасно Глинка старался уверить своих следователей в полноте своей и своего «прежде бывшего общества» политической благонамеренности... Голенищев-Кутузов и его товарищи хорошо понимали, что «тихая» сила бывает разной, но всегда ведет к одной и той же цели — к подкопу фортеции власти». *

Глинка, как человек предусмотрительный и осторожный, в своих показаниях ограничился внешней фабулой, он поведал следователям далеко не все, и к тому же в форме, совершенно нейтральной, исключив из своего повествования политические мотивы и скрыв от Следственной комиссии подлинный смысл борьбы с общественными пороками. Между тем С. Н. Черновым в свое время были опубликованы из архива Н. Ф. Дубровина ценнейшие бумаги Глинки-декабриста, которые служат прекрасным комментарием к следственным показаниям. Четыре истории были рассказаны Глинкой в кругу своих единомышленников, одну из них он повторил в значительно сокращенной редакции в своем следственном показании.

Вот эти истории:

1. «По просьбе известного сутяги Михайлова, вопреки всем законам и совести, третий департамент регистрата посадил в тюрьму честного мещанина Юшкова, жену его и 70-летнего отца. Военный губернатор, узнав о сем, приказал старика и жену Юшковых освободить. Но милость сия пришла уже поздно: старик Юшков, не могший перенести незаслуженного бесчестия, помер, сын его находится в тюрьме и поныне. Магистрат же, вопреки нескольким приказаниям военного губернатора, остается и доселе за вопиющее неправосудие свое ненаказанным по милости покровительствующего ему Геттуна».

2. Глинка рассказывает об унтер-офицерской жене Ромашовой, по несчастью нанявшейся в услуги «к двум сестрам-девицам, имевшим наружность знатных господ, но в самом деле во всем смысле развратным». Снова он раскрывает очередную драму беззащитного человека.

---

* «Каторга и ссылка», 1926, № 2, стр. 129—132.

Заподозрив Ромашову в краже вещей, старшая сестра, находившаяся в связи с квартальным офицером, подала заявление в съезжий дом. Без вины виноватая Ромашова была «брошена в тюрьму (при управе), ужасную по зловонию и нечистоте». «Оттоле она перешла все узаконенные мытарства и через надворный суд в уголовную палату. Нигде не читали ей допроса, никуда на-лицо не приводили, но, судя ее заглаза, приговорили к наказанию плетьми и ссылке в Сибирь. По объявлении сего ужасного приговора и наказав плетьми, повергли опять невинную в ужасное заточение при губернском правлении». Ромашова была очередной жертвой полупьяных письмоводителей. «Письмоводители, — замечает Глинка, — почти всегда полупьяные, но с полным расположением к грабежу, производят допросы наедине и пишут что хотят».

3. «Отставной полковник Эссипов, любимец в доме кн. Лопухина, вверил управление подмосковной своей деревни крепостному своему человеку, который, оправдывая в полной мере доверенность господина, в продолжение 16 лет утвердил доход с деревни улучшением сахарного завода. Такое примерное усердие к пользам господина было началом несчастия верного слуги. Господин Эссипов, заключая, что управитель его, умножая доход, верно, и сам нажился, решил вымучить все, что у него ни сыщется. По сему поводу крепостной человек Эссипова претерпел следующие мучения: а) в московской деревне он был неоднократно сечен и бит, сидел на цепи, ходил закованный в железную рогатку, и, наконец, присланный от господина 15-летний мальчик привязал его к дереву и сек по лицу и по груди, пока он весь облился кровью и потерял память. За сим б) в Туле брат Эссипова посадил его в дом сумасшедших, где он просидел 4 недели. в) По прибытии в С.-Петербург был он вновь бит, сечен и закован господином. г) Господин отдал его на монетный двор в крепость; там просидел он два месяца, как в аде. Комендант, удостоверясь в невинности сего человека, отослал его к господину. д) И тогда господин начал тиранить его побоями и сечением».

Однако на этом мучения крепостного человека не кончились. Посаженный в крепость, крепостной Эссипова однажды вырвал из стены заклеп и побежал к великому князю Николаю Павловичу, но и великий князь «приказал посадить его на Аничкову гауптвахту, отколе обер-полицмейстер Горголи, по сношению с господином, велел посадить его в дом умалишенных, где сей несчастный и просидел пять месяцев».

В дело с крепостным помещика Эссипова вмешался военный губернатор, но «господин Эссипов, балуясь, говорил: «Вот до чего дожили, уже и крепостного человека не дают наказать, как господину угодно!»

4. Иной оборот приняло дело об отставном солдате Крюкове:

«Пьяный писарь снял с Крюкова допрос и так же, как и Ромашовой, не прочитал оного, скрепил как хотел и пустил в ход. Между тем мещанин и француз (виновники похищения. — *В. Б.)* признались добровольно во всем, подтверждая, что Крюков не только участником в воровстве не был, но даже и о том, что было у них в узле, вовсе не ведал. Ничто не помогло! И Крюков, переходя от одного присутственного места в другое, нигде не вопрошаемый, приговорен наконец к наказанию плетьми и ссылке в Сибирь, а мещанин и француз отданы в рекруты. Крюков также был высечен и готовился уже к ссылке, как донесено о нем графу, который приказал, как и прежде, сделать следствие. Но бедному Крюкову не посчастливилось: исследователи его, люди бездушные (особенно Наумов), из раболепного угождения Геттуну (правитель канцелярии генерал-губернатора. — *В. Б.)* согласились с кривым решением уголовной палаты; губительная сторона, истоща все происки и усилия, одержала верх, и Крюкова велено сослать в Сибирь» *.

Служба на поприще человеколюбия и правосудия увлекала не только Глинку. Известно, что Рылеев, практически осуществляя свою гуманность, сменил офицерское звание на скромную должность судьи в уголовном департаменте.

С общественным неблагоустройством и тяжелой жизнью трудового народа Глинка познакомился прежде всего как чиновник особых поручений при петербургском генерал-губернаторе Милорадовиче, наблюдавший за присутственными местами и тюрьмами. Свое служебное положение, близость к Милорадовичу он стремился использовать для реального осуществления законоположения «Зеленой книги». С одной стороны, Глинка всемерно добивался участия Милорадовича в благотворительных делах, за которыми стояло тайное общество, с другой — собранный по службе материал о злоупотреблениях и взяточничестве «сильных лиц», о нищете и бесправии простого народа представлялся им на рассмотрение Союза Благоденствия.

Глинка в Петербурге, а В. Ф. Раевский в Кишиневе собирали и систематизировали сведения о внутреннем состоянии России, и каждый делал свои выводы. В сравнении с большими революционными замыслами Раевского филантропическая деятельность Глинки кажется слишком незначительной, но эта умеренность — отличительная черта не только Глинки, но и некоторых кругов петербургского Союза Благоденствия. Опыт борьбы с общественными пороками «рыцаря» Союза Благоденствия может служить примером не столько успехов, сколько поражений и разочарований. Несомненно, что благотворительная дея-

* «Каторга и ссылка», 1926, № 2, стр. 127—128.

тельность Глинки имела определенную политическую окраску, она была продиктована законоположением тайного общества, где этические вопросы занимали видное место, она была пропагандистской и одновременно обличительной деятельностью. Глинка пунктуально и самоотверженно выполнял программу общественного благоденствия, старался возбудить сострадание к человечеству и «страждущей личности». Однако нельзя не согласиться, что попытка практического осуществления правосудия, человеколюбия и благоденствия на посту чиновника особых поручений при петербургском военном генерал-губернаторе была по меньшей мере наивной, она напоминала сражение Дон-Кихота с ветряными мельницами. Ничего, кроме личной трагедии и неприятностей по службе, Глинка не вынес из этой борьбы, хотя, по отзывам современников, он служил благоденствию с исключительным рвением и знанием дела.

6

Исследователь Союза Благоденствия С. Н. Чернов должен был признать, что среди членов тайных обществ 10—20-х годов Глинка, может быть, «был одною из самых любопытных и значительных фигур».* Нам кажется, что Глинка имеет право на такую оценку с двух точек зрения: и как несомненно талантливый писатель, поэт и публицист, и как видный общественный деятель той поры. В том и в другом случае он особенно зарекомендовал себя в годы деятельности Союза Благоденствия. Глинка был руководителем многих тайных мероприятий Союза Благоденствия, проводимых через систему «вольных обществ»: Вольное общество учреждения училищ по методе взаимного обучения и Вольное общество любителей российской словесности. Возглавляя Вольное общество любителей российской словесности, этот литературный филиал Союза Благоденствия, Глинка в своей поэтической практике пытался дать образцы такой поэзии, которая бы отвечала основным требованиям «Зеленой книги». Он проявил особый интерес к поэзии нравоучительной и «духовной», возлагая огромные надежды на пропаганду нравственных понятий и идеалов. И в жизни и в поэзии Глинка шел своим путем. На позиции поэта-гражданина он держался далеко не столь уверенно, как Рылеев и Кюхельбекер. Он стремился к поэзии дидактической и к поэзии интимной, более ограниченной — личной. Оглядываясь на свой пройденный путь, Глинка признавался в стихотворении «Два я»:

---

* С. Н. Чернов. К истории Союза Благоденствия. «Каторга и ссылка», 1926, № 2, стр. 120.

Два я боролися во мне:
Один рвался в мятеж тревоги,
Другому сладко в тишине
Сидеть в тиши дороги
С самим собой, в себе самом.

С дидактическими целями Глинка составил особый род нравственной фантасмагории и облек в поэтическое иносказание «сокровенные ощущения» и «высшие истины», предполагая, что нравственный долг должен вызвать эффект сострадания к «страждующим». Моральная целесообразность искусства, по мнению Глинки, состоит в разрешении конфликта между человеческими страстями и нравственным долгом. Этим определяется основная идея «Опытов аллегорий или иносказательных описаний в стихах и в прозе», вышедших одновременно с «Опытами священной поэзии» (СПб., 1826).

Глинку интересовала сама возможность подчинить жанры элегической и одической поэзии задачам нравоучительным. В его ранних элегиях противопоставление роскоши и бедности, простых хижин и богатых дворцов, жизни духа и греховности быта было вполне устойчивым. Глинку постоянно волновал вопрос о «светской суете» и счастье человеческом. Придав элегии своеобразный вид нравственной аллегории, Глинка постепенно очистил ее от мягких сентиментальных тонов и безмятежного эпикурейства.

Глинка был настроен совсем не идиллически, часто у него проскальзывает едкая сатира, и дидактическая аллегория и иносказание у него звучат далеко не элегически, они гораздо ближе стилю классицизма с его рационализмом и метафизическим мышлением. Даже глинковская «хижина» по тому содержанию, какое Глинка вкладывал в нее, явно тяготеет к мотивам Руссо. В результате сама антитеза «дворцов» и «хижин» в поэзии Глинки имела более серьезное значение, нежели восхваление природы и поэтического анахоретства.

Из всех жанров глинковской дидактической поэзии наибольшее отношение к поэзии декабристов имеет его элегический псалом. Глинка любил «растянутый» псалом, поэзию жесткую и архаическую, которая во многом противоречила современным вкусам и взглядам. С помощью церковнославянской книжной лексики, славянизмов и библеизмов Глинка создает торжественную поэтическую речь. Особенно часто он обращается к образам и мотивам псалмов. Его «духовная» поэзия прежде всего поэзия псалмодическая. К переложению псалмов постоянно обращались русские поэты XVIII столетия. Если для представителей риторической школы классицизма псалмы были важны с религиозной точки зрения, то у Ломоносова и Державина

они часто превращались в произведения общественного характера, в своеобразные поэтические памфлеты. Современники имели основание в державинской оде «Властителям и судиям» видеть намеки на современность и на события тогдашней общественной жизни. «Державина, а до него Ломоносова и Сумарокова, — пишет Г. П. Макогоненко, — несомненно привлекала поэтичность псалмов. Но Державин почувствовал возможность с помощью библейских мотивов выразить и сформулировать свои гражданские идеалы. Из первого опыта Державина было ясно, что библейские мотивы и библейская лексика давали в руки поэту новое и грозное оружие. В державинской оде Радищев нашел и обличительный тон, и яркую, эмоционально окрашенную речь гражданина, и смелость поэта, судившего монаха от имени бога». *

В начале XIX века русская «библия» становится достоянием второстепенных поэтов, отрицательно настроенных в отношении новаторов поэзии, в частности гр. Хвостова и Шатрова. Таким образом, на этой архаической жанровой «площадке» в 10—20-х годах сталкивались самые противоречивые идеи, это же мы наблюдаем в разных редакциях русского «катехизиса» («Катехизис» Каразина и «Катехизис» Муравьева-Апостола).

Выступление Глинки с элегическими псалмами свидетельствует о его тяготении к поэзии архаической, отличающейся обилием славянизмов и запутанностью синтаксиса. Глинка, вслед за Ломоносовым и Державиным, придавал огромное значение строфическому распределению синтаксических целых, интонационному значению «вопрошаний» и «восклицаний». Он называл свои псалмы «голосистыми» и тем самым подчеркивал свою установку на громкость и торжественность. Глинка считал, что церковнославянский и старорусский языки являются более благоприятной речевой стихией для высокой поэзии, нежели язык карамзинистов, рассчитанный на стабильные темы дворянского салона. К тому же не следует забывать, что декабристы религию почитали «не в наружных только признаках, но в самых делах», что они использовали «священное писание» в целях политической агитации. Шероховатость стиля, частые инверсии, усложненность словаря и синтаксиса, «словотворчество», новизна оборотов и изобретение более свободных форм стиха — все это результат разведки в область высокого искусства, зовущего к «добру и правде». Есть еще одна сторона в элегических псалмах Глинки, которая также целиком и полностью принадлежит декабристской эстетике: вопрос идет о поэте-пророке. Глинка

---

* Г. П. Макогоненко. Радищев и его время. М., 1956, стр. 386—387.

выступал не как утешитель или пассивный мечтатель, а именно как проповедник и агитатор. Его элегический псалом, полный энергии и мужества, богатый вопросительными и восклицательными интонациями, следует понимать в связи с общей борьбой декабристов за высокую поэзию. Его «Опыты священной поэзии» (СПб., 1826), восходящие и тематически и конструктивно то к величавым песням ветхозаветных пророков, то к русской поэзии XVIII века (Ломоносов и Державин — прежде всего), теснейшим образом связаны с политической поэзией декабристов эпохи Союза Благоденствия. Переложение псалмов и использование библейских сюжетов Глинка считал столь же важным делом, как и восстановление образов античной истории и изучение летописей. Менялась декорация, менялись костюмы и маски, но метод толкования оставался у него прежним. На наш взгляд, «Православный катехизис» Сергея Муравьева-Апостола и «священная поэзия» Федора Глинки имеют нечто общее. В одном случае мы имеем дело с декабристским воззванием, в другом — с декабристской иносказательной поэзией. В основе их лежит декабристское осмысление библейских тем и мотивов, использование образов пророка, который, как известно, выступал в Библии обличителем преступления и зла, носителем идей справедливости. Достаточно, например, сослаться на «Плач пленных иудеев», появившийся в «Полярной звезде» на 1823 год:

...Немей, орган наш голосистый,
Как занемел наш в рабстве дух!
Не опозорим песни чистой:
Не ей ласкать злодеев слух!

Увы, неволи дни суровы
Органам жизни не дают:
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песней не поют!

Стиль этого элегического псалма, его словарь, ритм и синтаксис полностью соответствовали агитационному тону декабристской поэзии, высокой гражданской патетике. Рационалистическая ясность и вместе с тем риторическая возвышенность, отсутствие украшающих эпитетов и сравнений, специально подобранные славянизмы (влекомы, орга́ны, гласят, воспойте) и, наконец, контрастирующие образы («Не опозорим песни чистой: не ей ласкать злодеев слух») — таковы основные стилистические принципы этого элегического псалма, который превращался в гражданскую оду. Самый образ бичующего пророка был, несомненно, близок гражданской поэзии декабристов, и тоска по воле выражала одно из основных чувств молодого поколения 20-х годов. Традиционно

библейские образы здесь необыкновенно смело используются для выражения гражданских идей и текущих политических вопросов.

«Плач пленных иудеев» — не единственный пример из «духовных» стихотворений Глинки. Стихотворение «Праведный муж» («Блаженство праведного...») пояснено ссылкой: «Псалом I». Из псалма I приводится соответствующая строка: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста». В псалме следует продолжение: «..и на седалищи у губителей не седе. Но в законе господни воля его, и в законе его получится день и нощь. И будет яко древо, насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не опадет, и вся, елика аще творит, успеет».

В стихотворении Глинки «блажен муж» превращен в гражданина, хотя и «небесного»:

Но он в полях стоит один,
Сей дуб корнистый, величавый:
Таков небесный гражданин!
И процветет он в долгой жизни,
Как древо при истоках вод;
Он будет памятен отчизне,
Благословит его народ.

В некоторых псалмах Глинки слышится ропот не только против земных царей и князей, но против бога, который медлит в своем суде. Иногда этот ропот переходит в прямой упрек:

Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели,
Оковы и мечи звенели,
И сильный слабого терзал.

Стремление Глинки превратить бога в активного участника политической борьбы придавало элегическим псалмам форму своеобразного обращения, агитационного монолога, в котором поэт убеждал своего небесного слушателя спуститься на землю, «восстать» и «двинуться»:

Восстань же, двигнись, бог великий!
Возьми оружие и щит,
Смути их в радости их дикой!
Пускай грозой твоей вскипит
И океан и свод небесный.

Героическая патетика и возвышенные монологи Глинки, в соответствии с практикой декабристских поэтов, опирались на библейскую

символику и величие книжно-славянской речи. Сохраняя у своих псалмов и од церковнославянский колорит, Глинка широко привлекал просторечие. «Оковы и мечи гремели», «Сильный слабого терзал», «Не стало дел ни прав священных», «Молчал обиженный закон» — фразеология более декабристская, нежели библейская. В этом же псалме («Горе и Благодать») архаика словаря (востекал, человеков, глад), старинные элементы морфологии («Сокрылась кроткая любовь и человеков род лукавый») объединяются с элементами просторечия, «высокое» с «низким» («Господь как будто почивал, а на земле грехи кипели»).

Это взаимопроникновение разговорной лексики и книжно-славянской речи определило своеобразие стилистики многих глинковских псалмов.

Иногда Глинка слишком запросто толковал библейские сюжеты: «высокое» становилось низким, а небесное слишком земным и даже обыкновенным. Псалмы Глинки пестрят такими выражениями: «бог пошлет своих жнецов», «господь как будто почивал», «разоблачитесь, небеса» и т. п. Прозаизмы часто врываются совершенно неожиданно. Образ бога снижается до такой степени, что псалом становится, по выражению Пушкина, «ухарским», и, как высказался однажды баснописец И. А. Крылов в разговоре с М. П. Погодиным: «Глинка с богом запанибрата, он бога в кумовья к себе позовет». Для Глинки, например, ничего не стоит сказать: «Я умираю от тоски! Ко мне, мой боже, притеки!» Некоторые псалмы звучат почти пародийно. Образ «великого бога» в них настолько снижен, что псалом принимает характер личной беседы. В стихотворении «Воззвание» Глинка в таких выражениях обращается к богу:

Куда ты, господи? Постой!
Внемли! Уж силы ослабели.
Как мать к младенчьей колыбели,
Склони ко мне свой лик святой.

В «Псалме 94-м» поэт в житейски простых и даже несколько грубоватых сравнениях рисует картину создания мира:

Господь на царство в небе стал!
Облекшись пышной лепотою,
И силы он перепоясал;
И мощною своей рукою
Повел вселенную свою,
Как рыбарь легкую ладью.

Признавая большие литературные и общественные заслуги Глинки, в частности высоко оценивая его элегические псалмы за глубину мыслей и смелость образов, Пушкин нередко в письмах к друзьям и эпиграммах наделял Глинку насмешливыми прозвищами: «псалмопевец», «Фита Кутейкин», «Ижица в поэтах» и т. д. Это далеко не случайно. Как известно, Пушкин использовал библейский язык, признавал стилистическую ценность «библеизмов», но, будучи великим просветителем и атеистом, он глубоко верил в силу человеческого разума и выступал убежденным противником религии и церкви. Глинка, в отличие от Пушкина, был и оставался человеком глубоко верующим, его элегические псалмы с элементами «ухарства» не укладывались в рамки его мировоззрения, его религиозно-дидактических стремлений. И здесь сказывается основное противоречие двух тенденций — вольнолюбивой и религиозной. Это объясняется тем, что общественные идеалы Глинки не были основаны на реальном анализе исторической действительности, на изучении ее реальных тенденций. Отсюда потребность Глинки опереться на религию и ее нравственные догмы. Глинка старался вложить в религиозные понятия вполне земной смысл, сроднить их с земными делами декабристского заговора, приблизить таким образом декабристские идеалы к сознанию народа, изложить их языком, понятным солдату и крестьянину. Пушкин учитывал это противоречие в творчестве Глинки. Иронически относясь к излишнему пиэтизму и дидактизму его поэзии и особенно прозы, пародируя его манеру писать то слишком вяло, то слишком жеманно, Пушкин тем не менее прекрасно понимал, что Глинка был вполне оригинальным поэтом, что религиозно-дидактический элемент не заслонял в его псалмах свободолюбивых идей. Отсюда понятно, почему, упрекая Глинку за религиозные и дидактические увлечения, Пушкин в известном послании к нему в 1822 году называет его «великодушным гражданином»: «Но голос твой мне был отрадой, великодушный гражданин».

7

В годы деятельности Северного общества (1822—1825) постановка чисто этических проблем означала отступление от принципов революционного романтизма, снижение идейного содержания декабристской поэзии. Свои лучшие опыты декабристской прозы и поэзии Глинка создал в ранний период творчества (1816—1821). Он шел своим путем, но путь его брал свое начало в Союзе Спасения и в Союзе Благоденствия, когда еще не было в литературе ни Рылеева, ни Бестужева-Марлинского. Начиная с 1821 года Глинка выступал на собраниях Вольного общества любителей российской словесности по преиму-

ществу с чтением своих элегических псалмов и нравоучительных аллегорий. Часто Глинка и Рылеев выступали вместе: первый читал свои «духовные» стихотворения, а второй — «думы» и отрывки из поэмы «Войнаровский». И тот и другой поэт вещали «высокие истины», но каждый из них по-своему понимал проблему гражданской поэзии. Политическая умеренность Глинки не могла не отразиться на его поэзии. Поэзия Глинки не равноценна по своим художественным и идейным достоинствам: пестрота и неоднородность являются ее отличительной чертой. Глинке одинаково дороги Державин и Жуковский. Державин дорог как гражданский поэт XVIII столетия, автор сатирической оды «Властителям и судиям», кстати явившей образец поэтического использования псалмов для выражения гражданских идеалов; Жуковский дорог как «русский Шиллер», соединивший дидактику классицизма с чувствительностью сентиментализма. В одах, военно-патриотических гимнах и элегических псалмах Глинка следует за Ломоносовым и Державиным, а в аллегориях и иносказательных описаниях он как бы идет по стопам Жуковского. Являясь выражением не подъема, а спада вольнолюбивых настроений самого Глинки, его иносказательная поэзия воспринимается как принципиальная уступка элегическому романтизму.

Для нас «Опыты священной поэзии» и «Опыты аллегорий или иносказательные описания в стихах и в прозе» значительны в том смысле, что в них как бы содержится тот сложный и противоречивый путь, который прошел Федор Глинка. Не следует забывать, что выход в свет того и другого сборника совпал с появлением двух книг Рылеева: «Думы» и «Войнаровский». Сборники Глинки готовились к печати в Петербурге, а книги Рылеева — в Москве. Таким образом, 1825 год в декабристской поэзии был ознаменован выходом в свет четырех отдельных книжек, две из них принадлежали Глинке, и две — Рылееву. Это был итог и в более широком смысле.

Сборники Глинки и Рылеева — два самостоятельных направления в декабристской поэзии. Глинка до самого 14 декабря донес идейное наследство Союза Благоденствия; Рылеев создал декабристскую революционную поэзию в духе основных идей Северного общества.

Декабристы в своих показаниях восстановили реальный портрет Глинки, этого своеобразного политического и литературного деятеля эпохи Союза Благоденствия. Отвечая на вопросы Следственного комитета, кн. Оболенский свидетельствовал, что во время разговоров, касающихся тактики и планов тайного общества, Глинка всегда говорил: «Господа, я человек сему делу чуждый и благодарю вас за доверенность вашу: мой совет и мнение может быть только, что на любви единой зиждется благо общее, а не на брани». Но далее кн. Оболен-

ский продолжал: «Мы в полковнике Глинке видели всегда такого человека, перед кем мы говорили свободно о действиях нашего общества». Глинка находил общий язык с Рылеевым и Александром Бестужевым, когда разговор касался необходимости порицать произвол помещиков и рабство народа, хвалить человеколюбие и правосудие, развивать нравственное воздействие на общество. Но когда встал вопрос об активной борьбе с окружающей действительностью, о вооруженном восстании и провозглашении в России республики, то здесь между бывшим лидером правого крыла Союза Благоденствия и руководителями Северного общества неизбежно возникали противоречия и разногласия, обозначались разные идейные позиции. В очень надуманных показаниях Глинки, объясняющих все связи с декабристами 1824—1825 годов случайными встречами, имеется одно признание, которому нельзя отказать в искренности. Об Александре Бестужеве Глинка отзывался: «Александр Бестужев, человек с головой романтической... Я ходил задумавшись, а он — рыцарским шагом, и, встретясь, говорил мне: «Воевать! воевать!» Я всегда отвечал: «Полно рыцарствовать! живите смирнее!» И впоследствии всегда почти прослышивалось, что где-нибудь была дуэль и он был секундантом или участником. Впрочем, я ссылаюсь на всех наших литераторов, что на их вечеринках и на собраниях я и на людях бывал один; сидел себе в стороне и думал о своем. Часто шутя они говорили мне: «Вы все живете на небесах, спуститесь на землю!» Это не похвальба, а их фраза. Перессорившихся литераторов старался склонить к любви и миру — и вот все, что я делал. Вообще я шел совсем другой дорогою».

12 или 13 декабря 1825 года Глинка пришел к Рылееву в тот самый момент, когда руководители Северного общества обсуждали план восстания. При появлении Глинки участники совещания прервали разговор, но Рылеев сказал: «Будем, господа, продолжать, при Федоре Николаевиче, кажется, можно». Александр Бестужев свидетельствует, что на его слова: «Ну, вот приспевает время» — Глинка ответил: «Смотрите вы, не делайте никаких насилий». В этих словах весь Глинка накануне декабрьского восстания, с его тактикой постепенного действия. В год напряженной подготовки к восстанию особенно отчетливо обнаружилась разница между конституционным монархистом, бывшим крупнейшим деятелем Союза Благоденствия, и смелыми республиканцами из Северного общества. Для дворянских революционеров Рылеева и Бестужева Глинка был человеком слишком «миролюбивых правил», а для Глинки Рылеев и Бестужев были слишком «буйными сообщниками», представителями крайнего романтизма.

Глинка фактически не являлся членом Северного общества и не участвовал в декабрьском восстании 1825 года, однако ему пришлось

отвечать за дружбу с Рылеевым, за прежнюю деятельность в Союзе Благоденствия и в его многочисленных филиалах. Он был привлечен по делу декабристов и заключен в Петропавловскую крепость, затем сослан в Олонецкую губернию.

Стихотворения и поэмы Глинки, написанные в Петропавловской крепости и в годы ссылки (1826—1831), представляют немалый общественный и литературный интерес. Во многих тюремных стихотворениях Глинки намечены основные мотивы поэзии декабристской скорби, кратковременно озаряемой светом надежды на помилование «небесного царя». В основе большинства стихотворений лежит противопоставление воли и неволи, свободы и участи узника. Узник приглашает в собеседники ветер, солнце, мотылька и, наконец, самого бога. Незримая из окна темницы, но осязаемая природа предстает воображению поэта в своей величавой торжественности: на деревьях набухают почки, поют птицы, цветут луга («Весна»). И все это не реальный пейзаж, а только воспоминание о нем. Главное — в изображении личной трагедии, в излиянии личных чувств узника. Только в стихотворении «Луна» таинственный незнакомец назван своим именем: «А бедный узник за решеткой мечтал о боге в чудесах...» В каземате Петропавловской крепости сложился первый вариант знаменитой тюремной песни «Узник», ставшей со временем исключительно популярной. Образ «несчастного узника», безмолвие ночное, луна, кивер часового содержатся в ряде тюремных стихотворений. Строка «И на штыке у часового» встречается в стихотворении «Повсеместный свет»:

На трубке в желтом янтаре
И на штыке у часового,
Повсюду свет луны сияет.

В «Узнике» Глинка перефразирует эти строки и соберет вместе все световые и красочные обозначения, сольет их в новый художественный образ:

На невских башнях тишина,
И на штыке у часового
Горит двурогая луна.

В Петропавловской крепости Глинка продолжал свои опыты «священной» поэзии. Религиозно-философская лирика, в основе которой лежит идея о боге как мыслящей и всевидящей субстанции, снова дополнилась аллюзией на конкретную обстановку и обстоятельства, на личную судьбу поэта. В ней варьируется мотив грехопадения: «Омой с меня мой прах греховный». Но, как и всегда, за иррациональной

оболочкой «духовной» поэзии скрывается злободневная тенденция автора. Даже самые космические стихотворения не обходятся без веры в земное «всемогущество», без стремления превратить бога в участника современных событий. Элегический псалом продолжает отражать думы и мысли поэта, и прежде всего сложные переживания узника в обстановке следствия и суда. В ночь после битвы поэт-узник просит библейского бога вмешаться в судьбу тех, кого «облекли беды и сети». Призыв «восстать» на защиту «плачущих людей» выражен настолько сильно, что некоторые псалмы приобретают форму агитационного монолога («Из псалма 43-го», «Призвание» и др.).

8

В годы олонецкой ссылки происходят новые изменения в «священной» поэзии Глинки.

Элегические псалмы ссыльного поэта — не прежние «голосистые» псалмы с их высоким и пышным метафорическим стилем. «Духовная» поэзия приобретает своеобразный характер медитативной поэзии, порой она звучит как исповедь ссыльного «переселенца», как искренний вопль поэта, тоскующего в стране угрюмой и суровой. Голос ссыльного поэта все реже и реже возвышается до высокого песнопения ветхозаветных пророков, а вместо обычного обращения к библейскому богу с призывом «восстать» и «покарать» мы видим в элегических псалмах этих лет излияние личной грусти, жалобу на свою судьбу, изображение олонецкой ссылки. Библейские образы в некоторых псалмах вовсе вытеснены элементами субъективной лирики поэта. Даже «Гимн богу» (из псалма 141-го) звучит как жалоба на свою судьбу. «Гимн богу» — вовсе не гимн, а плач поэта, его грустная исповедь:

Я одинок и чужд в чужой мне стороне:
Ни мыслить, ни мечтать, ни чувствовать не смею! . .
Душа как будто замерла;
Она измучена и страхом и бедами;
И жизнь моя — стезя, которая легла
На крутизнах, между стремнин и льдами. . .

Элегические псалмы олонецкого ссыльного лишний раз свидетельствуют, что для Глинки «духовная» поэзия всегда служила надежным средством для иносказаний, что за «горними селениями» очень часто скрывалась «страна изгнания и ссылки», а за библейскими сюжетами стояли вполне современные и даже злободневные темы. Вместе с тем

они характеризуют упадочное настроение Глинки, его полную растерянность.

Из Библии и псалмов ссыльный поэт выбирает тексты, созвучные его настроению. Это прежде всего сюжеты о поражении пророков, об изменчивой судьбе «обетованной» земли, о тяжести плена в Гесионгаверской пустыне. Вместо энергичного псалмопевца Давида, выступающего защитником добра и правды, приходит медитативный Иезекииль, рассказывающий о тоске по родине и о судьбе плененного народа. Глинка не касается тех речей пророка, в которых содержатся страстные обличения «нечестивцев», он всецело занят мечтой о возвращении в родные края.

Особенно по душе поэту оказалась «Книга Иова» — эта «грустнейшая и величественная песнь человечества в местах земной ссылки». В свободном переложении Глинки Иов становится двойником олонецкого ссыльного. Скорбь Иова, непонятная для «счастливцев мира», была по-своему разгадана и понята поэтом: «Века исчезли, расстояния не стало», — признается сам Глинка в предисловии к свободному подражанию «Книге Иова». На самом деле полемика Иова с «злоначальником» изложена так, что как будто спорит и защищается подсудимый Глинка в Следственном комитете. В следственных показаниях Глинка постоянно говорил об изветах и клевете, о Григории Перетце, пытавшемся уличить бывшего активного деятеля Союза Благоденствия в запирательстве. Глинка требовал «доставить случай перед очами комиссии посмотреть в очи тех или тому, кто решился обвинять меня по злобе или заблуждению». «Кто же не был жертвой клеветы?» — спрашивал он. В переложении «Книги Иова» мы находим продолжение этой полемики с «подспудными доносителями».

А вы с оружьем острых слов
На безоружного напали
И, сети ставя сироте,
Подкоп под дом его ведете!
Хотите ль сердце смять мое
И, запутав, засыпать мразом
Последний жар моей души? . .

Имеется еще одно доказательство, что вражда между «сатаной» и Иовом имеет непосредственное отношение к пережитому Глинкой в годы суда и ссылки. В поэме «сатана» называется «злоначальником» и «ловителем».

Ловитель — он в свои тенета
Беспечных смертных уловлял,

И после — пред престолом света —
Их с громким смехом обличал. . .

«Ловители» — так называлось «духовное» стихотворение Глинки, появившееся в 1826 году в «Московском телеграфе» и полностью перешедшее в поэму «Карелия». В этом стихотворении, написанном под непосредственным впечатлением декабрьских событий, мы видим ступенчатое нарастание драматизма: темная ночь и страна, которая «во власть им (т. е. ловителям. — *В. Б.)* отдана», сменяются картиной пребывания «странника» в краю чужом, где его, «как птицу, стерегут».

Стихотворение «Ловители» окончательно проливает свет на несколько загадочный образ «ловителя» в «Иове». В «глухую ночь» пришли «ловители» с «арканом и ножом» и стали ковать «кандалы».

Глухая ночь была темна!
Теней и ужасов полна!
Не смела выглянуть луна!
Как гроб, молчала глубина!
У них в руках была страна!
Она во власть им отдана. . .
И вот с арканом и ножом,
В краю, мне, страннику, чужом,
Ползя изгибистым ужом,
Мне путь широкий залегли,
Меня, как птицу, стерегли. . .
Сердца их злобою тряслись,
Глаза отвагою зажглись;
Уж сети цепкие плелись. . .
Страна полна о мне хулы,
Куют при кликах кандалы
И ставят с яствами столы,
Чтоб пировать промеж собой
Мою погибель, мой убой. . .

Если говорить о сюжете стихотворения «Ловители», то он совпадает с поэмою об Иове и «злоначальнике-ловителе». Грустная повесть об Иове то и дело перекликается с медитациями олонецкого ссыльного, и очень часто грань между библейским эпосом и лирикой стирается, объективное сливается с субъективным, и наоборот. Из лирического дневника прямым образом переходят в поэму отдельные строки, и поэма вбирает в себя стилистические и фонетические особенности медитативного стиля глинковской лирики.

В «Иове» еще одна тема чрезвычайно близка лирике ссыльного.

Иов просит библейского бога разобраться в его делах и «помиловать страдальца»:

Зачем сражать меня стрелами —
Негодовать, как на врага?
Что́ б не помиловать страдальца,
Не снять бы всех его грехов —
Из жалости к сей бедной жизни! ..
Ведь, может, завтра же придут,
Меня поищут. . . и напрасно!
Страдальца больше не найдут! ..

Тот же самый мотив содержится в стихотворении «Глас», написанном в связи с годовщиной пребывания в ссылке. Интересно отметить, что из 50-го псалма, положенного в основу «Гласа», Глинка полностью отбрасывает мотив о согрешении («Окропи меня исопом, и я буду чист») и оставляет лишь просьбу вернуть свободу («Дай мне услышать радость и веселие, и раздадутся кости, тобою сокрушенные»); напоминая о «годах скорби», о «тяжелых воспаленных снах» и об «осужденной земле», поэт выражает надежду на «радостную весть», т. е. на помилование:

Повеет сладкое прощенье
Над осужденною землей,
И потечет благословенье
На широту земных полей.

Восторг и радость мимолетны для олонецкого ссыльного, а устойчивым настроением его лирической поэзии является безысходная грусть. Даже в пейзажную лирику и фольклорные стихотворения врывается голос грустного переселенца. В Петрозаводске Глинка сложил «Олонецкую песню», появившуюся в 1830 году среди других его романсов и стихотворений в альманахе «Царское село». Библейская символика в этой песне уступила место фольклорной стилизации, но метод двуплановой игры слов и сюжета остался неприкосновенным. «Олонецкая песня» представляет собой не что иное, как письмо ссыльного поэта к петербургским друзьям. «Унылый птах», «пришибленный невзгодою», «один-одним, сироточка» напоминает друзьям о себе, говорит, что он был когда-то их «спутником и братом». Поэт просит «сжалиться над горестным» и снести его «на родину к родным, друзьям, в природный край». Возможно, что «Олонецкая песня» была задумана как своеобразное поэтическое обращение, рассчитанное на внимание литературной общественности.

Над озером, Габозером,
Сидит, грустит унылый птах.
Не здешний он: из дальних стран!
Пришиблен он невзгодою,
Привязан он хворобою!
Сидит, грустит залетный птах!
...И взговорил несчастный птах:
«Судьба моя, судьбинушка!
Другим ты мать, мне мачеха!
Сама ль велишь терпеть напасть,
Терпеть напасть, изныть, пропасть
Мне, бедному, мне, горькому,
В чужой стране, нерадостной!»

Лирика ссыльного Глинки индифферентна, она лишена общественно-политического содержания, поисков будущего, веры в завтрашний день. Это зачастую — лирика скорбная и ушедшая в себя, в мир переживаний грустного «переселенца». Она бывает слишком субъективна, слишком замкнута в лирическое «я», в мир внутренних переживаний одинокого ссыльного. Нередко Глинка целиком поглощен личной трагедией, и весь остальной мир в ней забыт. Но есть среди стихов изгнания и такие, где личная скорбь приобретает мужество выражения и где поэт поднимается над бедной и однообразной поэзией личной скорби. Это он делает путем обращения к широкому и свободному описательному жанру, который всегда ему удавался.

Художественно-этнографический элемент карельских стихотворений непосредственно сказывается на фонетике. Какие-нибудь «коймы» и «соймы» (в стихотворении «Вздох»), будучи почти однородны по своему фонетическому составу, оформляют звуковую сторону, придают стиху местную лексическую окраску и делают его по-особому осязаемым. Это лирика вообще, лирика индивидуальных переживаний, но она всецело опирается на местные, локальные образы. Как звучание этих стихов имеет местную окраску, так имеет ее и все внутреннее их лирическое содержание. «...И молния горит над повенецкими лесами», — местную деталь Глинка поднимает до значения грозно возвышенного явления вообще, а «повенецкие леса» проникнуты почти державинским полногласием, они звучат торжественно и видятся торжественно, как символ и образ не местной только природы, но величия природы вообще. Поэтическое обобщение проникнуто у Глинки местным этнографическим содержанием,

и обратно: местное способно у Глинки к бесконечному поэтическому расширению.

Пейзажная лирика открывала путь к большим описательным поэмам — «Дева карельских лесов» (1828) и «Карелия» (1830).

В основу «Девы карельских лесов» положен рассказ одного из петрозаводских старожилов о лесных жителях, мирно коротающих свои дни среди карельских озер. Поэт с глубоким сочувствием относится к лесному жителю и его дочери (деве карельских лесов), которых «преследует закон возмездия». Испорченным нравам и застывшим чувствам светского общества, которое, при всем его внешнем великолепии, превращало людей в праздных тунеядцев, в карельской поэме противопоставляются «сыны природы», руссоистский культ простой личности и ее естественное движение чувств. Лесной житель и его дочь являются выражением некой возвышенной справедливости и добра; сила их состоит в отсутствии рефлексии, в искренности и естественности переживаний. В этой руссоистской тенденции состоит прямая связь «Девы карельских лесов» с ранней элегической поэзией Глинки.

В сюжетно-фабульном построении своей поэмы Глинка сохранил некоторые приемы романтических поэм, традиционные особенности этого жанра. «Дева карельских лесов» начинается с вводной картины, изображающей суровую, величественную природу Карелии (в духе предромантической поэзии, связанной с влиянием песен Оссиана); появление действующих лиц обозначается вводными вопросами («Отколь: с дороги ль? из тюрьмы? кто знает?»); сохраняется «местный колорит»; в основе сюжета — эпизод сближения чужестранца с туземной девушкой; наконец, поэма строится с обычной для романтических поэм фрагментностью, легко вынимаемыми отрывками, вполне законченными по теме. Задачи широкого эпического повествования и этнографической живописи, о которых говорит Глинка во вступлении к поэме, постепенно уступают место более ограниченным, личным темам, задачам изображения меланхолической тоски девы карельских лесов, ее чувств к беглецу из высшего света и нравоучительным аллегориям лесного жителя. Социальная биография лесного жителя остается недостаточно проясненной. Возможно, что эта фигура навеяна историей приписных крестьян. В Петрозаводске находился горный Александровский завод, основанный на труде приписных крестьян. Крестьяне часто бежали в глухие олонецкие леса и там скрывались от преследования закона. Когда Александр I в 1819 году посетил Александровский завод, ему доложили, что в бегах находятся 18 приписных крестьян.

Бесспорно, что Глинка в карельских поэмах учел опыт «финлянд-

ской повести» Баратынского. Традиционную сюжетную схему (любовный роман гусара с финской девушкой) Баратынский заполнил новым содержанием. Он отказался от лирической манеры повествования, от изображения исключительной судьбы героя и внешних экзотических описаний. А. С. Пушкин отметил «Эду» как произведение, «замечательное своей простотой, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров». Глинка не добился реалистического изображения человеческих чувств (особенно в «Деве карельских лесов»), но сама установка на народный быт и местную этнографию, наконец переход от лирического тона к фабульному повествованию соответствовали литературно-эстетическим принципам Пушкина и Баратынского. Глинку могла вдохновить и северная тема Баратынского и вся та красота, которую старается передать «Эда». С внешней стороны «Дева карельских лесов» имеет отдаленное сходство с «Цыганами» Пушкина и «Эдой» Баратынского, но в целом поэма Глинки не является литературным спутником этих вполне оригинальных произведений. Из сопоставления «Девы карельских лесов» с «Цыганами» и «Эдой» становится очевидным ее сентиментально-романтический характер: обилие эффектов, установка на некую декоративность, подчас нечто искусственное и театральное. Герои поэмы Глинки живут жизнью поэта, являются носителями его чувств и настроений, они больше напоминают отшельников из светского общества, нежели беглых крестьян, обреченных на томительную жизнь и суровую борьбу за существование. И все же Глинка как автор повести в стихах о «простых людях», написанной, на первый взгляд, в обычном сентиментально-пасторальном тоне, не является эпигоном того элегического романтизма, представителями которого были Козлов и Подолинский. «Дева карельских лесов» по своему фабульному замыслу находится в кругу тех ранних романтических поэм, в частности «Кавказского пленника» Пушкина, которые, сохранив в композиционном построении и в обрисовке характера черты байронических поэм, вместе с тем были связаны поэтической идеологией декабристско-пушкинской поры. Самое главное отличие «Девы карельских лесов», а вслед за ней и «описательного стихотворения» «Карелия» от явно подражательных романтических поэм состоит в сближении традиционного сюжета (встреча беглеца из высшего света с туземной девушкой) с «повестью несчастных», т. е. с повестью о ссыльных декабристах.

Вся дальнейшая фабула свидетельствует о том, что сюжетный замысел повести в стихах должен был окончательно сблизиться с судьбой ссыльного декабриста. С этой целью в «Деву карельских лесов» вводится образ незнакомца, своеобразного «карельского пленника»,

Появление таинственного незнакомца в Карелии, среди озер и скал, мало мотивировано. Одно ясно: «несчастный человек» пришел на Север не по своей воле. На протяжении всей фабулы так и не раскрывается реальная биография этого человека, поэт многое не досказывает, оставляя читателям право догадаться: «кто ты?» И все-таки автор «Девы карельских лесов» не смог полностью скрыть биографию своего героя, совсем затушевать знакомого незнакомца. Между строк, не рассказывая подробно о прежней жизни «доброго гостя», Глинка сообщает, что он «с Европою знаком», «развлекал досуги чтением», и «вот, увлекшись раз движением, он иностранным языком с отцом (лесным жителем. — *В. Б.*) заговорил». Все это дает основание предполагать, что «карельский пленник» родствен тем людям, которые, побывав в Европе и «увлекшись движением», после 14 декабря 1825 года оказались в опале, в числе отверженных ссыльных. Что это именно так, свидетельствует ответная песня незнакомца, составляющий один из центральных мотивов поэмы. «Добрый гость» на вопрос девы карельских лесов: «Кто ты? Зверей гонитель иль гонимый?» ответил популярным декабристским романсом «Не слышно шуму городского...», который долгое время приписывался Рылееву. Незнакомец и был тем узником, о котором говорилось в этой песне. Таким образом, знаменитый «Узник» («Не слышно шуму городского») первоначально входил в «Деву карельских лесов»; позже он был несколько переработан и попал без упоминания автора в альманах «Венера». Несомненно, что Глинка собирался показать в «Деве карельских лесов» ссыльного декабриста, который после неудавшегося декабрьского восстания был заброшен в глухую Олонию. Сюжет был заманчив и в то же время почти неосуществим. Автор не решился назвать героя по имени; «несчастный человек» оказался настолько загримирован, что конкретное содержание образа стерлось. Только в заключительной части поэмы сквозь условно-романтический сюжет снова просвечивается важная политическая тема. Таинственный незнакомец говорит лесным жителям:

«Ужель война? Ужели к нам
Опять француз пришел с бедою?
Француз далек: тут ближе швед!
Кто б ни был! — В путь! Увижусь с братом:
Он при царе! — Мне дела нет!
Скажу: хочу служить солдатом!
Солдатом заслужить вину...»

Так думали и другие декабристы, томившиеся на каторге и в ссылке. Напомним хотя бы Александра Бестужева. По высочайшему по-

велению он был переведен из Сибири в Кавказский отдельный корпус, где и погиб от пули горцев. Николай I посылал декабристов на явную смерть. Глинка думал несколько иначе. Он надеялся, что Николай I издаст манифест, дарующий ссыльным свободу. Не случайно герой «Девы карельских лесов», пройдя солдатскую службу, снова возвращается к лесным жителям, но уже с хартией в руках.

Бежит и машет он рукою,
В другой — он хартию несет...
«Молитесь, милые! .. Свобода!
Скорей из сих несчастных мест!
Друзья! читайте... Манифест! ..»

Конечно, это была утопия. Но Глинка искренне желал, чтобы Николай I обратил внимание на ссыльных декабристов и издал манифест об их свободе. Подобное же пожелание высказывал Пушкин в «Стансах». Ясно, что повесть в стихах о ссыльном декабристе не могла в свое время появиться в печати. Глинка оставил поэму незаконченной, в первой редакции. Но и в том незаконченном виде, в котором она была нами опубликована в Петрозаводске в 1939 году, через 110 лет после ее создания, «Дева карельских лесов» представляет большой историко-литературный интерес.

Вторая карельская поэма вышла в свет в 1830 году при содействии Пушкина.

Содержание «Карелии» несколько необычно. Все сочинение подразделено на четыре части с прологом, составляющим описание Карелии, и коротеньким эпилогом. В первой части рассказывается о любви грека к турчанке Лейле; во второй части молодой отшельник, лишившийся Лейлы, убитой собственным отцом, оставляет Грецию, посещает Италию и попадает в Карелию, где ведет беседу с заонежской заточницей Марфой Ивановной Романовой; в третьей части является новое лицо — Маша, дочь крестьянина Никанора, которая рассказывает четыре сказки о богатыре Заонеге, и, наконец, в четвертой части снова появляется монах-отшельник, который произносит духовные речи.

Каждый из названных эпизодов имеет самостоятельный интерес, и существуют они независимо друг от друга. Глинка первоначально мечтал создать большую стихотворную вещь на историческом материале, в которой собирался показать отношение олонецких крестьян к годуновщине, потом отказался от широкого исторического плана. Замысел не был полностью реализован, и историческая действительность не нашла в поэме широкого освещения. Заонежская заточница

Марфа Ивановна Романова, сосланная Борисом Годуновым в 1601 году в Толвуйский погост, почти не действует: она только слушает монаха-отшельника, а сама «есть не что иное, как поэтический призрак». В введении к поэме, чувствуя незавершенность этого образа, Глинка предупреждал читателя, что заонежская заточница мало действует и разговаривает потому, что, «по важности ее сана, ей нельзя было дать разговора о предметах неважных: о важном же, собственно до нее касающемся, ей говорить было не с кем».

Одновременно Глинка указывал, что «из хода повествования видно, что она (заонежская заточница. — *В. Б.*) есть средоточие всего действия: к ней приходят, ее стараются занять повествованием, к ней относятся и мысли и действия всех и каждого. Итак, она есть, без сомнения, первое лицо в рассказе, и если не всегда действующее, то всегда владычествующее над действиями других».

Идейный замысел поэмы «Карелия» может быть понят только при учете отношения Глинки к социальной жизни конца XVI века.

Не развит в поэме и образ крестьянина Никанора, принявшего непосредственное участие в судьбе заонежской заточницы. В одном из черновых набросков Глинка поясняет свой замысел. Отправляясь с тайным посланием в Москву, Никанор обращается к Марфе Ивановне с такими словами: «Я пойду через глухую Карелу. Там много есть добрых. Они знают про честь. Они готовы на все отважиться. Нам годуновщина наскучила. По одному знаку Выгозеры прискачут на конях с топорками и с пиками. Кареляки селеньями придут с пищалями. В одну ночь не станет ни стрельцов, ни терема. Тебя мы увезем далеко, далеко за леса, за болота, на поморье далекое. Годуновщина только до Олонца, а леса — наши владения. Никто не знает наших темных лесов. Ты будешь у нас Карелицею».

Местные крестьяне, согласно историческим документам, действительно оказали большое внимание заонежской заточнице. С риском для собственного благополучия местный священник Ермолай Герасимов и его сын Исаак, крестьяне Глездуновы, Татурины и Сидоровы разузнали место изгнания инока Филарета, передавали письма из Толвуи в далекий Антониев-Сийский монастырь, получали оттуда письма и привозили их инокине Марфе. Насколько важно было для Марфы Ивановны получение этих сведений, лучше всего говорят слова грамоты, данной царем Михаилом Романовым: «пожаловали есмя» за то, что «и про отца нашего здоровье проведывали и матери нашей великой государыне Марфе Ивановне обвещали».

Олонецкие крестьяне в поэме Глинки отзываются о Борисе Годунове как о «самоохотном царе» и «чернокнижнике».

Вернее, это мнение Карамзина, некритически воспринятое художественной литературой и публицистикой 20-х годов. Карамзин считал годуновщину «великим злом», при котором «господа не смели глядеть на рабов своих, ни ближние искренне говорить между собою». Закрепленный «Историей» Карамзина образ «царя-Ирода» интересовал Глинку не столько как историческое лицо, сколько как более общий пример «плохого» монарха. Важно, что Глинка считал Бориса Годунова царем вне закона, а в годуновщине видел антинародное движение. Не случайно крестьянин Никанор предлагал объявить Марфу Ивановну Романову своей «Карелицей», т. е. царицею, избранной самим народом. Здесь несомненно сказалась умеренно-декабристская точка зрения на царя как на народного избранника, власть которого ограничена законом и мнением народа. Отсюда становится понятным противопоставление «самоохотного» царя Бориса царю Михаилу Романову, который был избран Земским Собором.

Рассказ о крестьянине, спасающем заонежскую заточницу, мать Михаила Федоровича Романова, к которому декабристы относились как к «всенародно избранному» царю, была важна для Глинки, так как давала возможность включить в галерею художественных типов еще одного выходца из народа, рядового карельского крестьянина, выполняющего долг перед родиной, защищающего не просто боярыню Марфу Ивановну, а мать «народного избранника». Напомним, что еще Рылеев в известной думе «Иван Сусанин» возвеличил костромского крестьянина, спасающего боярина Михаила Федоровича от польских захватчиков. Рылеева занимал не столько самый факт самоотверженной смерти «за царя», сколько смерть с именем родины на устах.

Не следует забывать, что в 1613 году, когда сын заонежской заточницы Михаил Федорович Романов был избран на русский престол, Олонецкая губерния подвергалась немецко-литовскому нападению. Вражеские отряды жгли деревни, разоряли монастыри, насиловали женщин, убивали беззащитных людей. Всюду чужестранцы, как об этом гласят исторические документы, «землю пустошили, города воевали, церкви божии оскверняли, людей мучили всякими муками и насмерть побивали, и по лесам разгоняли, всякий живот грабили, дворы и деревни жгли, и скот выбивали, и все до конца разоряли». Царь Михаил для защиты древнейших русских селений от немцев-литовцев послал в Заонежье специальные воинские отряды, и в 1614 году силами русского ополчения с помощью карельских крестьян полчища неприятелей были разбиты. Немалую роль в этой непосредственной связи с центром Московского государства сыграли и те взаимоотношения, которые установились между заонежскими крестья-

нами и инокиней Марфой Ивановной Романовой, которая в 1613 году стала «великой государыней».

Исторический сюжет в поэме «Карелия» не получил должного развития. Описательные картины и духовные речи монаха-отшельника постепенно оттеснили тему о социальных потрясениях начала XVII века. Исторический сюжет фактически распался. Это объясняется еще и тем, что история слишком откровенно перекликалась с современностью. Тема о смутном времени напоминала междуцарствие 1825 года, а рассуждения о «самоохотных» и законных царях давали повод для аналогии между «законным» Константином и «самоохотным» Николаем. Конституционный монархист Глинка, предлагавший в 1820 году на престол императрицу Елизавету Алексеевну, не был сторонником социальных потрясений, так же как он не был поклонником тех царей, которые запрещали «искренне говорить между собою». Борис Годунов в карельской поэме вовсе не исторический характер, а просто подставная фигура, удачно подсказанная «Историей» Карамзина. Борис Годунов в сознании Глинки столь же одиозен, как и Николай I.

Заонежская заточница, прощаясь с Никанором, говорит:

О, пробудись, страна родная!
Он пал, самоохотный царь!
Зови царей своих законных!
Вдовеет храм твой и алтарь! ..
Мы кровь уймем, утишим стоны:
Как любим русских мы людей —
Бог видит! .. Мы не мстим! .. Любовью
Сзовем мы верных и друзей;
И до кончины наших дней
За кровь не воздадим мы кровью...
Как жажду видеть я Москву,
Читать любовь там в каждом взоре,
И приклонить свою главу
К святым мощам, в святом соборе!

. . .

В этой концовке прочитана политическая мораль, выражен идейный смысл исторического сюжета поэмы: «кровь унять», «утишить стоны», «любить русских людей», «не мстить», «за кровь не воздавать кровью». Глинка хорошо усвоил мысль Монтескье, что «милость есть отличное качество государей»; в поэме «Карелия» он не отказался от идеи о «милостивом» и «добродетельном» монархе на троне. Отсюда становится понятен смысл тех «милостивых» грамот царя Михаила

Федоровича, пожалованных в 1613 году олонецким крестьянам, на которые Глинка ссылается в тексте поэмы и в примечаниях к ней. По преданию, толвуяне были вызваны в Москву и награждены именными жалованными грамотами на угодья и льготы; крестьяне объявлялись свободными от тяглой подати, ограждались от обид под страхом царской опалы на тех, «кто учнет делать через царские жалованные грамоты и крестьян изобидит». Заонежские крестьяне были награждены за то, что «непоколебимым своим умом и твердостью разума служили и прямили и доброхотствовали о всем, про отца царева здоровье проведывали и матери царевой обвещали и в таких великих скорбех и в напрасном заточении во всем спомогали». Глинка считал «милостивые грамоты», данные на защиту крестьян от разорения и ограбления, документом первостепенной общественной важности.

Когда ссыльный поэт непосредственно столкнулся с природой Карелии и с жизнью карельского народа, в его поэзии появились смелые краски и энергичные образы. Карельские поэмы своеобразны в том отношении, что психологический материал в них гораздо бледнее описательного, который отличается исключительным драматизмом и лиричностью. В поэме «Карелия» сохраняется религиозно-космическое настроение поэта, есть в ней также глухие намеки на судьбу политического ссыльного («ночь», «кандалы» и «клики»), но главное содержание карельской поэмы состоит все же не в «духовных» речах монаха-отшельника, а в тех описательных картинах, которые были положительно отмечены Пушкиным. Карелия — это некое человеческое богатство в будущем, и этот клад — «рудяные постели» — ждет рабочей руки, которая взялась бы за него должным образом.

Глинка отнюдь не желает, чтобы Карелия в его поэме была представлена дикой северной пустыней, захолустьем, хотя он и говорит: «Дика Карелия, дика!» В этой связи получает особый дополнительный смысл — мы бы сказали стилистический смысл — и один из важнейших мотивов фабулы: фигуру отшельника Глинка вводит с тем, чтобы сдружить образ Карелии с великой русской культурой, устранить чуждость между ними, указать на большую внутреннюю близость между этими национально-историческими силами, не снимающую нисколько своеобразия каждой из них. В поэме «Карелия» Глинка, ссыльный поэт-декабрист, приложил все свои силы к тому, чтобы воссоздать образ и красоту Карелии, малоизвестного тогда края. У него был один предшественник на этом поприще: знаменитую оду Державина «Водопад» мы имеем основание рассматривать как начало в русской литературе карельской темы,

вызванной интересом поэта к сурово-красивому и многообещающему краю Русского государства.

Пейзаж в поэме «Карелия» слит с человеческой практикой; природа, цивилизация, хозяйство образуют в поэтическом сознании Глинки единство.

В Кареле рано над лесами
Сребро и бисеры блестят,
И с желтым златом, полосами,
Оттенки алые горят,
И тихо озера лежат
На рудяных своих постелях.

В примечании к этим стихам говорится: «Ложе или дно здешних озер состоит почти всегда из железной руды, которую добывают оттуда особыми черпалами». Так пышный поэтический образ основывается у Глинки на вполне реалистических сведениях производственной практики человека.

Фонетическая окраска стиха у Глинки тоже густая, как у Державина, он любит цельность звука, осязаемость его.

И от озер студеным веет...
И жизнь молчит, и по горам
Бедна карельская береза;
И в самом мае по утрам
Блистает серебро мороза...

Любопытно, что словами описания говорится о бедности — «бедна карельская береза», а вся оркестровка строк на раскатистое «р» придает пейзажу красоту и величие. То же самое:

Лишь изредка отрывки пашен
Висят на тощих ребрах скал...

«Бедные» подробности в описании пейзажа для Глинки только частности. Он привык в мире и в природе видеть энергию и непочатое богатство, — державинское вúдение богатства всюду его преследует, и стиховой стиль Глинки организован как бы навстречу этой мощи и этим бесценным дарам, которые может предложить поэзии природа, бедная и скудная только по первому впечатлению.

Но живописна ваша осень,
Страны Карелии пустой:
С своей палитры, дивной кистью,

Неизъяснимой пестротой
Она златит, малюет листья:
Янтарь, и яхонт, и рубин
Горят на сих древесных купах,
И кудри алые рябин
Висят на мраморных уступах.
И вот, меж каменных громад,
Порой я слышу шорох стад,
Бродящих лесовой тропою,
И под рогатой головою
Привески звонкие бренчат.

Вот стихи, где излюбленная Глинкой торжественная фонетика вступает в полное согласие с тем, что дает зрительный, мыслимый образ: пышность цвета осеннего пейзажа сливается воедино с трубными звуками этих стихов, и звук и образы возвышаются до предельной своей — державинской — красоты и интенсивности. В этой красоте — тоже по-державински — все и пышно и просто, здесь и такое словечко, как «малюет», рядом со «златом», и здесь рябина дается как образ неслыханного красочного богатства, и «привески звонкие» звучат («бренчат») необыкновенно сильно.

В поэме «Карелия» Глинка еще более усиливает фольклорную окраску сюжета и стиля, к чему повод дает введенная в поэму карельская девушка Маша, прекрасная сказительница. Предания и сказки Маши исходят не из книжного источника, а из живой устной традиции. Поэтический инвентарь их исключительно сложен. Типично сказочные мотивы и образы переплетаются с мотивами и образами былинного эпоса. Народное слово составляет существо поэтического стиля Глинки, поэтому стиль этот так легко и естественно и в дальнейшем срастается с любыми фольклорными заимствованиями. Народные выражения, слова и обороты, пословицы и поговорки Глинка использует в переосмысленном и переплавленном виде. Приведем несколько примеров художественного претворения.

Груба лесных карелов пища,
Их хлеб с сосновою корой.

Эта характеристика образа жизни тогдашнего карела, по-видимому, явилась в результате творческого переосмысления народной поговорки: «Карел кору ел».

Как в поговорке, так и у Глинки «кора» и «карелы» связаны друг с другом звуковыми отражениями. В стихах Глинки как бы

прокатывается из строки в строку: лесных карелов, хлеб... *корой*. В поэме «Карелия» Глинка использует местное слово «шелойник», означающее юго-западный ветер:

И мертво всё... пока шелойник
В Онегу, с свистом сквозь леса,
И нагло к челнам, как разбойник,
И рвет на соймах паруса.

Здесь важно не только введение в поэтический текст такого слова, как «шелойник», которое придает стиху своеобразную лексическую окраску, но и стиховое сопоставление «шелойника» с разбойником. Оно тоже взято из народной пословицы: «Ветер-шелойник — на Онеге разбойник». В понимании народа «шелойник» не просто ветер, а злой ветер, который причиняет много беды рыбакам, рвет на соймах паруса и т. п. Народную пословицу, народное сравнение, выраженное в поговорке, Глинка сначала разлагает, «шелойник» и «разбойник» у него сначала отделены друг от друга, но потом эти слова и образы снова воссоединяются в качестве рифм, звуковые соответствия стиха помогают этим терминам найти друг друга. Так, например, рифмы, звуковой строй стихотворения, чередования его словесных рядов имеют у Глинки в качестве своей подосновы народную поговорку, а поговорка превращается в музыкальную тему.

Выражение Глинки — «туман постелется холстом, и рыба к берегу хвостом» — становится понятным, если учесть, что онежские рыбаки «узнают полночь по тому, когда рыба становится к берегу хвостом, а в Онегу головой, ибо с вечера бывает обратно». Художественный образ Глинки в данном случае вырос из народной загадки: «Туман холстом, а рыба хвостом». Выражение Глинки — «Для глаз ударистые краски» — становится ясным, если учесть, что олонецкие мастеровые под словом «ударистый» имеют в виду узор и раскраску. Они говорят: «Такой-то узор надобно сделать посогласнее, а такой-то — поударистее».

С явным сочувствием поэт-декабрист изображает северное крестьянство, характеризуя его трудолюбивым, и с восхищением говорит в примечаниях к поэме, что «у карельцев язык благозвучен». От природы одаренным человеком был крестьянин Никанор («Наш Никанор был тверд душою, с холодной, умной головою и сократическим челом»), его дочь Маша «умом и разумом блистала». «Жители Олонецкой губернии, — замечает Глинка, — издавно охотливы к грамотности», они «отличаются особенным, холодным, рассудитель-

ным умом, и сократическое чело (как его видим на бюстах Сократа) часто встречается под шапкой крестьянина — есть признак здравого, светлого ума».

Одна из главных заслуг Глинки как автора «северных поэм» состоит в введении в литературу художественных картин из жизни трудолюбивого карельского народа. Исторический и современный материал Карелии Глинка превратил в поэтический материал, а жизнь и быт северного крестьянина сделал вполне равноправной темой художественного изображения, столь же ценной в эстетическом отношении, как и темы из жизни и быта русского дворянства.

Показательно, что к описательной части поэмы, к стиху ее притягивалось внимание всех современных критиков, писавших о «Карелии». Это не случайно. Описания затмевали для них остальное содержание поэмы. На первом месте следует, разумеется, поставить отзыв Пушкина. Пушкин говорит о языке Глинки, о его стихе, и затем — особая форма критики — предлагает несколько выписок из поэмы: выписано все, что Пушкин считал лучшим.

Пушкин имел полное основание говорить о самобытности дарования Глинки и оригинальности его поэмы. Считая наиболее удачными описательные картины, посвященные изображению величественной природы Карелии, Пушкин в своей рецензии процитировал следующие отрывки: «В страну сию пришел я летом», «Дика Карелия, дика!», «Край этот мне казался дик», «Сии места я осмотрел...». «Здесь поздно настает весна...», «По Суне плыли наши челны...», «Кивач... Кивач! .. Ответствуй, ты ли?» и «В тех горах живут селениями духи...».

Отзыв Пушкина знаменателен тем, что в нем не упомянуты религиозно-сентиментальные и дидактические элементы в поэме, тем самым Пушкин отверг их. Но зато едва ли хоть один действительно сильный эпизод поэмы укрылся от его внимания.

В лице ссыльного поэта-декабриста Карелия нашла своего внимательного и вдумчивого художника, этнографа и фольклориста. Широко привлекая в своих поэмах фольклорные мотивы и образы, Глинка в Карелии познакомился с карело-финскими эпическими песнями и дал первые переводы некоторых рун знаменитой «Калевалы».

9

Литературная биография Глинки начинается с первого десятилетия XIX века, а кончается при Толстом и Чехове. Он пережил не только своих современников, но и многих «шестидесятников» и доживал свою жизнь едва ли не как единственный представитель пуш-

кинского периода в литературе. Писал Глинка свыше семидесяти лет, но самыми интересными и значительными годами в его творчестве были годы Отечественной войны с Наполеоном, годы исповедания декабристских идеалов. Именно творчество этого периода определяет место Глинки в общей истории русской литературы, именно стихи поэта-патриота, поэта-декабриста имеют право на внимание потомства.

Отбыв ссылку, Глинка соединил свою судьбу с представителями «официальной народности» — Погодиным и Шевыревым. Вместе с ними он отрицал «век безверия» и прославлял патриархальные нравы предков. За громкими фразами об умиляющей гармонии небесных образов в его поздних стихотворениях скрывалась воинствующая реакция, бесплодная проповедь «непротивления злу», растерянность и непонимание нового общественного движения. Высоко оценив «Очерки Бородинского сражения» (1839), Белинский с присущей ему принципиальностью обрушился на морализм глинковской поэзии и вынес суровый, но справедливый приговор: «Мы всегда говорили и теперь скажем, что истинный поэт всегда нравствен, а пошлые нравоучители вовсе не поэты». Для Белинского было ясно, что Глинка в растянутом стихотворении «Москва благотворительная» подпевает Шевыреву, который тогда возглавлял поход против революционно настроенного молодого поколения.

В 1848 году П. А. Плетнев замечал в письме к Я. К. Гроту по поводу приезда Ф. Н. Глинки с женой А. П. Голенищевой-Кутузовой в Петербург: «Чета уже ветхая»; а Глинка после этого прожил еще 32 года. Жил он в Москве по соседству с Сухаревой башней, на Садовой улице. По понедельникам у него собирались друзья и знакомые — известный Раич, поэт И. И. Дмитриев, переводчик Б. М. Миллер, академик Завьялов и др. Рассказывая о своих литературных знакомствах, А. И. Шуберт, между прочим, вспоминает Глинку и его жену: «Ф. Н. Глинка, маленький, сухонький старичок, очень скромный, неразговорчивый; зато супруга его, Авдотья Павловна, была очень авторитетна, говорила громко, азартно, ругала Герцена». Вспоминая глинковское общество стариков, остроумный Раич сказал однажды:

Мы живем на Серединке,
Как отшельники,
Ходим только к Глинке
В понедельники.

Глинка продолжал писать, особенно много стихотворений он написал в годы русско-турецкой войны. Широкую популярность при-

обрело его стихотворение «Ура! На трех ударим разом! . .» Этот ура-патриотический гимн был переведен на французский, английский, немецкий, польский, молдавский, сербский, китайский и маньчжурский языки. Даже в своих религиозных стихотворениях Глинка в 1854 году говорил языком поэта-воина. В стихотворении «Христос воскрес» он в один образ объединил «святые дни» и «ядра каленые»:

В святые дни ядром каленым
Мы похристосуемся с ним!

После появления ряда подобных стихотворений в «Северной пчеле» Глинка редко выступал в печати. Все его творчество ограничивалось дружескими посланиями. Одно из последних печатных произведений Глинки — большая мистическая поэма «Таинственная капля», изданная в 1861 году в Берлине, а через десять лет (1871) перепечатанная в Москве в издании М. П. Погодина. В этой поэме, основанной на одной из древнехристианских легенд и написанной под сильнейшим влиянием Мильтона и Клопштока, «греховностям» всего земного противопоставлялась святость небесного. Поэма отражала мистическое настроение поэта и в то же время была своеобразным реваншем «шестидесятникам» за их «нигилизм» и материализм. В письме к Я. П. Полонскому Глинка ворчал на «новых людей», которые «с новыми мыслями, воззрениями, порядками и т. п., как будто спустясь с луны, засели на землю».

Последние восемнадцать лет своей жизни Глинка совсем отошел от литературы. Одно из его последних стихотворений, «Мальчик в лаптях и нагольном тулупе», посвящено Ломоносову. Слабое, без всяких проблесков прежнего таланта, это стихотворение, тем не менее, лишний раз свидетельствует о том влиянии, которое имел Ломоносов на «жесткую» поэзию Глинки.

Старческое творчество Ф. Глинки лишено историко-литературного интереса. Но среди множества утомительных религиозно-нравственных стихотворений есть и такие, в которых все же сохранилась любовь к кипучей вольнолюбивой молодости, к Пушкину и декабристам, к народной России. Его стихи об Отечественной войне 1812 года, написанные в 1839 году, воспоминания о Семеновском полку, патриотический гимн «Москва» свидетельствуют, что Глинка сберег некоторое мужество, сберег декабристскую любовь к родной стране и веру в ее великое будущее.

Эволюция Глинки к славянофильству, его непонимание передового общественного движения 40—50-х годов есть результат не только его личной ограниченности и умеренности его прежних идеа-

лов, но и свидетельство сложности самого декабризма как общественно-литературного движения.

В молодости живой энергичный общественный деятель и достаточно интересный поэт, под старость мистик и филантроп, Глинка и сам понимал, что все его заслуги были в прошлом. После 14 декабря 1825 года он если и существовал как писатель, то для немногих, а постепенно и совсем сошел со сцены. «Поэт в себе» — так называется одно из стихотворений Глинки, сохранившихся в бумагах поэта.

Без малого сто лет (с 1786 по 1880) прожил Федор Глинка. Он скончался 11 февраля 1880 года в Твери. Его похоронили с воинскими почестями, как участника Отечественной войны 1812 года, награжденного золотым оружием.

В. Базанов

1808—1825

ВЕЛЬЗЕН,
ИЛИ ОСВОБОЖДЕННАЯ ГОЛЛАНДИЯ
Трагедия в 5 действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Флоран, похититель престола голландского.
Эдвальд, наперсник его.
Инслар, Эрик, Гильдерберг — князья голландские.
Годмила, дочь Инсларова.
Вельзен, супруг Годмилы, начальствующий над голландскими войсками.
Малолетний сын Вельзенов.
Тайный посол от Англии.
Раненый служитель.
Вестники, воины и народ.

Действие происходит в древнем Амстердаме.

Действие I

Театр представляет замок Инсларов, окруженный лесом; с правой стороны высокие горы, на них видно несколько древних замков; вдали синеющее море. Луна светит. Инслар, Эрик и Гильдерберг стоят при входе пещеры, ведущей в подземелья замка.

Явление I

Ночь.

Инслар

Друзья! терзаемый сердечною тоскою,
Я собрал вас сюда в час общего покою,
В тот самый час, когда *тиранство* на цветах
И *рабство* под ярмом спит крепким сном в цепях,

К *отечеству любовь* зениц лишь не смыкает
И с плачем край родной из гроба вызывает!
Отечество живет в сердцах своих сынов,
Наш долг — оковы рвать; лить слезы — часть рабов.
Не плакать, не стенать, но действовать нам должно...
Или лютейшая тирана власть безбожно
Отнимет всё у нас! — хотя б он казнь послал,
Смерть, к прекращенью мук, всяк благом бы считал:
Кто может пережить отечества паденье?..
Друзья! не зрели ль вы всеместно разоренье?

Эрик

Так всюду братий вопль разил мой слух тогда,
Как я из дальних стран прибыть спешил сюда.
И можно ль не стенать? везде народ в мученье...
Цветущи области поверглись в запустенье,
И здесь на грудах тел, на пепле сел, градов,
В странах, в обширные пустыни претворенных,
На раменах рабов, под иго преклоненных,
Облитый кровию железный свой престол
Воздвиг и наводнил наш край реками зол
Тиран! — Толпы рабов, лья слезы, кровь, страдают:
Но слышен ропот уж!.. Тирана проклинают.

Инслар

Лишь плачут и клянут... иль нет мечей и рук?

Гильдерберг

Увы! народ стеснен веригой рабских мук.
Саксонов грозна рать везде распространенна,
И ею вся страна попрана и плененна.
В народах гибнущих отваги дух угас;
Так древня рушилась держава в грозный час;
И на развалинах градов ниспроверженных,
Дымящихся в крови народов избиенных,
Губительный для всех тиран издал закон;
Он — черни бич... а нас еще ласкает он...

Инслар

Сей изверг ласков к нам!.. нет, медом ухищренья
Прельщает нас он с тем, чтоб после лютость мщенья

С безмерной злостию излить на всех князей
И нас отдать в рабы рабам своих страстей:
Тиранство с правотой вовек не согласится.
Иль то из памяти возможет истребиться,
Как граф им Сандирей жестоко был казнен,
На копьях воинов свирепых вознесен...
И храбрый Иларон, муж, славой знаменитый,
Им брошен с скал крутых в ров, тернами покрытый!
Я слышал, как он вопль ужасный испускал,
Когда по каменным вершинам ниспадал,
Я зрел и члены все его окровавленны,
Растерзаны... и вмиг... вод бездной поглощенны!..
Вы ужасаетесь? — и как не трепетать,
Когда сверх казней мы должны и рабства ждать!..

Эрик

В мрак будущих времен со трепетом взираем,
Но что нам предпринять?

Гильдерберг

Как действовать, не знаем...

Инслар

Не знаете... и вы еще хотите жить,
Хотите рабску цепь в безмолвии влачить,
Зря скорби стран родных в злосчастные минуты,
Не знаете, пресечь чем можно бедства люты?
Слова сии вещать пристойно ли князьям?
Незнанье таково прилично лишь рабам,
Рабы и *робкие* в отчизне бесполезны...

Эрик

Поверь, что чувствуем и мы печали слезны.

Гильдерберг

Оставлены от всех, злым роком сражены,
Зря покорение родной своей страны,
В дни злополучия и люты и суровы,
Когда гремят везде позорные оковы,
На все опасности готовые лететь,
Что можем приобресть?..

Инслар

Свободу — или смерть! ..
Страна, лишенная законов и свободы, —
Темница скорбная: в ней пленники народы...
Когда несчастный край лишен оград полков,
Народ, упорствуя, в боях утратит кровь:
То робкие главы под иго преклоняют,
Великодушные бесстрашно умирают! ..
В одном себя гробу с отчизной погребем,
Умрем и в небе вновь отечество найдем!

Гильдерберг

Ах! кто б не предпочел смерть славну рабской доле?

Инслар

Прервать позорный плен, друзья! днесь в вашей воле.

Гильдерберг

Без сил дерзнем ли мы попрать тиранску власть?

Инслар

Дерзайте! .. на врагов уж гром готов ниспасть.
Годмила, дочь моя, — Вельзенова супруга;
Мы в нем найдем себе защитника и друга,
Он, к славным подвигам устроя сильну рать,
Придет иль нас спасти, иль славно жизнь скончать.

Явление II

Служитель

Неведомый пришлец в пределах сих явился,
Он рек, что в ночь сию корабль его разбился,
Сей час желает он пред вас представлен быть,
Имея таинство важнейше объявить.

Инслар

Веди его сюда; кто он? чего желает? ..

Явление III

Посол

(входя, сбрасывает простое верхнее одеяние и является в богатом посольском наряде)

Сыны отечества! Монарх мой к вам вещает:
Дошел и до него страны сей скорбный стон,
Узнал он, что Флоран, взойдя на здешний трон,
Скрепляя смертию кровавое правленье,
Цветущие страны привел в опустошенье...
Желая помощь вам немедленно подать,
Царь с тем меня послал, чтоб здесь верней узнать,
Какие на престол Флоран права имеет,
В родстве ль с Алфредом был и как он днесь владеет?..

Инслар

По праву сильного! — уж целый год прошел,
Как с диким войском он саксонов к нам пришел,
Повсюду огнь войны ужасный развевая
И наших стран предел мечом опустошая,
Спокойный, мирный край в унынье погрузил.
Тогда во сретенье врагов Алфред спешил.
Стремился он на них с своей дружиной верной,
Сражен им многократ враг злобный, лицемерный.
В тот час о мире он Алфреду предлагал;
По благости души Алфред сей мир приял,
Но, ах! сколь лютое за благость награжденье!
Флоран стал праздновать с Алфредом примиренье;
Злодей ужаснейший нам ков соорудил,
Царя и всех вождей на пир он пригласил.
В сем пышном торжестве все купно веселились
И, злобу позабыв, приязнью съединились,
Но вдруг, свой умысел открыв, Флоран-злодей
Во гроб Алфреда сверг и наших всех вождей...
Алфредов сын Эдгард безвестно где сокрылся,
Быть может, с прочими в мрак гроба погрузился...
Однако же меж нас был слух распространен,
Что он еще живет, в темнице заключен...
Но льзя ли слухами нам утешаться сими?

Вельзен, младой герой, лишь с войсками своими
На празднестве не быв, вождем голландцев стал;
Тут с воинством Флоран к столице поспешал
И, захватив престол, с тиранством воцарился...
Тогда и сам Вельзен со стоном покорился...
С тех пор, коварствуя пред ним всегда, Флоран
Всё ополчение ему сих вверил стран;
Но, верно, между тем во тьме сплетает ковы:
Тираны с кротостью губить всегда готовы.

Посол

Пождите, верные отечества сыны!
Вы скоро узрите свободу сей страны.
Невинных правота, тиранством угнетенна,
Достойна, чтоб о ней крушилась вся вселенна!..
Невинно страждущим защита в небесах;
Я скоро с помощью явлюся в сих странах!..

Явление IV

Те *же, кроме посла*.

Инслар

Так посылает бог невинным утешенье!
Уже готовит он тираново паденье.

Эрик

Ах! если б мог наш край, избавясь злых врагов
И тяжку цепь прервав, познать блаженство вновь!..

Явление V

Вестник
(вручая Инслару письмо)

Инслар! сей лист тебе Мерид препровождает;
Он рек, что тайну весть в себе он заключает.

(Уходит.)

Инслар

Мерид, наш скрытый друг, он верен, любит нас;
Какую ж весть подать желает в этот час?..

(Читает.)

«Внезапной болию в сей час изнемогаю;
Не в силах к вам предстать; но весть дать
поспешаю:
Годмиле, Вельзену ков тайный устроял
Тиран и к Вельзену приказ уже послал,
Чтоб он без войск своих к нему один явился...
Храните Вельзена!..»

Инслар

Тиран! твой ков открылся;
Давно уже Эльфрид подал о том мне весть,
Что Вельзену Флоран желает смерть нанесть,
Теперь и боле я уверился в сей вести...

(Обращаясь к Эрику и Гильдербергу.)

Спасите Вельзена врага от лютой мести!
Спешите вы его остановить в пути,
Да не дерзает он на верну смерть идти;
Скажите, что тиран злой ков ему сплетает...
А если сим речам он внять не пожелает,
Коль презрит страхи все его великий дух,
Напомните ему, что он еще супруг...
Супруги и отца слезами пусть смягчится,
Молите, хоть для нас пусть в гибель не стремится.
Друзья мои! отец несчастный молит вас
Героя Вельзена спасти в сей лютый час...

Эрик

Инслар, спокоен будь! опасность презирая,
Чрез горы и леса путь краткий избирая,
Грозящу Вельзену напасть предвозвестим
И хитрый ков врага в ничто преобратим.

Уходят оба.

Явление VI

Инслар

(один)

Творец! я здесь один, один с моей тоскою,
Ты бури грозные зришь над моей главою;
Там сын в опасности, супруга здесь его,
Здесь дочь несчастная, лишенная всего,
Продлится ли на вас судьбины злой гоненье?
Творец! склони ко мне отеческо воззренье.
Пусть смертию моей дочь, сына я спасу,
Пусть за отечество все казни понесу,
Тебя, о боже! я в напастях призываю:
Под твой святой покров себя и чад вверяю...

Явление VII

Вестник

Инслар! беда грозит, спасай несчастну дочь!

Инслар

Годмилу, дочь мою?..

Вестник

В сию ужасну ночь
Морские хищники к сим берегам пристали,
И дочери твоей на замок вмиг напали;
Быть может, в этот час уж дщери нет твоей!..

Инслар

Идем, бежим, спасем или погибнем с ней!..

Конец первого действия

В продолжение 1-го антракта музыка изображает смятение и тревогу; по временам раздаются звуки набатных колоколов.

Действие II

Театр представляет на возвышенном берегу моря замок Вельзенов, с различных сторон объемлющийся пламенем. Зарево сияет на тверди. Пылающие башни и прочие здания изображаются в волнах моря. У берега видно судно, которое вскоре отчаливает. В левой стороне, близ замка, лес. Флоран, скрывающийся в нем, выглядывая из-за дерев, различными телодвижениями изъявляет свое удовольствие и ободряет сообщников.

Явление I

Сообщники Флорановы сбегаются с различных сторон, некоторые с факелами, прочие с оружием. Жители выбегают толпою из замка, многие вооружены.

Эдвальд

(к сообщникам)

Ступайте окончать предпринятое дело;
Стремитеся, друзья, на сих бегущих смело!
Потщитесь всех, пленив, увесть с собой сей час,
За важный подвиг сей уж ждет награда вас!..

По велению Эдвальда сообщники его бросаются на жителей замка — несколько времени сражаются мечами, потом жители замка обезоруживаются, заключаются в оковы и увозятся на судне. Часть сообщников остается при Эдвальде.

Явление II

Годмила в ужасе выбегает из замка с сыном на руках. Один из служителей последует за нею.

Годмила

О страх! повсюду огнь творит опустошенье,
Где, где несчастна мать найдет себе спасенье?
Везде летает гром разгневанных судьбин,
Куда сокрыть тебя, несчастный, бедный сын?..
Куда сокрыть? пусть вся вселенна истребится, —
Он грудью матери стенящей охранится...
Коль сын спасется мой, ничто мне гнев небес,
Прими под сень свою несчастных, мрачный лес!

(Бежит в лес, но на пути останавливается Эдвальдом.)

Эдвальд

(к сообщникам)

Друзья! Годмила здесь, скорей ее возьмите
И тайными во град путями отведите,
Уж вам известно всё, что должно исполнять...

Сообщники бросаются к Годмиле и исторгают из ее объятий сына.

Годмила

(в отчаянии)

Куда влечете вы несчастнейшую мать?..
Мой сын, ужели мы навеки разлученны,
Что станется с тобой?.. Злодеи разъяренны
Не внемлют жалобам, ни стонам, ни слезам!
О боже! повели ниспасть на них громам!..
Вельзен, супруг драгой! где, где твой меч ужасной?
Почто ты не летишь к спасению несчастной?
Ах, не спасут меня ни дружба, ни любовь!
Злодеи, пейте днесь невинной жертвы кровь!..

Упадает в беспамятстве, ее уносят, между тем служитель, провожавший Годмилу, бежит укрыться в лес, прямо к Флорану, где он и поражает его кинжалом.

Явление III

Флоран и Эдвальд (сообщники по знаку несколько удаляются).

Флоран

(выбежав из лесу)

Уже свершилось всё!.. Исполнились желанья,
Успех счастливейший венчал все начинанья.
Эдвальд! благодарю за подвиг сей тебя;
Ты можешь днесь просить награды для себя...

Эдвальд

Награда для меня — одно твое воззренье.
Мой долг во всем хранить к царю повиновенье:
Я раб!

Флоран

Нет! дай себя, как друга, мне обнять!..

(Обнимает его.)

Потщись лишь в тайне всё глубокой содержать!

Все жители сих мест тобой уже плененны,
Иные же мечей ударами сраженны...
Так, днесь я утолю палящей страсти жар...
Но что? .. Идет сюда отчаянный Инслар!
Я должен воплями несчастного смущаться...
Нет! .. непричастным к злу потщусь ему казаться.
Коварство я пред ним в сей час употреблю,
А после и сего злодея погублю.

Явление IV

Инслар

(окруженный и поддерживаемый служителями)

Где дочь моя? .. Увы! никто не отвечает,
Вотще мой скорбный глас пустыни наполняет.
О вы, бесчувственны, жестокие сердца!
Не внемлют! .. не смягчит их стон и вопль отца! ..

Флоран

(подходя к нему)

Престань стенать, о князь, несчастный и почтенный,
Ты зришь, я сам, в сей час тревогой возмущенный,
Спешил в сии места, чтоб помощь вам подать,
Но, ах, я не успел несчастных жертв спасать!
Морские хищники, живущи грабежами,
Приплыв в полночный час к нам с легкими судами,
Всех жителей пленив, сокрылись за моря! ..

Инслар

Ах! к лютым извергам отмщением горя,
Я сам бы полетел вслед дочери любезной,
Чтобы страдалицы разрушить жребий слезной! ..
Гнев ветров, шум морей меня б не удержал;
Но се хлад старости несчастного ковал! ..
Се древняя глава покрыта сединою,
И грудь сокрушена печалью и тоскою;
Скорбь люта, бремя лет отъемлют крепость сил! —
О изверг! кто меня всех радостей лишил,
Ты торжествуешь днесь над старцем в ликованьи! ..
В отмщенье на тебя восшлю я заклинаньи;

Услышит мститель-бог и казнь врагу пошлет,
Во ад преобратит злодею он сей свет;
Не вкусит в жизни он спокойныя минуты,
Пусть фурии везде его терзают люты!..
Да будет на морях он ветрами гоним,
Пусть в трепете земля расступится под ним,
И ада зев пожрет виновника мученья!..

Флоран

(в сторону)

Мне должно усмирить в душе моей волненья.
Бессильный старец пусть сзывает гром с небес, —
Мне ль трепетать?..

(К Инслару.)

Инслар! прерви ток горьких слез!..
Почто столь грозные творишь ты заклинанья?..

Инслар

Ужель не видишь ты души моей страданья?..
По мере мук моих столь мало клятвы сей!
Ах! если бы предстал очам моим злодей!
С каким восторгом я, отмщением пылая,
В преступну грудь его стократ мой меч вонзая,
Лютейша изверга до капли кровь пролил!..
Иль нет!.. Бог видит, я злодею всё б простил,
Когда бы отдал мне он дочь мою несчастну,
Престал бы ненависть питать к нему ужасну,
Моля, да счастье бог пошлет ему с небес.
О ты, виновница моих стенаний, слез!
Почто не можешь зреть, сколь страждет твой родитель?
Великий государь! будь старцу покровитель!
Монарх! несчастного молениям внуши
И помощи своей в час лютый не лиши!..
Вся жизнь моя прошла с злосчастием в бореньи,
Но с твердостью пренес я все судьбы гоненьи;
Вотще и лютый рок разил меня всегда:
Инслар не упадал под роком никогда!
Се непреклонное чело под сединою...
Но я отец, узри, как скорбь владеет мною!
В отчаяньи, в тоске упасть в сей час готов
Пред тем, кто пролил здесь реками нашу кровь;

Суди, сколь лютую терплю я в сердце муку,
Что даже днесь лобзать готов кроваву руку! ..
Сим унижением ты скорбь мою измерь,
О государь! будь благ, смягчись, отдай мне дщерь! ..

Флоран

(в сторону)

Страшусь, чтоб твердость мне моя не изменила...

(К Инслару.)

Я зрю, безмерна скорбь сколь дух твой возмутила! ..
Но вдаль еще уплыть злодеи не могли,
Сей час пошлю им вслед быстрейши корабли! ..

Инслар

Утешь мой скорбный дух, терзаемый тоскою! ..
Пошли спокойство мне! ..

Флоран

(с скрытой злобой, в сторону)

В могиле

(К Инслару.)

Успокою! ..

(Уходит.)

Инслар

С возвратом дочери воскреснет дух отца! ..

Явление V

Те же, кроме Флорана, Эдвальда и сообщников.

Инслар

Иль не познаю ввек я бед моих творца? ..
Злодеи лютые, коль златом ослепились,
Почто, почто на мой вы замок не стремились?
Я б всё готов отдать и сам идти в рабы,
Чтоб только дочь спасти от лютыя судьбы.
О дочь! несчастна дочь, сколь грусть мне сердце гложет!

(К служителям.)

Но нет, друзья мои, и то легко быть может,

Что варвары сии, ко грабежу стремясь
И в путь обратный течь с добычей торопясь,
О дочери моей возлюбленной забыли!..
Окрестны, может быть, ее пещеры скрыли!..
В различных все местах рассейтесь вы в сей час,
Меж гор и диких скал долины обтеките,
В пещерах, по лесам, везде ее ищите...
Отдайте дочь отцу!

Служители

(уходя)

Спокоен будь, спешим!..

Явление VI

Инслар

Сколь строго я судьбой разгневанной разим!
В печальном мире сем всех радостей лишенный
И в бездну страшную сомненья погруженный,
Безвестьем омрачен, не знаю, что начать,
Всех способов лишен я истину познать.
Где дочь моя? Ужель она в плену, в оковах
Или в ущелиях сих диких гор суровых,
В изнеможении, часа последня ждет?..

Явление VII

Гильдерберг

Инслар! мы здесь, Вельзен в сей час сюда идет.

Инслар

Вельзен идет!..

Гильдерберг

Глася, что избегает глада,
Он рать уже ведет к стенам престольна града!
Я сам с ним встретился здесь близко на пути.

Инслар

Вельзен...

Гильдерберг

Он поспешит в сей час сюда прийти.

Инслар

Какое зрелище для нежного супруга!
Не явится ему души его подруга,
Все бедства поразят его в сем месте вдруг:
Восплачет здесь отец и горестный супруг!..
Что пред глаза его в сей лютый час предстанет?..
Нет! с ним увидеться уж сил моих не станет,
Уйдем!..

Гильдерберг

Остановись, Инслар! Вельзен идет...

Явление VIII

Вельзен, облаченный в светлое рыцарское одеяние, поспешно выходит из-под скал, Эрик и вожди войск за ним.

Вельзен

(издали)

Предчувствие мой дух ужасное мятет!..

(К Инслару.)

Инслар! ты здесь? Враги мой замок разорили;
Быть может, тем они Годмилу устрашили?..
Терзаюсь и стеню я только лишь о ней;
Позволь Годмилу мне прижать к груди своей!..
Отец! веди меня к супруге сей любезной!
Скажи мне, где она?

Инслар

О рок! о жребий слезный!
Должно ли мне ему гнев неба возвестить?..
Но, ах! во власти ли моей его сокрыть!

Вельзен

Отец! какая грусть столь дух твой возмущает?
Иль новою бедой судьба нам угрожает?..
Скажи, где дочь твоя? и где, скажи, мой сын?

Инслар

О, горе нам! О, ты, жестокий гнев судьбин,
Увы, почто?..

Вельзен

Постой! не поражай супруга!
Ужель и милый сын и нежная подруга
В сем пламени?..

Инслар

Нет, нет, они еще живут.

Вельзен

Почто же слез ручьи из глаз твоих текут?
О чем стенаешь ты?

Инслар

О их злосчастной доле:
Быть может, что они в сей час уже в неволе...

Вельзен

В неволе у кого?..

Инслар

Враги всех взяли в плен...

Вельзен

Итак, супруги я возлюбленной лишен!..
Ах, друг души моей, бесценная Годмила!
Сколь лютая судьба с тобой нас разлучила!..
О, страшный грозный рок! о, гневны небеса!
Долины мрачные! безмолвные леса!
Стенаньям горестным супруга вы внемлите
И страждущу ему подругу возвратите!..
Супруга, отзовись!.. Скажи, в каких местах
Томишься?.. Где ты, где, в каких земли краях,
Иль если бы тебя и под землей сокрыли
И огненными там реками окружили,
Когда бы вход к тебе был тиграми стрегом,
Я и туда пойду!.. пойду и сим мечом
Разрушу тьмы препон, горя к тебе любовью,
Свободу для тебя куплю моею кровью...

Я счастье в жизни сей с тобой лишь находил,
А без тебя весь свет ужасен и постыл!
Но тщетно в горести природу вопрошаю;
Природа вся молчит!..

(К Инслару.)

Где дочь твоя?..

Инслар

Не знаю!..

Вельзен

Но кто идет сюда?..

Явление IX

Служители приносят израненного и обагренного кровью раба, сопровождавшего Годмилу.

Один из служителей

Инслар! се мы нашли
Израненного!.. сам словам его внемли!
Его Флоранова десница поразила,
И он, он ведает, где дщерь твоя Годмила...

Вельзен

Годмила! где она?

(Подходит к раненому.)

Раненый

Увы! наш царь Флоран,
Покрывший сам меня тьмой смертоносных ран,
Причиною всех бед!..

Вельзен

Флоран!..

Раненый

Когда восстала
Тревога в замке сем, Годмила поспешала,
С младенцем на руках, в мрак рощи чрез поля;
Спешил ей вслед туда один лишь только я...

Но там из-за дерев Флоран во гневе яром,
Явившись вдруг, сразил меня меча ударом.
Годмилу ж с сыном сонм рабов его увлек...
Мрак смертный взор мрачит!..

Его уносят.

Вельзен

(К Инслару.)

Ты слышал, что он рек!..

Инслар

Нам должно б предузнать, что та жестока рана
Дана злодейскою рукою нам тирана!..
О, изверг!.. но наш долг — несчастную спасти.

(К Вельзену.)

Вельзен! молю тебя, за дочь мою отмсти!..

Вельзен

(с принужденным равнодушием)

Я слышал все! — и так молить меня напрасно...

(С жаром.)

Я мщенье совершу неслыханно, ужасно! —
Тирану, извергу, который отравил
Злым ядом жизнь мою... чтоб Вельзен не отмстил!
Нет!.. если на меня обрушится вселенна
И тысячью оков та длань обремененна
Не властна будет меч отцов моих подъять,
Тогда возможет лишь злодей торжествовать...
А без того пускай он адом окружится!..
Я презрю ад и смерть, иду с врагом сразиться.

Инслар

Постой, Вельзен, один в погибель не стремись,
Но прежде воинством усердным оградись!
Мой друг! нам бог велит свершить граждан спасенье:
Свободу наших стран, врагу лютейше мщенье.

Вельзен

Отец! из уст твоих я внемлю глас небес!
В дань горести моей лью токи горьких слез,
Но для отечества пожертвую всей кровью...

Пойдем воспламенить к стране родной любовью
Всех воинов моих! Я вмиг полки сберу.
Отечество спасу иль за него умру!..

(К вождям.)

К бессмертным подвигам, друзья, вас призываю!..

Инслар

И я, я чувствую, что вновь днесь оживаю...
Чтоб дочь свою спасти, наш край освободить,
Творец! дай день еще, дай час один прожить!..
Любовь к родной стране зовет меня ко брани;
В защиту дочери бог укрепит мне длани.
В сей миг я в замок свой поспешно устремлюсь
И, старость лет забыв, в оружье облекусь...
Спасем отечество, стенящее в неволе!..
Вельзен! мы встретимся с тобой на ратном поле!..

(Идет в другую сторону.)

Вожди, Эрик и Гильдерберг уходят за Вельзеном.

Конец второго действия

Действие III

Театр представляет древний готический замок с башнями и стенами. Впереди замка, т. е. против самой сцены, дикий сад; в конце оного, между древних скал, поросших кустарником и окруженных елями, видны Флоран и Эдвальд, разговаривающие вдали и потом выступающие на сцену.

Явление I

Флоран

Не правда ли, Эдвальд, не раз дивился ты,
Что я, достигнув здесь престола высоты,
В могуществе покрыт всех почестей лучами,
Вздыхал наедине с слезящими очами?
Стенают и цари! — грусть обща смертных часть...

Эдвальд

Стенают слабые, а тот, чья мощна власть,
Главы надменных царств под длань свою склоняет;
Кто словом смерть иль жизнь народам изрекает,
Тот может ли страдать? — в дни счастья и побед
Тебя, открывшего по лаврам к трону след,
В величьи, в роскоши, в сияньи громкой славы,
Владеюща судьбой трепещущей державы, —
Что может возмущать? — ты всех смирил врагов...

Флоран

Но враг, лютейший всех, в душе моей — любовь!

Эдвальд

Любовь?!

Флоран

Я свет узрел меж дикого народа,
Где вечно хмурится унылая природа...
Ты знаешь сам, что я, средь наших блат в лесах,
Под шумом вечных битв, воспоен на щитах!
Война, от юных лет, была моя забава,
Мне другом был мой меч, а целью в жизни — слава!
Треск копий, звук браней и бранный жар в крови —
Вот всё, что ведал я; ах! я не знал любви...
Здесь я узнал ее; здесь в первый раз стал страстен;
И, царство покорив, рабыне сам подвластен!..
Подвластен!.. Нет, порыв я нежных чувств смирю:
Рассудку хладному жар страсти покорю...
Слыхал я, что в любви бывают слабы, нежны, —
Страшусь сего: нет! пусть все страсти вдруг мятежны
В груди моей кипят: мне казнь — любовь одна!
Быть может, от небес ниспослана она;
От праведных небес, за стон сих стран, в отмщенье.
Но тщетно рок послал любовь мне на мученье:
Любя, не буду слаб; не покорюсь любви,
Я буду лют, жесток и страсть сгашу в крови!..

Эдвальд

Какая ж смертная, предъизбрана судьбою,
Могла, о государь, пленить тебя собою?

Флоран

Годмила — Вельзена строптивого жена...

Эдвальд

Счастливая из жен! Годмила?

Эдвальд

Так, она!
Надменной сей рабы пленен я красотою,
Узрев ее, престал считать любовь мечтою...
Ее прелестный вид и томный, нежный взгляд
Вливал мне тайно в грудь досель безвестный яд;
Стыдяся сам себя, тая сердечны стоны,
Я с сердцем в брань вступал и клал любви препоны:
Но тщетно все! .. Бежал покой и сон от глаз,
И образ мне ее мечтался всякий час...
А в ночь сию она еще милей казалась:
В тоске, в отчаяньи сим боле украшалась;
Когда повсюду огнь со треском воспылал,
Ты знаешь, скрыться я в лес ближний поспешал,
Какое зрелище явилось мне пред очи!
Сквозь вихри пламенны, разгнавши мраки ночи,
Когда раздался вкруг мечей и копий треск,
На небе и в морях разлился зарев блеск:
Чрез зыбкий пепл, сквозь дым, сквозь искры, устрашенна,
Вспрянув от сна, едва одеждой покровенна
(Котору с нежными власами ветр взвевал),
Бежит Годмила! — сын к груди ее припал...
Ланиты бледные в ней томность умножали,
И слезы на очах, сквозь блеск очей, сверкали! ..
Не знаю отчего, от блеску ль темноты,
Сугубу видел в ней я прелесть красоты?
Пылало всё вокрут, и сам горел я в страсти! ..

Эдвальд

Теперь свершилось всё, в твоей Годмила власти...
Я мыслил, государь, что дух твой возмущен
Единым мщением... что замок в пепл сожжен
Лишь только гордого Вельзена к усмиренью,

И что супруги он... Но коль вина хищенью
Снедающа тебя к жене сей тайна страсть,
Спокойся!.. днесь над ней имеешь полну власть.
Ты можешь...

Флоран

Так, явил усердье ты не ложно...
Приказ исполнил мой поспешно, осторожно,
Годмила днесь моя, она в моих руках;
Но чем я покажусь теперь в ее глазах?
Злодеем, извергом неистовым, ужасным!
Который, жертвуя своим порывам страстным,
Пренебрегая всё, не зря препон ни в чем,
Преграды все низверг пожаром и мечом, —
Как, вдруг узря ее средь страха и смущенья,
Начну ей изъяснять души своей мученья?
И как внезапно ей сказать мне о любви
И руку к ней простерть, дымящуся в крови?

Эдвальд

Напрасно ты себя смущаешь сим мечтаньем!
Согласно будет всё, монарх! с твоим желаньем.
Понравиться тебе — верх счастья для рабы,
Царева сердца дар есть первый дар судьбы!

Флоран

Ты прав, Эдвальд, твои я мысли постигаю;
Признаться, в том и сам надежду полагаю,
Чтоб пышностью ее, сияньем ослепить,
Величия мечтой и златом обольстить.
Но, к сердцу путь открыв, готов открыть и к трону;
Готов ей на главу взложить мою корону,
И, жизни на пути рассыпав ей цветы,
Я отклоню от ней все скорби, суеты:
По тернам сам идя — пред ней рассею розы...
Порфира царская отрет вдовицы слезы...
Но если тщетно всё!.. мне мысль сия страшна!
Когда упорная и гордая жена
Посмеет огорчать царя сопротивленьем!..
О! я не посрамлю себя уничиженьем:

Не стану воздыхать, томиться, слезы лить
И, цепь любви влача, богиню в смертной чтить...
Нет, рабской слабости не буду я причастен,
Я царь — она раба; как бог, над ней я властен!
Я всем пожертвую за нежность и любовь,
Несклонность зря — пролью рабы преступной кровь!
За претерпенны мной страданья и мученья
Всю лютость истощу неутомима мщенья...
Стократ ей грудь пронжу, и, в трепет всем и страх,
Сей дерзкой я рабы развею самый прах! —
Веди ее сюда.

Явление II

Флоран

(один)

Увижу я Годмилу,
Прельщу, склоню, смягчу иль ввергну здесь в могилу:
Коль не пленит рабы ни скипетр мой, ни трон,
То пусть услышу здесь ее смертельный стон!
Ее последний вздох мне будет утешеньем:
Исчезнет страсть моя с ее уничтоженьем...
С ней вместе погребу несчастную любовь;
Утехой будет мне: война, мечи и кровь.
Но се, она идет! страшусь, чтоб не смягчиться,
Мне должно твердостью и лестью воружиться...

Явление III

Эдвальд и два темничных стража приводят Годмилу, бледную и с растрепанными волосами.

Годмила

О боже! где я? где? — в местах ужасных сих
Темнеет всё... и свет бежит от глаз моих!..
Скорбь грудь мою теснит; увы! я сил лишаюсь...
Смерть! смерть идет!.. Я к ней в объятья повергаюсь...

Колеблется и падает в обморок, страж и Эдвальд поддерживают ее.

Флоран

(рассматривая Годмилу в обмороке)

Сколь много прелестей! какая красота!
Полмертвы бледностью покрытые уста,
И томна полна грудь, вздымаема волною:
Прекрасно всё! — скреплюсь, что сделалось со мною?

Годмила

(опомнившись)

Чудовища! .. куда влечете вы меня? ..
Постойте! .. вас молю, скажите мне, где я? ..
В вертепе ли убийц? .. Но что? иль изменяют
Померкши очи мне? .. Кого они встречают?
Тебя ль, о государь! в местах сих зрю в сей час?
Невинность гибнуща к тебе возносит глас.
Я в страхе не пустой мечтою обольщенна
И зрю, что пред царя страны сей приведенна;
Супруги, матери услыши скорбный стон!
Да будет от врагов щитом ей твой закон!

Флоран

Годмила! прекрати стенанья бесполезны!
Забудь все горести! твои печали слезны
Потщимся в радости мы сладки пременить.

(Указывая ей сесть на дерновую скамью.)

Приди! твой царь тебе спокоиться велит.

Годмила

Возможно ль мне найти в сем мире спокоенье?
Увы! почто не зришь лютейшее мученье,
Которое в моей скрывается груди?
О государь! зри скорбь, будь справедлив, суди!
Могу ль покоем я в час лютый насладиться?
Тут бездны... здесь земля готова расступиться...
Могу ль и где найти хоть малый мне покой?
Безвестье, ужас, страх смущают разум мой...
Ах! кто несчастнее меня быть в свете может,
Разлука с милыми сколь люто дух тревожит!
Где сын мой? .. где отец? и где драгой супруг? ..
Ужель всех благ судьба лишит несчастну вдруг? ..

Флоран

Не сетуй! ты во мне найдешь отца и друга
И, может быть, еще счастливейша супруга.
С такими прелестьми, с такою красотой,
Не властна ли пленить ты смертных всех собой?..
Ты не родилась быть рабыней в мрачной доле;
Годмила! ты блистать достойна на престоле;
Владыки царств земных за счастье бы почли,
Когда б они собой пленить тебя могли.
И я, владеющий обширными странами,
На троне озарен блестящими честями,
Я сам за редкий бы от неба дар почел,
Когда б подобную из жен тебе нашел.
Ах! нежность к ней моя не знала бы предела!
Народом, троном, мной, она бы всем владела...
Годмила! украшать должна ты трон собой!..

Годмила

О троне ль помышлять, гонимой мне судьбой...
Но если ощутил к несчастной сожаленье,
О государь! разрушь в сей час мое сомненье:
Где сын, отец, супруг? — вели мне объявить.

Флоран

Страшусь их участью Годмилу огорчить.
В сии печальные и горестны минуты
Почто мне умножать твои страданья люты?
Супруг твой...

Годмила

Где? где он? о рок! ужель он пал?..

Флоран

Он ков к погибели страны сей устроял,
Презрев монаршие к себе благодеянья,
Он явно здесь свершил ужасны злодеянья,
Рассеяв мятежи и взволновав народ...
Но на злодея гром ниспал уже с высот...

Годмила

Он мертв!..

Флоран

Нет, он еще в оковах пребывает
И казни от моей десницы ожидает.

Годмила

Супруг в оковах мой! о рок! о грозна часть!
Великий государь! столь лютую напасть
Ты можешь отвратить щедротой лишь твоею.

Флоран

Он должен быть забвен супругою своею:
Возжегший мятежи и враг державы сей
Достоин может ли быть нежности твоей?

Годмила

Супруг мой!.. Ах!.. Бог зрит души моей желанье,
Чтобы с тобой везде делить твое страданье.
С тобой познала я, что счастье в мире есть,
С тобой и казни все с восторгом буду несть.
Пошли нас, государь, в пустыни отдаленны,
В страны, кипящими морями окруженны,
Там буду жить его воззреньем лишь очей.
И если в той стране нет жителей, людей,
То стоном страждущей зверей смягчатся роды...
С Вельзеном рай найду средь ужасов природы!..

Флоран

(в сторону)

О! сколь завидна часть злодея моего!

(К Годмиле.)

Но средство есть еще смягчить судьбу его
От казни лютыя, назначенной злодею:
Спасен он может быть супругою своею,
Решишься ли на всё?..

Годмила

Как мне его спасти?!
Скажи, что должно мне на жертву принести?
Иль жизнь мою? — в сей миг лютейшему мученью
Подвергнусь с радостью супруга ко спасенью.
Скажи, о государь, что должно мне творить?

Какою жертвою супруга искупить?
Иль счастьем дней моих, или моей всей кровью?

Флоран

Он может быть спасен одной твоей любовью.

Годмила

Любовию?..

Флоран

К царю...

Годмила

К кому?..

Флоран

Ко мне...

Годмила

К тебе?..

Флоран

Решись покорной быть во всем своей судьбе!
Я должен, наконец, в сей час тебе открыться,
Что страстью пламенной душа моя томится:
Знай! я тебя люблю — к тебе питаю страсть!..

Годмила

О рок! о злобный рок! о лютая напасть!
Итак, я познаю виновника мучений...
Разлуки с милыми, ужасных злоключений
Причиною был ты! меня похитил...

Флоран

Я!
Но привлекла меня к тому любовь моя,
Теперь оставим мы напрасное притворство:
Годмила! ты должна явить царю покорство! —
Суровостью своей лишь мой умножишь гнев:
Отец, супруг и сын падут злой смерти в зев!
Я отомщу тебе за все в любви мученья!..

Годмила

Тиран! пронзи мне грудь себе для утешенья!
Не жизнь, но честь щади! не царь, ты лютый зверь...

Флоран

(грозно)

Раба! смирись и гнев бессильный твой умерь!
Отколе гордость та, почто ты столь надменна?
Раба перед царем быть смеет дерзновенна?

Годмила

Нет, нет, то не раба, отчаянная мать,
Супруга, сирота, котору поражать
Стремится меч судеб от самой колыбели.
Все чувствия мои от скорби онемели...
Зря матерь страждущу, смягчись, о государь!
Пусть зрит весь мир, что ты великодушный царь!..
Отдай ты дочь отцу, а мне — супруга, сына!
Ах, сих злосчастных жертв в твоих руках судьбина!

Флоран

Спаси ты их сама! размысли! рассуди!..

(К Эдвальду.)

Эдвальд! Вельзенова к нам сына приведи.

Явление IV

Флоран и Годмила.

Флоран

Здесь сына твоего увидишь ты страданья!

Годмила

Злодей! изобретай невинности терзанья!..
В неволе мой отец, в оковах мой супруг;
О! сколько лютых бед меня сражает вдруг!
На гибель ввержена я в мир сей небесами...
Тиран!.. нет... Государь! будь благ, смягчись слезами!
Пощады не прошу: коль винна я, карай, —
Супруга, сына лишь со мной не разлучай,

Пусть заключат нас всех единые оковы:
Все вместе съединясь, терпеть мы всё готовы...

Флоран

Необходимости познай в сей час закон!
Раба! царицей будь, взойди со мной на трон!
Склонись, смягчи свою надменность горделиву!
В утехах, в радостях ты встретишь жизнь счастливу:
Я по цветам тебя к блаженству поведу,
Блестящих почестей на высшую чреду.
Поверь, угодно то судьбе и провиденью,
Чтоб ты была моей! — народов к утешенью.
Суровость чувств моих смягчит твоя любовь,
В отечестве твоем престанет литься кровь...
Где копий лес сверкал, созреют там оливы;
Из бурных, грозных дней настанут дни счастливы...
Я буду твой супруг, — твой раб, не властелин.

Годмила

(вовсе не внемля ему)

Страдальцы горестны: супруг! отец! мой сын!

Флоран

(в бешенстве)

Не внемлет мне раба!..

(Смягчаясь.)

Бесценная Годмила!
Ты муки пламенны во грудь мою вселила...
Ты в торжестве; а я стеню под бремем зол...
Нет!.. избирай сейчас иль муки, иль престол!..

Годмила

На что мне твой престол! злодейско ухищренье
В душе моей к тебе лишь множит отвращенье.
Алкающий убийств, испей мою всю кровь!
Но не мечтай склонить меня к себе в любовь...
Не привлечет меня ничья к пороку сила,
С восторгом смерти ждет злосчастная Годмила!

Явление V

Те же. Эдвальд приводит сына, который, увидя мать, простирает к ней руки.

Годмила

Мой сын! узнал меня... несчастный, бедный сын,
Ужель и на тебя прольется гнев судьбин?

(Хочет его обнять.)

Флоран

(удерживая Годмилу)

Постой!.. Ты мать ему; но я им обладаю:
Приблизиться тебе к нему не позволяю...

Годмила

Мой сын! ты мать узрел и разлучишься с ней.

(Вырываясь.)

Престань меня терзать, неистовый злодей!..
Увы! лишаюсь сил... напрасны слезы, стоны,
Расторглись естества святейшие законы...
Мать с сыном разлучить стремится целый ад!
Ах! в скорби меркнет взор, и в сердце льется хлад...

(В исступлении, простирая объятия.)

Нет! нас не разлучат, мой сын! ты здесь со мною,
Ты на груди моей!.. Ах, лютою мечтою
Мой дух пленен, увы! я сына лишена!
Он здесь!.. я зрю его... и с ним разлучена!..

(К Флорану.)

О изверг естества! Геенны порожденье!
Ты в сердце носишь яд, в душе окамененье!
Тебя лишь не смягчит стеняща в грусти мать!..

(Вырываясь.)

Чудовище! пусти!.. престань меня терзать!..
Ах!.. он, как фурия, мне сердце раздирает!..
А бог, а грозный бог! злодея не карает!..

(Воздевая руки к небу.)

Я вижу небеса!.. но громы в них молчат!
Увы, и громы днесь тиранов не разят!..

Флоран

Ничто не страшно мне; гнев неба презираю...
Покорствуй!..

Годмила

Государь! как бога, умоляю!
Отдай ты сына мне, отдай ты мне его!
Почувствуй тяжку скорбь стенанья моего,
Зри горестную мать! зри токи слез, мученье...

Флоран

На место их яви одно повиновенье.
Коль покоришься ты...

Годмила

Паду к твоим ногам!

(Упадает на колени.)

Вопль матери внемли — отдай его!..

Флоран

Не дам!

Годмила

О изверг! ты моим страданьем веселишься,
Возьми за сына жизнь!..

Флоран

Ты с жизнью разлучишься.
Раба! забудь мечты и светлый сан цариц!
Ведите, воины, ее во мрак темниц...
Да будет всех отрад преступница лишенна,
Подземной вечной тьмы в обитель заключенна,
Куда б не доходил ни ветр, ни свет небес;
Тоска — ей пища там; питье — ток горьких слез.
В живых погребена, должна она томиться
И смертию чрез глад лютейший истребиться.
Младенец сей пусть с ней в подземный мрак сойдет!
Он на груди ее в страданиях умрет.

Годмила

Мой сын со мной... Творец! сколь много я блаженна!
Мой сын! коль гладом я пребуду изнуренна,
Коль пищи для тебя в груди не станет сей,
Я стану кровию питать тебя моей!

Флоран

Отдайте сына ей!.. но сей же час влеките
И в пропасть обоих подземну заключите!

Годмила

(схватив сына)

Бесценный дар любви! возлюбленный сын мой!
Я радостью почту лютейшу скорбь с тобой!
Пускай на нас пошлет тиран все муки ада!
За все беды и скорбь твой взор — моя награда!..

Стражи уводят Годмилу.

Явление VI

Флоран

(вслед Годмиле)

Почувствуешь мой гнев, когда начнешь страдать!

(К Эдвальду.)

Не правота ль велит продерзких нам карать?..

Эдвальд несколько смущается.

Царевы все дела должны быть свято чтимы,
Для подданных они всегда непостижимы.
Чтобы спокойство в сих странах установить,
Я весь зловредный род желаю истребить:
Вельзен падет — а ты, к Инслару поспешая
И замыслы свои в мрак тайны сокрывая,
Спеши его схватить! ты слышал мой приказ?..

Эдвальд

Внимал и поспешу свершить его в сей час...

(Уходит, изъявляя некоторое содрогание ужаса и жалости.)

Явление VII

Флоран

(один)

Он содрогается!.. Ужели сожаленье
Эдвальд почувствовал, Годмилы зря мученье?..
Кто смеет сожалеть, коль царь велит карать!..
Рабам ли о делах монарха рассуждать?..

Эдвальд в смятеньи был, я видел в нем премены, —
Кто мягкосерд, тот слаб и недалек измены.
Преступник к ней путем раскаянья идет...
Мне изменить?.. Нет! он скорей стократ умрет!..

Явление VIII

Эдвальд

Спеша исполнить я твое препорученье,
Вельзена с воинством узнал о приближеньи.

Флоран

Как! Вельзен не один!..

Эдвальд

В странах, где он стоял,
От гладу лютый мор с болезнями настал,
И вверенных ему полков для береженья
Вельзен сюда идет!..

Флоран

Напрасны ухищренья...
Мятеж воспламенить спешит сюда злодей
И, может быть, сорвать венец с главы моей!..
Вельзен идет, когда Годмила похищенна!
Но тайна для него навеки сокровенна.
Не правда ли, Эдвальд?..

Эдвальд

Я все следы сокрыл,
Сообщников моих поспешно удалил;
Узнав, что ты даришь их быстрыми судами,
В веселии они расстались с берегами
И скрылись за моря...

Флоран

Итак, спокоен я!
Не может тайна быть уведана моя.
Один лишь ты, Эдвальд! — но ты молчать умеешь,
Хотя в душе своей, мне кажется, робеешь...

Эдвальд

Поверь, что робость я и робких всех кляну...

Флоран

Я верю!

(В сторону.)

Смертию уста тебе сомкну! ..

(К Эдвальду.)

Беги воспламенить саксонов бранным жаром
И, овладев самим немедленно Инсларом,
Спеши его тот час в оковы заключить
И в недрах диких гор вне градских стен сокрыть,
На берегах морских, в безвестны всем пещеры! ..

Эдвальд

Я все употреблю к тому возможны меры...

Флоран

Спеши! чтоб на врагов я мог излить всю месть...

Эдвальд уходит.

Явление IX

Флоран

(один)

Вельзен сюда идет, о страшна люта весть! ..
Иль сведал он, что я виновник похищенья? ..
Но от кого узнал? .. А если возмущенья
Враги воспламенят? .. Нет! .. я смирю врагов,
Бесплодно мужество Вельзеновых полков;
Не страшны мне его продерзость, храбрость, сила, —
Инслар, и сын его, и самая Годмила
В руках моих. Злодей падет к моим ногам!
О радость! поспешу отмщать в сей час врагам! ..

(Уходит.)

Конец третьего действия

Между сим и 4-м действием военная музыка изображает ратный шум.

Действие IV

Глубокая ночь, вся природа в волнении, ужасная буря колеблет вершины лесов, покрывающих окрестные горы; при блеске молнии видны облеченные в брони полки Вельзеновы, стоящие вдали на холмах. Военная музыка.

Явление I

Вожди войск и несколько юных воинов.

Старейший вождь

Уж мрачные везде простерла ночь покровы,
Сверкают молнии, из грозных туч, багровы:
К отмщению настал давно желанный час,
Почто ж Вельзена нет еще досель меж нас?..
Он дал обет прийти в час ночи к нам с Инсларом,
Воспламенив нас всех любви к отчизне жаром.
Так!.. Вельзен, голос твой есть наших глас сердец...
Ты рек: «Поборник нам вселенныя творец!»

Второй воин

Он рек, что час приспел, чтоб нам себя прославить,
От рабства лютого отечество избавить;
Что тени предков, днесь почивших во гробах,
Восстанут, чтоб скрепить дух мужества в полках!
И что железный трон, весь кровью обагренный,
Отеческой страны на персях утвержденный,
Низвергнем! — вознесем наш край, упавший в прах:
Да расцветет он вновь в блистающих лучах...

Явление II

Вельзен, сопровождаемый Эриком, Гильдербергом и несколькими воинами, приходит и становится в кругу вождей.

Вельзен

Друзья! Скажите мне, вы те ль еще герои,
Которых за собой на неисчетны бои
Дерзавших с мужеством мне сладко было зреть;
Которы, как на пир, текли на брань и смерть?..
Вы те ль, которые неволю проклинали
И цепи разорвать позорные алкали?..

Вы те ль, которых стон разил мой слух всегда
С тех пор, как лютая постигла нас беда?
Вы те ль, чии сердца столь горько сокрушались,
Как стоны гибнущих собратий к ним касались?..
Или, под бременем неволи и оков,
Прияли на себя вы подлых вид рабов?
Или злосчастье в вас все чувства притупило
И прежний жар святой из сердца истребило;
Иль сладко под ярем вам выи уклонять?..

Старейший вождь

Постой, Вельзен! постой! престань нас укорять!
За что друзей своих напрасно порицаешь?
Ты с лютой речью сей нам в сердце нож вонзаешь...
Иль можешь в подлости винить кого из нас?..

Вельзен

Нет, нет, друзья! всегда героев вижу в вас!
Отчаяньем во мне все чувства возмущенны!
Везде предательство! везде я зрю измены!..
Злосчастие во мне смущает ум и дух...
Все бедства надо мной в сей час свершились вдруг:
Уже я вам открыл мой жребий лютый, слезный;
А днесь, к свершенью мук, Инслар, вам всем любезный,
Исчез!.. Быть может, он врагам достался в плен...
О, если б знали вы, сколь люто я сражен!..

Эрик

Поверь, что чувствуем мы все твои напасти!..

Вельзен

Но вы не зрите ли и той плачевной части,
В котору ввержены все жители сих стран?
Не ощущаете ль им нанесенных ран?..
Повсюду злость врага! — там голодом томимых
И свирепейшими болезньми одержимых
(Которы из своих принес тиран лесов)
Отечество, в слезах, зрит гибнущих сынов.
Там с дикими зверьми в лесах они таятся
Или окованы среди темниц томятся,
Имея Тартара теней бледнейших вид!
Кого их горький стон и вопль не поразит?..

Гильдерберг

Страдальцев вздохи, стон мы в сердце исчисляем!

Старейший вождь

Веди нас! Мы сей час врага разить желаем.

Вельзен

Клянитесь небу в том!..

Старейший вождь и прочие
(вынимая мечи)

Клянемся небесам!
Превыше грозных бурь сам бог да внемлет нам!

Все возвышают мечи к небу.

Вельзен

Вселенныя творец! невинных покровитель,
Ты, молний и громов разящих повелитель!
Превыше светлых звезд, где, с истиной святой
Сидя, ты суд творишь для смертных правотой...
Вняв пламенной мольбе, отец и бог вселенной!
Соделай, чтобы рог тиранства вознесенной,
Чрез помощь мы твою, могли в сей час стереть!
Пошли свободу нам, творец! иль славну смерть!

Блеск молнии увеличивается, ужасный гром потрясает твердь, все ужасаются.

Вы содрогаетесь, зря всюду молньи яры,
Страшат вас горние гремящие удары!
Друзья! в смятении ужасном естества
Внемлите голос вы всемощна божества!..
Гремящею грозой в сей час не возмущайтесь;
Надеждой, верою и мужеством скрепляйтесь!
Клянитесь жизнь свою для отчества презреть.

Все

Клянемся за него с восторгом умереть!

Вельзен

О боже ужасов! о боже всемогущий!
Внемли ты клятве сей, творец повсюду сущий!

Гром раздается и поражает стоящий в стороне дуб, который с треском упадает.

Вельзен

Друзья! Творец в сей час мольбы и клятвы внял.
Падет тиран, как царь лесов, сраженный, пал! ..
Клянитесь вы еще освободить супругу,
Мою несчастную и горестну подругу.

Все

Клянемся за ее обиду отомстить
И тысячью смертей тирана поразить!

Вельзен

Довольно; лишь скорей ко воинам спешите
И к достохвальному их подвигу ведите!

Все расходятся в разные стороны.

Явление III

Вельзен
(один)

Во гласе шумных бурь гремяще божество
Тирану или мне готовит торжество? ..
Быть может, вскоре я злодеем низложуся...
Творец небес! Ты зришь, я смерти не страшуся;
Но смерть моя беды сих стран усугубит,
И за супругу кто несчастную отмстит? ..
Из глубины души, творец, услышь моленья
И помощь ниспошли для правого отмщенья!
О ты, чья мещет длань перуны грозны в мир,
Во гневе сокруши злодействия кумир! ..

В продолжение речи Вельзеновой войски с разных сторон сходятся к нему; некоторые воины с факелами.

Явление IV

С другой стороны Годмила в сопровождении нескольких Флорановых воинов.

Вельзен

Что зрю? О друг души, бесценная супруга!
Ты ль это? ах! спеши, пади в объятья друга! ..

Годмила

(прерывая его)

Беги!.. страшись ко мне приблизиться, Вельзен!
Весь воздух вкруг меня злосчастьем заражен.
От гнева рока вслед перуны мне летают
И дерзких, кто ко мне приблизится, — сражают!
Сопровождаюсь я повсюду тьмою бед...

Вельзен

Ах, для любви моей ни в чем препоны нет!
Со всеми бедствами Вельзен готов сразиться,
Чтобы с возлюбленной супругой съединиться,
Пусть все напасти вдруг стекутся надо мной:
Готов страдать, умереть, но быть хоть миг с тобой.

(Простирая объятия к Годмиле.)

Ты жизнь души моей! лети на грудь супруга!
Приди! Забудем всё, увидев вновь друг друга...

(Приемлет Годмилу в объятия.)

О боже благости! в сей миг, счастливый миг,
Земного счастия вершины я достиг;
Но кем блаженны мы, бесценная Годмила?
От бед тебя спасла какая мощна сила?
Я зрю, хранил тебя податель всех отрад:
Он утешается земных блаженством чад!..
Ужель престала гнать нас лютая судьбина?
Но для чего в сей час с тобой не вижу сына?..

Годмила

Еще не онемел разящий гнев судьбин!
Увы! в тирановых руках наш страждет сын!

Вельзен

Какая весть! о рок! наш сын в сей лютой доле!
Свободна ты одна?..

Годмила

Ах, нет, и я в неволе!

Вельзен

В неволе ты в тот час, когда супруг с тобой,
Когда стрежет тебя героев грозный строй,
Которы все на смерть в сей миг лететь готовы?..

Годмила

Никто не сокрушит злосчастия оковы:
Невидимая цепь связует днесь меня...

Вельзен

Всех наших бед еще не постигаю я.
Супруга! объясни нам страшно приключенье!
Какое над тобой свершил тиран мученье
С тех пор, как завладел тобой и сыном он?
Ужели не смягчил его твой плач и стон?

Годмила

Злодеи люты мать от сына отлучили
И все мучения над нами истощили...
Чудовище в венце, неистовый Флоран,
Сей счастливый злодей, губитель наших стран,
Давно питал ко мне огнь пагубныя страсти,
И на главу мою навлек он все напасти!..
Сначала лестию хотел меня пленить
И в сладостных речах мне в сердце яд пролить;
Не вняв моим слезам, молению и стону,
Он в дар мне предлагал и скипетр и корону;
Но зря, что я кляну его и сан цариц,
Вмиг гневом воскипел и в глубину темниц
Мать, сына заключил, — в подземной страшной ночи,
Дневного света где не зрят страдальцев очи,
Там осудил он нас от гладу умереть.
Уж я в отчаяньи ждала, как друга, смерть...
Но вдруг печальный свет средь страшной тьмы разлился,
Флоран с сверкающим кинжалом появился;
На сыне нашем он грозил излить всю месть,
Коль клятву пагубну умедлю произнесть.
Уж он невинного, как змий шипящий жалом,
Схватив за власы, хотел пронзить кинжалом...
Тут сердце матери забыло честь и долг
И клятву от меня — увы!.. — злодей исторг...

Упадает в обморок, воины поддерживают ее на щитах.

Вельзен

Безжалостный злодей! он все свершил мученья,
Всю лютость истощил неумолима мщенья!

(К Годмиле.)

Годмила! о мой друг, ты будешь отмщена!

Годмила
(опамятуясь)

Я небом и судьбой на смерть осуждена,
В злосчастной участи невинный сын страдает,
И клятва страшная мой дух обременяет...

Явление V

Посол от Флорана

Твой царь меня прислал, смирится ли Вельзен?
Страшись! уж войсками отвсюду ты стеснен.
Гремит со всех сторон саксонов грозна сила.
Смирись!.. или пускай свершит свой долг Годмила!

Вельзен

Годмила!..

Годмила

О супруг! познай ужасный долг,
За нарушение которого сам бог
Грозит послать на нас строжайше наказанье.
Я клятвенно дала тирану обещанье:
Супруг! ты должен вмиг оружье положить,
Иль клятвы долг велит мне в плен к нему спешить;
Но ты мне не внимай: отечества спасенье
Гласит, чтоб ты терпел с супругой разлученье...

Вельзен

Нет, я не разлучусь...

Годмила

Но клятвы страшный долг!

Вельзен

Ты клятву изрекла...

Годмила

Тиран ее исторг!

Вельзен

Что значит твой обет, коль клятва принужденна!..

Годмила

А сын в залоге наш; ах! с ним я разлученна!..

Посол

Твой сын и твой отец, — в плену уже Инслар!
О Вельзен! усмири в груди мятежный жар,
Иль всех, кто мил тебе, ты навсегда лишишься!

Годмила

Супруг! ужель со мной расстаться не решишься?
Тебе ль устав судьбы и рока пременять?..
Позволь идти отца и сына мне спасать!..

Вельзен

Нет, нет, ты не пойдешь.

Годмила

Или не мать Годмила?

Вельзен

Но ты супруга мне, и всей вселенной сила
Нас ввек не разлучит!

(К воинам.)

У хищника венца,
Друзья, исторгнем мы и сына и отца!
Идем! чего мы здесь напрасно ожидаем?

Вожди

Герой, вослед тебе мы все лететь желаем.

Явление VI

2-й посол от Флорана

Вельзен! через меня внемли монарха глас!
Коль не придешь к нему с покорностью в сей час
Или не возвратишь в сей самый миг Годмилы,

То двигнутся на брань его все ратны силы...
А сын твой и Инслар, на самых сих горах,
Среди лютейших мук умрут в твоих очах...

Годмила

Мой сын! отец! страшусь угроз событья страшных!

(Бросаясь в объятия Вельзена.)

Супруг! я полечу к спасению несчастных!
Надежда мне и щит есть в небе мститель бог!..

(Тихо Вельзену.)

Не медли, поспешай, супруг! свершить свой долг!
Я чувствую, что враг падет в сей час сраженный;
Мы свидимся с тобой...

(Вслух.)

Прости, супруг бесценный!..
Ты для отечества Годмилу не щади...
Быть дщерью, матерью позволь! о, позволь идти!..

Вельзен

(вырываясь из объятий ее скоро)

Иди!..

Послы и воины уводят Годмилу налево.

Вельзен

(к воинам)

А мы, о воины! вмиг вихрями помчимся
И на злодейский стан внезапно устремимся!..

(Воздевая к небу меч.)

О боже праведный! всё счастие губя,
Еще надежду я взлагаю на тебя!..

(Идет быстро направо по горам, воины бегут за ним с подъятыми копьями.)

Конец четвертого действия

В антракте играет унылая музыка, подражающая шуму отдаленных бурь и порывам свистящих ветров.

Действие V

Ночь. Гроза продолжается.

Явление I

На берегу волнуемого бурею моря окованный цепями Инслар виден в иссеченной между скал пещере.

Инслар

Ярятся бездны вод, природа вся мятется,
Вотще мой скорбный стон в местах сих раздается:
Рев ветров на водах, шумящие дожди
Глушат стенания в иссохшей сей груди!..
Утихните, моря!.. вы, ветры, не шумите...
И на крылах своих мой слезный стон несите!..
Не отзовется ли чрез вас несчастна дочь?
Разрушь свой черный мрак, о люта, грозна ночь!
Я с светом, может быть, узрел бы чад несчастных...
Но, ах! в стенаниях терзаюсь я напрасных,
Никто не внемлет мне в ужасных сих местах;
Я плачу!.. но не зрю отрады и в слезах...
Надежда! сладкое страдальцев утешенье,
Исчезла!.. и в душе моей одно мученье!

Явление II

Эрик

(с воинами)

Что зрю? Инслар! ты здесь в оковах заключен,
Благодарю творца! ты будешь свобожден!

(К воинам.)

За мною, воины, друзья, сюда спешите,
Оковы тяжкие мечами разрешите!

Воины расторгают оковы мечами.

Эрик

Свободен ты, Инслар, пойдем! простри свой взор
В места, где брань гремит среди высоких гор!

Инслар

Поведай мне, мой друг! где Вельзен, где Годмила?
Ужель их люта длань тирана погубила?

ВЕЛЬЗЕНЪ
или
ОСВОБОЖДЕННАЯ
ГОЛЛАНДІЯ.

ТРАГЕДІЯ
въ
пяти дѣйствїяхъ.

Сочиненїя
Федора Глинки.

СМОЛЕНСКЪ
При Губернскомъ Правленїи.
1810 года.

Эрик

Нет, бог приемлет их под сень щедрот своих:
В сей час свершается спасенье стран родных.
Мне Вельзен повелел с собою разлучиться,
Чтоб с частью воинов в засаде здесь сокрыться;
Уже к утесам сим путем я тайным шел,
Как вдруг нечаянно тебя, Инслар, узрел!..

Инслар

Творец! во всем твое я вижу провиденье...

Эрик

Но поспешим узреть, в какой стране сраженье!..

Всходят наверх, воины прячутся за скалами. В продолжение нескольких минут молния блещет и освещает на самом краю горизонта сражающиеся войска, которые постепенно скрываются в мрачной отдаленности; музыка, приличная сражению.

Явление III

С другой стороны робкими шагами входит Эдвальд; ведя одной рукой сына Вельзенова, а другою держа кинжал, он приближается к самой скале, не видя Инслара.

Эдвальд

Убить его, убить в пустынной сей стране;
Здесь пусто, мертво всё в глубокой тишине;
Свидетелей здесь нет, одно души смущенье
Гласит, что я злодей, свершаю преступленье...
Кровавая луна сокрыла смутный зрак,
Лишь стрелы молнии секут сгущенный мрак...

(Увидя вдали Инслара и Эрика.)

Кого я вижу там? Нет, ложны то виденья:
То бледны призраки, ночные привиденья...
Быть может, тени там мелькают на холмах;
Страх призраки творит у робкого в очах!
Превозмогусь, скреплюсь, сомненье рушу ложно:
Я раб, — коль царь велит, мне быть покорным должно!
Сын Вельзена! умри!.. но что! дрожит кинжал...
Я вне себя, мятусь... и в трепете робею...
Хлад в жилах чувствую и казнь свершать не смею!..

Покорствовать царю — священный долг рабов;
Но я страшусь пролить невинной жертвы кровь!..

(Невольно подымая кинжал.)

Тяжел мне сей кинжал...

Инслар

(увидел его со скалы, схватывает у воина меч)

Что зрю? Вельзена сына!..
Спасем его! спасем... о, лютая судьбина!

(Бежит.)

Остановись, злодей! или в сей миг мой меч...

Эдвальд

(бросая кинжал)

Я безоружен днесь, ты можешь жизнь пресечь
Врага! — так чувствую свои я злодеянья;
Но, ах! я их творил из рабска послушанья:
Флоран...

Инслар

Тиран тебя злодеем сотворил,
Законы чести все ты для него забыл,
И сына Вельзена ты погубить стремился!..

Эдвальд

Нет, нет, клянусь, пролить невинну кровь страшился;
Мне грозный царь велел. Но я хотел спасти...
Инслар! ты слабому преступнику не мсти,
Во власти я твоей!..

Инслар

Инслар долг чести знает:
Он с сильным в бой идет, бессильных — презирает!

Эдвальд

Ты жизнь даруешь мне!..

Инслар

Не жизнь, но казнь: злодей
Ужасный носит ад всяк час в груди своей.

Эдвальд

Ах! истину ты рек! терплю я муки ада,
В раскаяньи одном преступникам отрада!..

(Уходя.)

Инслар! Эдвальд тебе полезен может быть.

(Убегает.)

Явление IV

Инслар

(взяв младенца на руки и возвышая к небу)

Чия рука дерзнет младенца поразить?..
Под твой святой покров невинность поручаю!..

В сие время слышен трубный глас и шум за горами.

Инслар

Но что за звук? отколь сей страшный шум внимаю?
Враги!.. враги идут, се их раздался глас:
Друзья! что делать с сим младенцем в грозный час?
О, лютая судьба! отвсюду мы стесненны,
Погибель нам несут злодеи разъяренны!

(К младенцу.)

Несчастный, без тебя желал бы смерть вкусить;
Страшусь лишь о тебе!.. где, где его сокрыть?..
Давно ль невинность я от гибели избавил!

Шум усугубляется.

Инслар

Идут!.. что делать нам?..

Эрик

Иль нет с тобой друзей?
Мы грудью встретим все удары их мечей!

Инслар

Ах, нет! нет, не меня, — невинного спасайте
И лютым извергам на смерть его не дайте!

(Прижимая младенца к груди.)

Чтоб защитить тебя, пролью до капли кровь!

(Ограждая его мечом.)

С надеждой на творца жду смерти и врагов!..

Все воины стоят сомкнувшись, с обнаженными мечами.

Явление V

Вельзен

(за кулисами в сопровождении народа и нескольких воинов)

Сам бог услышал стон несчастного народа.
Отрады льются к нам в сей час от горня свода;
Уже позорных мы цепей свобождены,
Да будут мир, покой меж нас водворены!

(Выходит на театр.)

Но что я зрю: Инслар! тебя ли здесь встречаю?
Мой сын с тобой?.. Ужель мечтой себя прельщаю?
Нет! нет, вы благостью творца сохранены,
В объятьях дружества мы все съединены!

(Бросается в объятия.)

Инслар

О счастье! я своих восторгов не умерю!
Тебя ли зрю? увы! едва себе сам верю!
Сколь много я блажен!.. О радость! сладкий час!
Ты свободил наш край, отечество ты спас!..

Вельзен

Не я, но дланью кто объемлет всю вселенну,
Сам бог во ад низверг гордыню вознесенну.

Инслар

Уж нет его?.. врага, тирана наших стран?

Вельзен

Нет рабства, нет оков, свободы враг попран!
Мой меч еще в сей час его дымится кровью.
Сыны отечество спасли своей любовью...
Но в час блаженный сей отрады и утех
Ужели я один несчастней буду всех?

(К Инслару.)

Утешь меня, скажи, где дочь твоя Годмила?..
Иль в злости длань врага супругу погубила?
Здесь сына зрю; но где его несчастна мать?

Инслар

Увы! могу ли что о ней тебе сказать?
Быть может, то судьбы всевластныя веленье,
Чтоб нам терпеть всегда друг с другом разлученье!

Вельзен

Супруги нет моей! я вновь ее лишен!
Зря сына и отца, с Годмилой разлучен.
Доколь гониму быть мне, злобный рок, тобой?..

Явление VI

Гильдерберг

(с вождями и воинами, несущими знамена)

Вельзен! среди полей, гремевших днесь войной,
В местах, где ты творил кроваву брань с врагом,
Где, верженный тобой, еще курится гром...
В полках, победою и славой осененных,
Тобою от оков и рабства свобожденных,
Повсюду глас гремит, глас искренних сердец:
«Вельзен, спасенный им, да примет в дар венец,
Да будет он царем!»

Один из народа

Мы глас сей повторяем.
Отца отечества на царство избираем!

При сем восклицании воины преклоняют знамена к стопам Вельзена.

Вельзен

Друзья! приятно зреть мне в вас усердья жар.
Любовь граждан, друзья, нам есть лестнейший дар:
Она во скорбну грудь лиет мне утешенье;
Творец крепит меня в бедах и в злоключеньи!
Но мните ль вы, что я мог жизнь на жертву несть,
Чтобы владычество над вами приобресть?
Нет, тщетный блеск венца Вельзена не пленяет,
Не властелином он, вам другом быть желает!

В душе моей самих небес послышав глас,
Чрез помощь их мое отечество я спас.
Но долг свой исполнять — неважна есть заслуга.
Одна награда мне — бесценная супруга!
Когда бы мог тебя к душе моей прижать!..
Все власти я готов на взор твой променять.
Но где искать тебя?.. где свижусь я с тобою?

Гильдерберг

О Вельзен, примирит тебя сам бог с судьбою!..

Вельзен

Нет, нет! непримирим со мною злобный рок,
Бывал ли он к кому из смертных столь жесток?
В сей час, свободы в час все жен и чад лобзают,
Лишь муки страшные мне сердце раздирают...
Вотще в пустынях сих мой льется скорбный стон...
Доколь еще страдать велит судьбы закон?
Не все ль на мне она напасти истощила?..

Явление VII

Эдвальд приводит Годмилу.

Вельзен

О счастье! что я зрю? супруга здесь, Годмила!

(Бросается в ее объятия.)

Эдвальд

(между тем упадая к ногам Инслара)

Эдвальд у ног твоих!

Инслар

Но ты Годмилу спас!

Эдвальд

Вняв в сердце совести святой, но страшный глас,
Я поспешил ее спасти из заключенья,
Куда ее тиран повергнул для мученья...

Годмила

Так, так, Эдвальдом я от смерти спасена...

В продолжение речи Вельзеновой Годмила в безмолвном восхищении попеременно обнимает отца и сына.

Вельзен

Злодеем сим в сей час ты мне возвращена!

(К Эдвальду.)

Ты изверг! .. нет, моей супруги ты спаситель!
Супруг Годмилы твой днесь будет покровитель!

(К народу.)

Друзья! се здесь Эдвальд, позором покровен,
Пороков и злодейств ярмом отягощен!
Я зрю, он совестью преступною крушится
И с жизнью должен бы позорной разлучиться;
Но кто Годмилу спас, того мой долг спасти.
Народ! защитника жены моей прости! ..

Некоторые

В день общей радости, победы восхищенья,
Он должен быть прощен...

Вельзен

(К Эдвальду.)

Восшли благодаренья.
Будь добрый гражданин! .. твой судия сам бог! ..

Эдвальд

Вельзен! исполнил ты душ благородных долг;
Но льзя ль мне в дар приять твои благодеянья?
Ознаменован я печатью злодеянья.
Льзя ль жить тому с людьми, вселять кто должен страх?
Нет, нет, я встречу смерть в пустынях и лесах.
Там, возносясь к творцу скорбящею душою,
Быть может, я грехи раскаяньем омою...
Ты путь к спасению злодею отворил,
О Вельзен! да хранит тебя царь вышних сил! ..

(Поспешно уходит.)

Явление VIII

Все те же, кроме Эдвальда.

Вельзен

Творец позволил нам всем счастьем насладиться;
Придите раз еще в объятьях съединиться!

(Обнимая Инслара и Годмилу с сыном.)

Близ сердца моего отец, супруга, сын
Являют ясно мне, что гнев исчез судьбин!..

Явление IX

Старейший вождь

Вельзен! исполнилось в сей час твое веленье,
Мрачнейших всех темниц свершилось разрешенье.
Из них несчастных жертв сонм скорбный свобожден,
Но к общей радости меж ними обретен
Эдгард!..

Вельзен

Алфредов сын!

Инслар

Эдгард был в заключеньи!

Вождь

В подземных погребах сносил он все мученья,
Темничным прахом быв и рубищем покрыт;
Но благость отчая в очах его блестит!..

Вельзен

О, сколь в сей день творец нас щедро награждает!
Свободу и царя законна посылает;
Так, сын Алфредов днесь приемлет пусть венец!
Друзья! воспомните, кто был его отец!

Некоторые

Алфред был подданных и друг и благодетель!..

Вельзен

Итак, днесь сын его наш должен быть владетель,
Пойдем! нам доброго царя послал сам бог!

Все

Законного царя признать наш общий долг.

Вельзен

Не умер добрый царь, он в сыне возродится!
(К Годмиле.)
Пойдем отечества блаженством насладиться.

Все уходят.

Конец трагедии

Торжественная музыка заключает шествие.

<1808>

МЕЧТАНИЯ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
(В 1810 ГОДУ)

Воспоминанием живет душа моя!
Я. Княжнин

И я, в мой краткий век,
Я видел много славных рек
В отчизне и в странах далеких;
Но Волгу светлую, в брегах ее высоких,
Всегда с весельем новым зрю.
Как часто, вспомянув протекших лет зарю,
Я вижу, как теперь, Дуная бурны волны,
Его брега — убийств и крови полны:
На них пылала грозна брань
И рати бурные кипели,
Над ними небеса горели,
И было всё — войне и смерти дань!..
Там призрак гибели над юношей носился,
И гаснул мой безоблачный рассвет,
И с жизнью молодой, на утре ранних лет,
Едва я в бурях не простился!..
Но память мне мила о *жизни боевой*,
Когда я пел, для храбрых лиру строя,
Не сладость вялого покоя,
Но прелесть битвы роковой...
Как вы любезны мне, о братские беседы
У светлых полевых огней!..
Забуду ль я и праздники победы
И славу грозных дней...

Я видел *Ваг* надменный и свирепый,
Я зрел, как он, чрез дебри и вертепы,
Пробив широкий путь меж гор,
Как грозный дух времен, кипит и рвет преграды,
Шатая древних скал громады,
И, с шумом поглотив и брег и дикий бор,
Дивит и восхищает взор.
Дела времен, протекши годы,
О *Ваг!* твои кипящи воды
Напоминают мне... и вижу я народ,
С оружьем ищущий и славы и свободы...
Так здесь, на сих полях и на брегах сих вод,
Дружины конные скакали
На пир кровавыя войны,
И сабли с свистом рассекали
Врагов свободной стороны...
Здесь храбрых вождь, герой сраженья
И враг оков и униженья,
Текелли молнией летал;
И, в бедствах чуждый укоризны,
Огонь и мужество вливал
В боях за святость прав отчизны...

Я видел древний *Буг* в глуши степей унылых:
Из стран Авзонии, из мест отчизны милых,
Овидий-и́згнанник стенал на сих брегах
И горесть и любовь в прелестных пел стихах,
Отторжен сильною от счастия рукою...
Вверяя грусть свою пустыням и лесам,
И эху чуждому, и чуждым небесам,
Душа его, стеня, не ведала покою...
И днесь на берегах твоих, священный *Буг*,
Пиита славного еще витает дух;
Бессмертного не зрят нечисты смертных очи,
Но, в молчаливый час безоблачной полночи,
Невинных пастырей беспечный ясный взор
Его на высоте встречает диких гор...

Я видел древнюю границу двух держав,
Красивый, быстрый *Днестр* в брегах его песчаных,
Обильный и в плодах и в гроздиях румяных.
Там тысячи овец и сладкомлечных крав

Пестреют на степях, в серебряных *бурьянах*,
И пастырям несут бессребряную дань;
Издревле там леса дремучие темнели,
Недремлющая в них мечи острила брань,
И зорко хищники из дебрей к нам глядели
И порубежную перебегали грань
С арканом и огнем... И всё их жертвой было;
Но мести зарево ужасно осветило
Издавна гневные на хищных небеса:
Пришли от Севера полки, отваги полны;
Пред ними гром — и пламенные волны,
И в пепл — дремучие леса!..

Нередко я видал и *Днепр* голубоводый
На лоне матери-природы,
Еще младенцем-ручейком;
Но зрел, я зрел его в величьи рек царем!
Как, грозный, он пробил меж гор себе дороги
И, пеной оснежа пороги,
С протяжным грохотом, кипящий, в дол летит!
Высокобашенный Смоленск над ним стоит!
И холмы киевски веками освященны,
И храмы божии богато позлащенны —
Исполненна чудес глядится в нем страна!
И, нетерпением полна,
Бежит к *могучему* прекрасная *Десна*...

Я в *Польше* реки зрел: и воды светлой *Вислы*,
И с шумом к ней бегущий *Буг*;
И замки с башнями из бездны с скал навислы:
Седых времен парит над ними дух...
Страны прелестные, не раз облиты кровью,
Земля, засеянна костьми,
Ты с давних лет присвоена любовью
С ее волшебными сетьми!
Гроза сердец — твои младые *феи:*
Как милы их любовные затеи!
И гибкий легкий стан, и сладость их речей,
И прелесть тайная очей!..
Но мне милей их жаркое участье
В судьбе родной их стороны:

Они святой любовью к ней полны,
И счастье их — отчизны милой счастье!
Как часто, позабыв и негу и покой,
Их вдохновением дружина храбрых дышит,
И воин в битве роковой
Заветные слова незримых спутниц слышит:
«Свобода и любовь!»
И, храбрый, — вихрем на врагов!
Там пылкая моя промчалась младость,
И мнится, я во сне увидел жизни рай;
Но в сердце и теперь живая вспыхнет радость,
Как, вспомнив, назову тебя, приветный край!..
Так мило и теперь, в стране златых мечтаний,
Искать мне, как друзей, о прошлом вспоминаний,
Их сердце грустное манит, к себе зовет:
Где ты, о время прежних лет!
Где первой страсти грусть и первые волненья?
Где вы, любви надежды и мученья?
О дети неба! разве вас
Один лишь только в жизни раз
Встречает смертный и лелеет
В груди пылающей, младой?..
Но что так сладко в душу веет?
Так вьется к сердцу... сердце млеет,
Когда в очах моих светлеет
Туман протекшего седой?..
То вы, мои мечты! мои воспоминанья!
Небесные! при вас я все забыл страданья:
При вас в душе моей так тихо и светло!
И всё прошедшее как будто не прошло!

Как странник, многие еще я видел реки:
Мне указала их молва;
Они красуются в странах, от нас далеких...
Тебя ж, о пышная дочь Ладоги, *Нева!*
Я зрел в младенческие лета;
И, новый гость безвестного мне света,
Не знал я и имен: сует, забот и бурь;
В моей душе веселия лазурь,
Как свод небес, в тебе изображался...
Ах! в тот златой мой век с страстями я не знался:
Не плакал от тоски, не думал крепких дум...

И града пышный вид, смятенье, звук и шум,
Богатство, слава, честь, блестя, обворожая,
Мелькали для души, души не поражая,
И мимо протекли, как сон, как ряд теней...
Мне жизнь была *нова!* не знал я в ней путей,
Не знал, что полон мир обманов и сетей.
Безбурны детства дни, о времена златые,
   Забуду ль вас? — О радости святые!
   Вы по цветам *беспечного* вели,
И сами, как цветы, вокруг него пестрелись,
Ужели для меня навек вы отцвели? —
Забавы детских лет, как птички, разлетелись,
   И мой челнок оставил тихий брег!..
Придете ль вы опять, о дни очарований? —
Я счастлив, счастлив был в пылу моих мечтаний,
В семье живых надежд, веселий и утех! —
      Но строг угрюмый мой учитель,
      Воздушных замков разрушитель,
Был опыт. Он мою младую грудь стеснил,
Смолистым факелом на мир сей посветил,
      И мир подернул черной тканью...
«Гроб мрачный, — рек он мне, — один конец
                                    страданью.
Обеты счастья — ложь! дни жизни — дни сует!
Волшебны зеркала — прелестные мечтанья,
      Без них уныл и мрачен свет,
И слез полна юдоль земного испытанья:
            Надежды и мечты
Нас тешат, как детей, и вянут — как цветы.
Под бурями страстей мертвеет добродетель!..»
Не так ли он гласит, суровый благодетель? —
Но к прежним радостям искать ли мне путей?..
И где укроюсь я от мятежа страстей? —
Не при тебе ль, о *рек российских мать и слава!*
      О пышна Волга величава!
Мне суждено мои утраты возвратить
И сердца грустного все раны залечить?
О волжские струи! о холмы возвышенны!
Воскреснут ли при вас дни, счастьем обновленны?
Прольется ль в томну грудь веселия струя,
      И буду ль, буду ль счастлив я?..

Не здесь ли, о брега, пленяющи собою,
Я заключу желанный мир с судьбою?
И будете ли вы, нагорны высоты,
Притоном странника, приютом сироты?
В укромной хижине, к утесу прислоненной,
Душистой липою и кленом осененной,
Найду ли наконец душе моей покой?
Как восхищался б я прелестною рекой! ..
Но сбудется ль, что я, певец уединенный,
        Святой свободой вдохновенный,
О Волга! воспою твой бег, твои брега,
Златые пажити, роскошные луга, —
        Как белокрылые струга
Ты к морю синему в седую даль уводишь...
Мечта! зачем опять к мечтам меня заводишь?
Мне ль счастья ожидать? — Судьбы гремящий глас,
Брега прекрасные! велит оставить вас:
Я странник! не ищу чертогов пышных строить, —
Ищу лишь *уголка*, где б сердце успокоить.

СТИХОТВОРЕНИЯ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

ВОЕННАЯ ПЕСНЬ, НАПИСАННАЯ ВО ВРЕМЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ НЕПРИЯТЕЛЯ К СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Раздался звук трубы военной,
Гремит сквозь бури бранный гром:
Народ, развратом воспоенный,
Грозит нам рабством и ярмом!
Текут толпы, корыстью гладны,
Ревут, как звери плотоядны,
Алкая пить в России кровь.
Идут, сердца их — жесткий камень,
В руках вращают меч и пламень
На гибель весей и градов!

В крови омоченны знамена
Багреют в трепетных полях,
Враги нам вьют вериги плена,
Насилье грозно в их полках.
Идут, влекомы жаждой дани, —
О страх! срывают дерзки длани
Со храмов божьих лепоту!
Идут — и след их пепл и степи!
На старцев возлагают цепи,
Влекут на муки красоту!

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,

Пойдем — и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу,
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь — где узы плена,
Иль смерть — где росские знамена?
В героях быть или в рабах?

Исчезли мира дни счастливы,
Пылает зарево войны:
Простите, веси, паствы, нивы!
К оружью, дети тишины!
Теперь, сей час же мы, о други!
Скуем в мечи серпы и плуги:
На бой теперь — иль никогда!
Замедлим час — и будет поздно!
Уж близко, близко время грозно:
Для всех равно близка беда!

И всех, мне мнится, клятву внемлю:
Забав и радостей не знать,
Доколе враг святую землю
Престанет кровью обагрять!
Там друг зовет на битву друга,
Жена, рыдая, шлет супруга,
И матерь в бой — своих сынов!
Жених не мыслит о невесте,
И громче труб на поле чести
Зовет к отечеству любовь!

Июль 1812

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЬ,
СОЧИНЕННАЯ И ПЕТАЯ ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОЙСК У ГОРОДА СМОЛЕНСКА В ИЮЛЕ 1812 ГОДА

На голос: *Веселяся в чистом поле.*

Вспомним, братцы, россов славу
И пойдем врагов разить!
Защитим свою державу:
Лучше смерть — чем в рабстве жить.

Мы вперед, вперед, ребята,
С богом, верой и штыком!
Вера нам и верность свята:
Победим или умрем!

Под смоленскими стенами,
Здесь, России у дверей,
Стать и биться нам с врагами! ..
Не пропустим злых зверей!

Вот рыдают наши жены,
Девы, старцы вопиют,
Что злодеи разъяренны
Меч и пламень к ним несут.

Враг строптивый мещет громы,
Храмов божьих не щадит;
Топчет нивы, пàлит домы,
Змеем лютым в Русь летит!

Русь святую разоряет! ..
Нет уж сил владеть собой:
Бранный жар в крови пылает,
Сердце просится на бой!

Мы вперед, вперед, ребята,
С богом, верой и штыком!
Вера нам и верность свята:
Победим или умрем!

КАРТИНА НОЧИ
ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ БОЕМ ПОД СТЕНАМИ СМОЛЕНСКА И ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЬ РУССКОГО ВОИНА

Затихал на ратном поле
    Битвы грозный шум,
И смоленски древни стены,
    Гордых башен ряд
Приоделись мраком ночи:
    Бил полночный час! ..
Но к покою не склонялся
    Храбрых россов стан:

Не дремали мудры вожди,
Думу думали,
Как в страну свою родную
Не пустить врагов.
А враги, враги пируют,
Позабыв, что бог
С высоты на них наводит
Свой разящий гром.
Разлились, как шумны волны,
Их полки в полях;
Ярко сталь мечей сверкает,
Страшно медь звучит;
И, вздыхая томно, вторит
Древний русский край
Громко ржанье *чуждых* коней,
Чуждых воев клик...
Тьмы врагов, кичась, мечтают
Сдвигнуть с места град!..
Затрещал под их стопами
Древних холмов ряд,
И под *силой их* погнулся
Левый брег Днепра!
Развели они несметны
По горам огни.
Но одни ль огни в их стане?
Села ближние
Запалились их руками, —
Всюду зарев блеск!
И кругом в ночи краснеет
Море огненно...
Загорелась, запылала
Земля русская!
Поднялся пожар высоко —
До небесных звезд,
И с пожаром востекают
Выше звезд мольбы;
Тяжко стонут, воздыхая,
Люди русские.
«Пусть сгорают наши села, —
Говорят в слезах. —
Чтó нам села? Чтó нам грады?
Лишь бы край родной

Защитить от лютой доли
В вечном рабстве жить!»
Так гласит народ, а горы
Вторят ратных клик.
И часы проходят ночи:
Близок грозный день!
Показался из-за башен
В дымном облаке
Месяц, весь налитый кровью,
И печальный лик
Углубил в потоке мутном...
И восток небес
Забелел; златой струею
Пролилась заря:
Зарумянились сребристых
Облаков края,
И повеял в поле свежий
Предрассветный ветр,
И огни во стане русском
(Что поставлен был
Вдоль крутой *горы Покровской)*
Бледно теплятся...
Тут острят, шумя, *гусары*
Сабли ясные,
И *козак* — свой длинный дротик;
И *пехотный строй*
Закрепляет (чтоб не дрогнул)
Троегранный штык...
Гул далеко вторит ржанье
Ретивых коней;
Бьют копытами о землю,
Из ноздрей их дым;
Громко сарпают, и очи
Их огнем горят.
Словно просятся на битву,
Осердясь за то,
Что враги в родных потоках
Водопой мутят!..
Всё вещало, что настанет
Скоро день и бой,
И воспел тут *воин русский*
Песнь прощальную:

«Друзья мои, товарищи, сподвижники в боях!
Настанет скоро страшный день, и битва загремит!
Застонет дол и темный бор от сечи роковой,
И ясну зорю утренню и солнца лик младой
Затмит, поднявшись тучами, над смертным полем дым!..
Друзья мои, товарищи, сподвижники в боях!
Настанет скоро страшный день, и битва загремит:
Бог знает, кто останется, друзья, из нас в живых!
Но сладко, сладко в битве пасть за родину свою!
Не славы алчет русский царь, и начал бой не он:
Враги, враги вломились к нам с цепями и мечом!
Грозят пленить святую Русь и русских покорить!
Ах! нет, того нельзя стерпеть: скорей могила всем!
Как тяжко жить под чуждыми законами врагов!
Не ясно солнце красное тоскующим в плену,
Не видит звезд и месяца раба слезящий взор!
И самый хлеб постыл ему, и соль ему горька!
Нет, братцы, нет, товарищи, не выдайте врагам
Отечества любезного на рабство и позор!
Пречистая владычица, хранящая сей град!
Подай нам крепость львиную, да постоим в бою,
Да будет грудь усердная сих древних крепче стен!
Друзья мои, товарищи, сподвижники в боях!
Предчувствие унылое ко мне закралось в грудь!
Уже зари вечерния не видеть мне в сей день!
В сей день в кипящей сече я паду на груду тел,
Потускнут и засыплются песком мои глаза:
Не зреть им побеждающих товарищей моих!
Пронзен, о землю грянусь я — но всё лицом к врагам;
Ослабнут руки крепкие, и мой холодный труп
Притопчут кони бурные, и ратный прах, сгустясь,
Подернет лик кровавый мой печальной пеленой...
Друзья мои, товарищи, я смерти не боюсь!..
Когда ж умолкнет грозный бой, найдите вы меня:
По ранам на груди моей легко узнать мой труп!
О други, о товарищи, сподвижники мои!
Штыками вы и саблями близ светлых вод Днепра
Изройте, други верные, могилу для меня;
Насыпьте, други храбрые, на ней высокий холм;
На нем *скрижаль* и *новый крест*, и напишите так:
«Здесь храбрый русский воин спит, товарищ наш в боях:
Во всех кровавых сечах он в передних был рядах;

Струилась часто кровь из ран, но ран он не слыхал!
Под тучами картечь и пуль наш друг был смел и бодр.
Струей дунайской раны он кровавы омывал;
По *Альпам*, выше грозных туч, с Суворовым всходил
И на гранитах *шведских скал* острил драгой булат,
Что вырвал из могучих рук *кавказского бойца!*
Он зрел *брега каспийских вод* и видел бурный *Бельт*,
В *далеких* был краях — и пал за *близкий* сердцу край:
За родину, за милую, за русский край святой,
Поставя смело грудь в бою за *веру* и *царя!*
Он жил и умер, храбрый друг, как истый славянин».
Так пел: «Мне будет долго здесь и беспробудно спать;
Когда ж утихнет брань в полях и теплая весна
Пригреет землю хладную и мой могильный холм
Оденется цветочками и травкой молодой, —
Тогда придет любезная подруга юных дней,
И с нею дети милые увидят отчий гроб.
«Не плачьте, — скажет матерь им, — не умер ваш отец:
Здесь только прах земной его, а дух на небесах!
Туда пошел он в светлый дом к небесному царю
За то, друзья, что верен был царю земному *здесь!*»
Так, братья, други храбрые, мне сладко умереть
За родину, за милую, за русский край святой!»

Между 1812—1816

ПЕСНЬ СТОРОЖЕВОГО ВОИНА
ПЕРЕД БОРОДИНСКОЮ БИТВОЮ

Друзья! Мы на брегах *Колочи*,
Врагов к нам близок стан;
Мы сну не покоряем очи,
Не слышим боли ран!..

Друзья, бодрей! Друзья, смелей!
Не до покоя нам!
Идет злодей, грозит злодей
Москвы златым верхам!

Там в пепле край, вот в божий храм
С конем вломился враг!
Тут лечь костьми, тут биться нам:
До града предков — шаг!

Славян сыны! Войны сыны!
Не выдадим Москвы!
Спасем мы честь родной страны,
Иль сложим здесь главы!..

Уж гул в полях, уж шум слышней!
День близок роковой...
Заря светлей, огни бледней...
Нас кличет враг на бой!

Идет на нас, к нему пойдем
В широкие поля;
Прими ты нас, когда падем,
Родимая земля!

Тебе, наш край, тебе, наш царь,
Готовы жизнь принесть:
Спасем твой трон, спасем алтарь,
Отечество и честь!

Так воин на брегах *Колочи*
Друзьям пред боем пел;
И сон не покорял их очи,
И дух в них пламенел!

Между 1812—1816

* * *

Раненый воин, после Бородинского сражения, рассказывает мирным поселянам о нашествии неприятеля и возбуждает в них бодрость сразиться за спасение отечества.

«Добрый воин, что с тобой?
Кровь из ран струится!..
Где и с кем кровавый бой?
Кто на Русь стремится?

Счастью кто грозит сих стран
И царю-надежде?
Расскажи... Но кровь из ран
Дай унять нам прежде».

— Ах! счастливым тишиной,
Други! вам безвестно,
Что давно горит войной
Край наш повсеместно!

Лютый враг вломился к нам
С грозными полками:
Гром пред ним, и по стопам
Кровь течет реками!

Всюду ужас, смерть и страх!
Свежие могилы!
Запылал в моих глазах
Родины край милый!

Пусты хижины стоят,
Брошены чертоги,
Громы всех равно разят,
Небеса всем строги!

Ах, я зрел и отчий дом,
В пепел обращенный;
Враг везде бросал свой гром —
В град и в храм священный!

Там — о страшный сердцу час!
Мне легко ль то было? —
На груди моей погас
Взор супруги милой!

Той, кем был мне красен свет,
Нет на свете боле:
Месть врагам! был мой обет,
И летел я в поле.

Где слились *Москвы* струи
И струи *Колочи*,
В битвах там прошли три дни
И без сна три ночи.

Жадно кровь пила земля;
Мы не уступали
И широкие поля
Трупами устлали.

И теперь кровавый пар
Над полями дремлет,
И теперь еще пожар
Те поля объемлет...

Но звучит, я слышу, дол:
Вот гремят бойницы!
Ах! то враг к стенам пошел
Древния столицы!

Полетим! — «Пожди хоть час,
Отдохни доколе...»
— Нет! я слышу трубный глас,
Глас, зовущий в поле!..

Можно ль боль мне помнить ран
И остаться с вами,
Если всем грозит *тиран*
Рабством и цепями!..

Вон пожар — и дым столпом!
Даль зажглася битвой:
Сладко пасть в руках с мечом
И в устах с молитвой!

Дети мирной тишины!
Нам ли до покоя?
Всех за честь родной страны
Кличет голос боя!

Будь ты вождь, бог браней, им
Наш обет: отмщенье! —
Так сказал — и все за ним
Дружно на сраженье!

Между 1812—1816

ПЕСНЬ РУССКОГО ВОИНА
ПРИ ВИДЕ ГОРЯЩЕЙ МОСКВЫ

Темнеет бурна ночь, темнеет,
И ветр шумит, и гром ревет;
Москва в пожарах пламенеет,
И русский воин песнь поет:

«Горит, горит царей столица;
Над ней в кровавых тучах гром
И гнева божьего десница...
И бури огненны кругом.

О Кремль! Твои святые стены
И башни горды на стенах,
Дворцы и храмы позлащенны
Падут, уничиженны, в прах!..

И всё, что древность освятила,
По ветрам с дымом улетит!
И град обширный, как могила
Иль дебрь пустынна, замолчит!..

А гордый враг, оставя степи
И груды пепла вкруг Москвы,
Возвысит грозно меч и цепи
И двигнет рать к брегам Невы...

Нет, нет! Не будет пить он воды
Из славных невских берегов:
Восстали рати и народы,
И трон царя стрежет любовь!

Друзья, бодрей! Уж близко мщенье:
Уж вождь, любимец наш седой,
Устроил *мудро* войск движенье
И в тыл врагам грозит бедой!

А мы, друзья, к творцу молитвы:
О, дай, всесильный, нам, творец,
Чтоб дивной сей народов битвы
Венчали славою конец!»

Вещал — и очи всех подъяты,
С оружьем длани к небесам:
Блеск молний пробежал трикраты
По ясным саблям и штыкам!

Между 1812—1816

СЕТОВАНИЯ РУССКОЙ ДЕВЫ

Ветер тихий, ветер тихий,
Тиховейный сын весны,
Ты зачем так долго медлишь
В милой родине моей?

Напитайся, ветер тихий,
Ароматом здешних мест
И лети, лети в чужбину
Под шатры в военный стан.

Быстротечный, быстротечный,
Сладководный шумный Днепр!
Говорят, свои ты волны
К морю синему несешь...

Что до моря? — Не напоишь
Ты бездонной глубины;
Потеки, река *родная*,
К другу сердца в *чуждый* край.

Там на знойном битвы поле
Жаждет воин молодой:
Окропи уста и раны
Сладкой родины водой!..

Месяц светлый, месяц светлый!
Что на бедную глядишь? —
Не осушит луч холодный
Слез горючих на очах...

Ах, спеши туда, где милый,
И златым своим лучом
Заблистай ему светлее,
Поиграй с его мечом!..

Но, увы! напрасно дева
О любезном слезы льет:
Он давно за Рейном шумным
Беспробудным сном почил!

Воин храбрый, воин храбрый,
Не видать тебе луны,
Ни красы родного солнца,
Ни полей родной страны...

О тебе дойдет лишь слава
В милый сердцу русский край,
Что на битвах ты, как русский,
Храбр и страшен был врагам.

Много пало, много пало
Там, в зареинских полях;
Но блажен, кто умер славно:
Он *бессмертен* будет век!..

Между 1812—1816

ПРОЩАНИЕ

Покажись, луна златая,
И пролей свой свет:
Здесь невеста молодая
Друга сердца ждет!

«Милый, — молвит, — обещался
Побывать ко мне, —
Чу! в долине шум раздался:
Скачет на коне.

Знать, то он, моя то радость!
Близок счастья час!
В сердце льется, льется сладость...
Слышу дружний глас!

Он ли то, мой обрученной,
Кем душа живет?
Нет, не он, — в броне военной
Кто-то строй ведет.

Что ж ты, сердце, так застыло
В пламенной груди?
Ах! то он, то друг мой милый!
Милый, погоди!

Погоди! Ужель за славой
Под грозу мечей
Ты летишь на бой кровавый,
Свет моих очей?»

— Нет! не славы тщетной виды
Нас влекут в поля:
Терпит смертные обиды
Русская земля!

Время грозное военно:
Всюду звук громов;
Всё, что в мире нам священно,
Гибнет от врагов.

Нет, теперь зажечь не можно
Брачные свечи:
Мне туда стремиться должно,
Где звенят мечи!

Там с *врагом* мы *крови чашу*
Будем *братски* пить,
И вражду там станет нашу
Бог и меч судить!

Может, бледный труп прикроет
Черный вран крылом,
Иль могилу мне изроет
Верный друг мечом.

Всё равно — мне наслажденьем
Больше жизнь не льстит,
Коль отчизне покореньем
Дерзкий враг грозит.

Если ж спор счастливой битвой
Скоро мы решим, —
Жди меня, мой друг, с молитвой:
Буду век твоим!

Между 1812—1816

АВАНГАРДНАЯ ПЕСНЬ

Друзья! Враги грозят нам боем,
Уж села ближние в огне,
Уж Милорадович пред строем
Летает вихрем на коне.
Идем, идем, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

Зарделся блеск зари в лазури;
Как миг, исчезла ночи тень!
Гремит предвестник бранной бури,
Мы будем биться целый день.
Идем, идем, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

Друзья! Не ново нам с зарями
Бесстрашно в жаркий бой ходить,
Стоять весь день богатырями
И кровь врагов, как воду, лить!
Идем, идем, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

Пыль вьется, двинет враг с полками,
Но с нами вождь сердец — герой!
Он биться нам велит штыками,
Штыками крепок *русский* строй!
Идем, идем, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

Здесь *Милорадович* пред строем,
Над нами бог, победа с ним;

Друзья, мы вихрем за героем
Вперед... умрем иль победим!
Идем, идем, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

Хор

Идем, идем, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

Между 1812—1816

ТОСТ В ПАМЯТЬ ДОНСКОГО ГЕРОЯ *

О други! Платóва могила сокрыла,
И в день сей протек уже год
С тех пор, как не стало донского светила, —
И грустен придонский народ...

Он храбро с донцами в кровавую сечу —
И громы и гибель враждебным полкам!..
И весело в битве к победе навстречу
Скакал по гремящим полям!

Пред ним трепетали дунайские воды
И берег *Секваны*** дрожал;
Донцам и Платóву дивились народы,
И мир его славным назвал!

Но, други, Платóва могила сокрыла,
И в день сей протек уже год
С тех пор, как не стало донского светила, —
И грустен придонский народ...

---

* По случаю годового поминовения его сиятельства покойного войскового атамана графа Матвея Ивановича Платова, в день совершения по нем панихиды и обеденного стола усердием бывшего адъютанта его, Войска Донского подполковника М. М. Кузнецова. 3 января 1819 года.

** Древнее наименование реки *Сены*.

И грусть по герое мы чувствуя нову
В день, памятный нашим сердцам,
Напеним фиялы: *«Бессмертье Платову*
И честь знаменитым донцам!»

Общий голос

«...Бессмертье Платову!
И честь знаменитым донцам!»

3 января 1819

ПАРТИЗАН СЕСЛАВИН

Он в юности своей весь отдался наукам,
Дышал мечтой о жизни боевой;
И чтением он ум обогащая свой,
И душу приучал к волшебным славы звукам...
Но вдруг... Двенадцатый, с его войною, год!
Пожар! Отечество горит — и весь народ
К оружью от сохи... И косы на защиту...

Кто там на дереве сидит
И, пепельной золой покрыту,
Москву святую сторожит?
Кто так искусно нам дает правдивы вести?
Он храбр и прям, как меч! Ни трусости, ни лести!..

Вот Вильна, польский град, французами кипит!
Двадцатиградусный мороз трещит!
И русские сердца трещат от правой мести!
Кто ж воин сей с отвагою такой,
В крови, с подвязанной рукой,
С дружиной ломится в вороты?
Вот груды золота в разбитых сундуках:
Пусть гинет золото в снегах,
Ему важнее есть заботы,
Чтоб славу скользкую держать в своих руках...
Героям древности он благородством равен,
Душой прямой россиянин,
О нем вещал бы нам и предок-славянин:
«Се — славен!»

Между 1812—1825

ПАРТИЗАН ДАВЫДОВ

Усач. Умом, пером остер он, как француз,
Но саблею французам страшен:
Он не дает топтать врагам нежатых пашен
И, закрутив гусарский ус,
Вот потонул в густых лесах с отрядом —
И след простыл!.. То *невидимкой* он, то рядом,
То, вынырнув опять, следóм
Идет за шумными французскими полками
И ловит их, как рыб, без невода, руками.
Его постель — земля, а лес дремучий — дом!
И часто он, с толпой башкир и с козаками,
И с кучей мужиков, и конных русских баб,
В мужицком армяке, хотя душой не раб,
Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы,
И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан.
Но милым он дарит, в своих куплетах, розы.
Давыдов! Это ты, поэт и партизан!..

Между 1812—1825

СМЕРТЬ ФИГНЕРА

(Опыт народной поэзии)

I

Уж солнце скрылось за леса.
Пойдем и сядем здесь, любезный ...евич!
Ты закрути свои два длинные уса!
И ты, как сказочный Иван-царевич,
Слыхал, видал большие чудеса!..
Но я один, и вижу, как в картине,
Живой, картинный твой рассказ,
Как бились вы насмерть над Эльбой на плотине,
Где Фигнер-партизан, как молния, угас...
О, Фигнер был великий воин,
И не простой... он был колдун!..
При нем француз был вечно беспокоен...
Как невидимка, как летун,
Везде неузнанный лазутчик,
То вдруг французам он попутчик,

То гость у них: как немец, как поляк;
Он едет вечером к французам на бивак
И карты козыряет с ними,
Поет и пьет... и распростился он,
Как будто с братьями родными...
Но усталых в пиру еще обдержит сон,
А он, тишком, с своей командой зоркой,
Прокравшись из леса под горкой,
Как тут!.. «Пардон!» Им нет пардона:
И, не истратив ни патрона,
Берет две трети эскадрона...
И вот опять на месте стал,
Как будто и не он!..

. . . . .
. . .

II

Он широко шагал!
И часто, после шибкой драки,
Его летучие биваки
Сияли где-нибудь в глуши:
В болоте топком, в чаще леса,
На гребне дикого утеса...
И вот Орловский сам картину с них пиши!
Храпят у коновязи кони,
Звенят над кормом удила.
«Никто не смей снимать седла!
Кругом француз!.. Мы тут как рыба в тоне;
Дремли без сна и будь готов!»
Так он приказывал... И, лежа вкруг котлов,
Курят табак усатые гусары,
И зорко вдаль глядит козак...
И он своим рассказывает так:
«Я бился с турком, мне знакомы янычары;
Тогда служил я с пушкою пешком.
— Готовы лестницы? — сказал Каменской.
А было то под грозным Рущуком. —
Но ров не вымерян... Тут с хитростию женской
Потребно мужество... И кто из удальцов
Украдкой проползет и вымеряет ров? —

Он всё сказал. И я пустился...
Темнело в поле и в садах,
Муллы сзывали на молитву,
И турки, говоря про битву,
Табак курили на валах...
Фитиль над пушкою дымился,
Дремал усталый часовой...
Я подошел... перекрестился...
И *лот*, на снуре, весовой
Тихонько с берега скатился...
Я вымерил и возвратился.
И храбрый русский генерал
Спасибо русское за подвиг мне сказал,
И я в душе ношу спасибо это.
Хозяин мудрый правит светом:
Товарищи, наш бог велик!
Он от погибели спасает неминучей».
Так он рассказывал... и красный луч зари
Уже проглядывал вдали за синей тучей...
Тогда в Саксонии вели войну цари,
И против них Наполеон могучий,
Как темная гроза, над Эльбою стоял,
И в перемирие он битвы замышлял...

III

. . . . .Чу, кто там проскакал
Близ городка красивого *Дессау*?
Конечно, к *Верлицу*? Да, Верлиц — сад на славу!
Я сам в нем был, и он меня пленял...
«Смотрите, и не пьян, а по колено море:
Вот партизан прямой! В груди заслышав горе,
В веселый сад он мчится погулять!
А может, и не в сад... Как знать?
Уж перемирию конец... опять тревоги:
Французской конницей заставлены дороги,
В саксонских городах везде француз!..
Наш партизан лихой! Уж подлинно не трус...
И он без устали... всю ночь считает звезды!

Сам поверяет цепь и ставит сам разъезды...
При нем никто не смей зевать!»
Но кто взмутил песок зыбучий?
Что там синеется? Как издали узнать?..
Быть может лес, быть может тучи...
Ах, нет, то к Верлицу валит французов рать...

IV

«Бей сбор! Муштучь! Труби! Вся партия к походу!
Француз объехал нас дугой
И жмет к реке. Друзья, назад нам — прямо в воду!
Вперед — на штык, на смертный бой!
Но я, друзья, за вас в надежде,
Что слово *смерть* не испугает вас:
Не всё ль равно, что годом прежде,
Что позже десятью возьмет могила нас!..
Слушай! стоять! не суетиться!
Патрон и мужество беречь!
Стрелкам по соснам разместиться:
Ни слова... ни дохнуть, в тиши стеречь!
Драгуны могут, спешась, лечь...
А вы, мои залетные гусары,
Бодри коней и сноровляй удары!
Ни вы меня, ни я друзей не выдавал!
Дай сабле поцелуй, и бьемся наповал!»

V

Шумит... вдали песок дымится:
Француз сквозь частый бор проник.
Палят!.. Вот конница и пеших крик;
Уланы польские... и всё на нас валится,
Как лес!.. «Молись — и на коня!
Сюда, на узкую плотину:
Одна сменяй другую половину.
И все смотрите на меня!..
Уж я с женой в душе простился,

Сказал последний мой завет:
Я знал, когда на свет родился,
Что ведь должно ж оставить свет...»
Сказал... пошел... и закипело...

VI

Ну, ...евич! Это дело
Из самых славных русских дел...
Уж бой давно, давно горел:
Дрались в лесу и на поречье,
Постлался трупом узкий путь,
И русская трещала грудь.
Никто не думал об увечье:
Прочь руку — сабля уж в другой!
Ни фершалов, ни перевязки!..
Признаться, разве только сказки
Расскажут о борьбе такой...

VII

«Но где ж союзники? Ко времени б и месту
Теперь им быть!.. На них надежда уж плоха!
Дерись... година нам лиха!»
Так два отчаянных, влюбленных жениха
До смерти режутся за милую невесту...
Что зашумел громчее лес?
Еще звончей и ближе топот...
Берут французы перевес!
У наших слышен тайный ропот...
То не боязнь, но злей... то шепот:
«Что не видать его в огне?»
Доселе, в бурке, на коне,
Он всё был тут, в глазах маячил,
Он сам, он первый рубку начал...

VIII

Взошла, как и всегда, луна
И в ясной Эльбе потонула;
Какая мертвая, глухая тишина!..
Но разве днем не эта сторона
Кипела адом? Да! И вот уснула!
И враг и друг — в непробудимый сон!..
О берег, берег Эльбы дальной!
Что мне сказать жене печальной?
Где он, герой? Куда ж девался он?
Никто не знает, неизвестно!
Его искали повсеместно:
На поле битвы, по лесам;
Но он остался в ненайденных,
Ни между тел, ни между пленных.
Его безвестен жребий нам!..
Лишь ты, любезный .....евич,
Порою, вспомянув о нем,
Мне говоришь: «Он был прямым богатырем
И чудом... как Бова, Додонский королевич!..»
Ты помнишь, как тебе твердил я: «Говори
(Как вместе мы запрошлым жили летом),
Рассказывай мне, друг, о человеке этом:
Я рад прослушать до зари!»
И проводили мы в рассказах дни и ночи.
Тогда каким огнем твои пылали очи!
Летели мимо нас вечерние часы,
Слеза в очах твоих светилась
И тихо из очей катилась
На длинные усы!..

Между 1812—1825

ОПЫТЫ ТРАГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

ОПЫТЫ ДВУХ ТРАГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
В СТИХАХ БЕЗ РИФМЫ *

Содержание первого явления:

Один из верных сынов покоренного тираном отечества увещевает сограждан своих в тишине ночи к подъятию оружия против насильственной власти. **

1

Друзья! Уклоняясь от злобы врагов,
К свиданью полночный назначил я час;
Теперь всё спокойно, всё предано сну;
Тиранство, на лоне утех, на цветах,
И *рабство*, во прахе под тяжким ярмом, —
Спят крепко! .. Не спит лишь к *отчизне любовь!*
Она не смыкает слезящих очей:
Скитаясь по дебрям, при бледной луне,
Рыданьем тревожит полуночный час
И будит свободу от смертного сна.

---

* Читано в собрании СПб. Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, 11 ч. сего октября.

** Вместо имен действующих лиц поставлены здесь нумера, ибо *отрывок* сей (два явления) не принадлежит ни к какому *целому*, а написан только *для опыта*, чтобы узнать, могут ли стихи такой меры заменить *александрийские* и монотонию рифмы, которая едва ли свойственна языку страстей.

Свобода! Отчизна! Священны слова!
Иль будете вечно вы звуком пустым?
Нет, мы воскресим вас! Не слезы и стон
(Ничтожные средства душ робких и жен),
Но меч и отвага к свободе ведут!
Умрем иль воротим *златые права*,
Что кровию предки купили для нас!
Чем жизнь в униженьи, стократ лучше смерть!..
Отечества гибель нам льзя ль пережить?..
Ответ ваш, о други, читаю в очах:
Горящий в них пламень, багряность ланит
И дланей стремленье к звенящим мечам —
Всё, всё мне являет тех самых мужей,
С которыми в битвах я славу делил...
Мы те же, но край наш не тот уже стал!
Под пеплом, в оковах, под тяжким ярмом
Отечество наше кто может узнать?

2

Так в лютых напастях все зрим мы наш край!
Родных и знакомых я стран не узнал,
Когда на свиданье к местам сим спешил.
О родины милой священны поля,
Где первый раз в жизни я счастье познал,
Что сделалось с вами? — Всё умерло тут!..
Где спела надежда на нивах златых
И радости песни гремели в лугах,
Там страшен вид мрачных, ужасных пустынь,
Пустынь, где унынье от воя зверей
Сугубит звук томный влачимых оков!

3

На трупах, на пепле пожженных им стран,
На выях согбенных под гнетом рабов
Тиран наш воздвиг свой железный престол;
Но слышен уж ропот, тирана клянут...

4

Клянут лишь, и только! А *руки* и *меч*,
А предков примеры кто отнял у них?..

Содержание второго явления:

Завоеватель открывает наперснику любовь свою к одной из жен покоренного им народа.

Рожденный в пустынях, меж диких племен,
Взлелеян средь браней, на ратных щитах,
О чувствах сердечных что ведать я мог?
Туманное небо, печальны леса
И вечные битвы — вот всё, что я знал!
Война мне забавой была от пелен;
Я счастье чтил — в славе, мне друг был — мой меч!
И юное сердце, лишь бранью кипя,
Под броней железной не знало любви...
Но здесь, друг мой верный, узнало оно
Чувств новых волненье — для новых мне мук!
Ни слова о троне, о блеске побед —
Ни слова, о друг мой! Ни лавры, ни трон
Не могут покоя душе возвратить!
Ты помнишь дни славны, как с бранной грозой,
Как бурные воды, втекли мы в сей край:
Нам каждая битва была торжеством;
По трупам, по пеплу вошли мы в сей град —
Мой трон, мое царство! «Но сам ты не свой!» —
Вещало мне сердце, уныло стеня.
Я в первый раз в жизни услышал сей стон...
Услышал, смутился... Что ж в царском венце?
Ах, многие ль счастье в величьи нашли?
Что власть? коль мгновенье всё может отнять
И скорби посеять в душе семена!..
Почто я узрел в *ней* собор всех красот?..
Где вы, равнодушье, холодность, покой? —
Исчезли!.. Я страстен... и мучусь, любя!
Огнь тайный проникнул сквозь твердую сталь,
И пламенны вихри клубятся в груди!..
Так *вождь победитель* стал сам побежден,
И царь, всё пленивший, пленен здесь — *рабой!*

<1817>

ОТРЫВКИ ИЗ „ФАРСАЛИИ“ *

I

Речь Катона на пределах пустынь Ливийских.

Друзья! Всё свершилось, наш жребий решен:
Отныне забудем забавы, покой
И всё, чем ласкает беспечная жизнь,
Влекущая к рабству свободы сынов.
Простимся с отчизной... Что родины край,
Где стонут народы, цепями звуча?
Пусть кесарь, лаская слепые толпы,
В цветах сокрывает оковы... Пусть он
Влечет малодушных в поддáнство к себе...
Нам, други, не страшен позорный сей плен:
Упругие выи свободных римлян
Ничто не приклонит под тяжкий ярем!
Мы быстрым полетом пустынных орлов
(Расторгнув те сети, где вязнут рабы)
К свободе, к блаженству, друзья, полетим...
Там, там, за пределом песчаных морей,
Надежды и верный союзник нас ждут...
Не скрою, о други, что труден наш путь:
Забудем надолго веселость долин,
И пышные виды цветущих полей,
И воды, и свежесть, прохладу и всё,
И всё, что покоит и нежит в пути...
Безмолвные степи, глад, жажда и зной,
И змеи клубами в горячих песках,
И пламенны вихри, что, с свистом крутясь,
То горы вздымают, то роют бразды
И движут, как море, безбрежную зыбь...
Вот что предлежит нам! Но, други, Катон
В сопутство с собою зовет только тех,
Кто крепостью духа превыше судьбы,
В ком силы душевны с бедами растут!

---

* В 44-й книжке «Сына отечества» 1817 предложил я первые опыты трагических явлений, писанных стихами без рифм. Вот и еще слабый перевод одного из сильнейших мест в Фарсале. Мне желательно только знать, может ли прилагаемый здесь размер быть *не единственным*, но одним из размеров, способных для трагедий.

Таких призываю, и вновь повторю,
Что вступим в пределы печальных пустынь,
Где жизни веселой и признаков нет,
Где путникам скорбным малейшая тень —
Дар редкий от неба, где шепот ручья,
Чуть слышимый шепот в глубоких песках,
Сулит наслажденье, всех высшее благ!
Не скрою — зачем мне от вас сокрывать? —
Что будем такие края проходить,
Где след человеков от многих веков
Не зрелся на зыбком пространстве пустынь.
Нам новые должно пути проложить,
И мы их проложим!.. Я всё вам сказал,
И всякий свободен (пустынь убоясь)
На ласковый голос, на кесаря зов,
Обратно в *путь жизни* к позору бежать,
Чтоб, духом слабея, дремать на цветах;
Иль, мужество предков в душе помянув
И честь почитая превыше всего,
С Катоном в путь смерти к бессмертью идти...

II

Воины изъявляют желание последовать повсюду за великодушным вождем своим — и Катон, приняв торжественное уверение храбрых, дает взаимный обет делить с ними все труды и опасности предстоящего пути.

О други! О храбрых сподвижников сонм!
Клянусь, обещаю — примите обет,
Что первый без страха в *путь страшный* пойду.
Пусть зной раскаляет и землю и твердь,
Пусть пламенным током полдневны лучи
Мне прямо на темя лиются... Пусть змей,
Под смелой стопою крутясь, зашипит...
Пусть бури колеблют основы миров,
Пусть дрогнет вселенна, — не дрогнет Катон!
И если кто узрит, что в знойном пути,
При общем лишеньи прохладных ключей,
Хоть каплю приближу к засохшим устам,
Тогда всем вам вольно на жажду роптать;
Когда уклонюсь я *один*, хоть на миг,
Пустынного древа в отрадную тень,

Тогда вы, в Катоне вождя не познав,
Презренного бросьте сгорать на песках...
Но верьте, что первый в тяжелой броне
Пойдет он отважно пред вами, — он долг
Свой знает! Глад, жажда, шипение змей
И знойные степи — всё мило душе,
Душе, упоенной надеждой святой
По долгом страданьи до цели достичь...
О, верьте, *терпенье* в жестоких бедах
Всегда торжествует, и в сем торжестве
Находит блаженство собою само,
В себе наслаждаясь... Великой душе
Приятно сразиться с тьмой бед и, судьбу
Презрев и в порывах себя испытав,
Почувствовать в бурях самую себя
И собственной силой себя утешать!
Итак, мы решились: нам Кесарь не царь!
Бежим, но со славой! Не смерти боясь,
К свободе, как к другу, от рабства бежим!

III

Катон и воинство приходят к храму Юпитера Аммона. Друзья Катоновы убеждают его вопросить бога о будущей судьбе Рима и собственной участи.

Катон! Мы достигли священных тех мест,
Куда все народы восточных краев
С мольбой и дарами приходят. Катон!
Муж правды! О верный хранитель святых
Законов! .. Друг чести! Решися, спроси,
Спроси у *Аммона:* что рок нам сулит?
Что станется с Римом? что Кесарь? что нам
Готовит незримо всемощность судеб?
Окончатся ль брани, притупится ль меч
И свет возблестит ли по грозной ночи?
Иль долго раздоры, и меч, и огонь
Терзать еще будут отечества грудь?
Настанет ли время, что *сила* падет,
Не будет *коварства, сетей, ни оков,*
И люди, как братья, в союзе святом,
Покорны *закону* и *правде* одной,
Блаженства поищут в покое? О вождь!

Ты свято уставы небес соблюдал,
Любил добродетель... Спроси ж у богов,
Чем смертный на милость их может склонить?
И в чем добродетель прямая?.. Тиран,
Смеясь, попирает уставы небес,
Отъемля у римлян наследье веков —
Свободу! — а ты, наш друг правды, Катон,
Оставя отчизну, забыв всё, что льстит
Душе, — предпочел ты кипящую степь
Чертогам, где нега лелеет рабов,
И Риму, где славят бесчестье цепей!..
Кто ж небу милее? Кому торжество?
О боги! Откройте великой душе
Великие тайны чудесных судеб!
Катон! Всё готово: пылает алтарь,
И жертва венчанна цветами... Спроси,
Спроси у Аммона, что рок нам сулит?
Достигнем ли *Юбы*, найдем ли с тобой
Свободу, свободу — желаний всех цель?!
Иль мир покоренный умолкнет? И Рим
(Не помня примеров и сла́вы веков),
Из дланей ослабших роняя свой гром,
Их в узы неволи предаст? И тиран
(Права и законы повергши во прах)
На общем позоре воздвигнет свой трон?..

IV

Катон — мудрец и полководец, вдохновенный божеством, всегда обитавшим во глубине души его, — произнес в ответ на сии увещания почти следующие незабвенные слова:

Почто мне к Аммону велите, друзья,
С мольбой и дарами прибегнуть? Ужель
Не знаем мы сами закона небес?
Закон сей начертан глубоко в сердцах:
Он с ними родится и с ними живет!
Пусть чернь ослепленна из дальних краев
С поникшей главою, с унылой душой
Идет обольщаться ответом жрецов!..
Мне чуждого бога почто вопрошать?

«Будь честен и правду люби всей душой,
Страшись преступленья, но бед не страшись!
С правдивой душою будь тверд, как гранит,
Под громом, при гневе кипящих людей!»
Вот что начертали мне боги в душе...
Почто ж, унижаясь, Аммона спрошу:
«Скажи мне, бог дивный, доколе судьба
Катона и римлян гнать будет? Скажи,
Утишится ль неба разящий нас гнев,
Погибнет ли Кесарь, и гибнущий Рим
Познает ли счастье свободы? Скажи,
Дни жизни Катона продлятся ль? И рок
Престанет ли бури на нас воздвигать?..»
О сем — вы хотите — чтоб я вопросил...
Нет, я не унижусь... Что значит здесь *рок*?
Угроза младенцам и робким душам...
Что значат сей жизни летящие дни?
Мгновенье!.. Не стоит себя унижать,
Чтоб миг сей украсить... Всё минет, как сон...
Пусть сильный, правленья бразды ухватя,
Вращает по воле судьбами людей...
Пусть, в пурпур облекшись, могущий порок
Смеется над рабским смиреньем. Пусть лесть
Счастливым злодеям *бессмертье* сулит...
Мне *смерть* — утешенье, *могила* — та цель,
К которой стремлюся... О други! За ней,
За ней не увижу страданья и слез
Людей, ослепленных волненьем страстей,
Граждан, променявших свободу и честь
На льстивы обеты тирана... За ней
Суд ждет нас нелестный... И Кесарь в венце
Восстонет, увидев, что Тартар готов
Пожрать честолюбца... Там славой земной
Не купишь покоя порочной душе:
Не славным, но честным желаю я быть!..
Поверьте, о други, что правды святой
В сих *вихрях песчаных** бог мира не скрыл!
Юпитер повсюду: в лазури небес
И в мраке безмолвных подземных пещер.
Его мановеньем и солнце течет,

* В Ливийских песках.

И лист не посмеет от древа упасть
Без воли Зевеса... А голос его?
Глас бога мы слышим во гласе души,
Души непорочной и страстной к *добру*...
Погибнет ли Кесарь, спасется ли Рим?
Рим, верно, спасется, когда у римлян
Воскреснет их предков отвага и честь...
Итак, мы оставим *Аммона*. Катон
И злобного рока и злобы врагов
Робеть устыдится... Что Кесарь?.. Что рок?
Мне совесть — отрада, убежище — гроб...

<1818>

К БОГУ ПРАВДЫ

Доколе грешницы, господи,
доколе грешницы восхвалятся.
Псалом 93

Восстань, господь! Где суд твой правый?
Почто молчит твой страшный гром?
Доколе, господи, доколе
Сим нечестивцам пировать
За сладкою трапезой жизни,
Ругаясь благостью твоей?
Доколь им, грешникам, хвалиться
И говорить: «Далеко бог!»
Неправда разлилась, как море,
И тонет в ней твоя земля!
Они, как трости, изломали
Законы дивные твои,
И в дикой радости, как звери,
Толпой неистовой бегут
На шумный праздник беззаконья. . .
А стоны вдов и сироты,
Твоих людей забытых слезы,
Сия сердечная роса,
Восходят с воплем в небеса!
В устах злодеев громкий хохот!
Они убили сироту,
И со вдовицы ветхи ризы
Сдирает жадная рука!
И говорят, смеясь, безумцы:
«Где богу с неба видеть нас?»

О, заблужденье! Как же мыслишь,
Чтоб тот, кто слух и око дал,
Не видел слез, не слышал внятно,
Что сердце в грусти говорит?
Над чьей главой благословенье
Светлеет тихою зарей;
Над кем проклятия и стоны
Станицей черною кипят;
В чье сердце алчные пороки,
Как змеи жадные, впились;
И кто, кичливый, мчится вихрем
Земных мечтаний и сует?
Блажен живущий в крове бога!
Не для него шумит гроза!
Не для него ловец-погибель
Хоронит под цветами сеть!
Он смелою стопою ходит
По скользкой жизни... О творец!
Ты сам и небеса с тобою
Нисходят к чистому душой,
И зрит он, в духе, славу бога!
И в оный час, как ось земли
Подломится с гремящим треском
И понесется легкий шар,
Как вихрем лист в полях пустынных,
Он, невредимый, в оный час
Прейдет в святое лоно бога,
Который жил в его душе!

<1821>

ПРИЗВАНИЕ ИСАЙИ

Иди к народу, мой Пророк!
Вещай, труби слова Еговы!
Срывай с лукавых душ покровы
И громко обличай порок!
Иди к народу, мой Пророк!

Вещай: «Не я ль тебя лелеял
И на руках моих носил?

ОПЫТЫ
СВЯЩЕННОЙ ПОЭЗІИ,

ѲЕДОРА ГЛИНКИ.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: воспою и пою.

Псал. 107.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

въ типографіи департамента народнаго просвѣщенія.

1826.

Тебе в пустынях жизнью веял,
Тебя в безводии поил;
А ты, народ неблагодарный,
Ты ласки все забыл Отца!
Как змеи — души в вас коварны,
Как камни — черствые сердца!
Что сделали с моим законом?
Где лет минувших чудеса?
Мой слух пронзен невинных стоном,
Их вопли движут небеса...
А ваши сильные и князи,
Пируя сладкие пиры,
Вошли с грабителями в связи
И губят правду за дары.
Где правота, где суд народу?
Где вы, творящие добро?
В вино мешаете вы воду,
Поддел и ложь — в свое сребро!
Вы слепы, иудейски грады!
Я поднял реки из брегов,
И насылал к вам трус и глады,
И двигал бури вместо слов.
А вы, как камни, не смягчались,
И бог ваш, стиснув гром, терпел;
Но лета благости скончались».
О, страх! Егова загремел!
Напал на сердце ужас хладный!
Я зрю мятеж и страх в умах:
Промчался с криком коршун жадный,
Послышав гибель на полях.
Увы, Израиль! Весь ты клятва!
Ты спал под песнями льстецов;
Но се грехов созрела жатва —
И бог пошлет своих жнецов!..
«На что мне созидаешь храмы?
Мне аромат твоих кадил
И многоценны фимиамы —
Как смрад раскопанных могил!
Ты знаешь сам, что мне приятно:
Одну люблю я правоту.
Зачем же судишь ты превратно?
За что ты губишь сироту?

Омой корыстную десницу,
Лукавство вырви из души,
Будь нищим друг, спасай вдовицу!
Тогда, без жертв своих, спеши,
Как добрый сын, ко мне пред очи:
Я все грехи твои стерплю;
Будь черен ты, как сумрак ночи,
Тебя, как день, я убелю!»

<1822>

ПЛАЧ ПЛЕНЕННЫХ ИУДЕЕВ

На реках вавилонских тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона.

Псалом 136

Когда, влекомы в плен, мы стали
От стен сионских далеки,
Мы слез ручьи не раз мешали
С волнами чуждыя реки.

В печали, молча, мы грустили
Всё по тебе, святой Сион;
Надежды редко нам светили,
И те надежды были — сон!

Замолкли вещие орга́ны,
Затих веселый наш тимпан.
Напрасно нам гласят тираны:
«Воспойте песнь сионских стран!»

Сиона песни — глас свободы!
Те песни слава нам дала!
В них тайны мы поем природы
И бога дивного дела!

Немей, орга́н наш голосистый,
Как занемел наш в рабстве дух!
Не опозорим песни чистой:
Не ей ласкать злодеев слух!

Увы, неволи дни суровы
Орга́нам жизни не дают:
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песней не поют!

<1822>

ВОПЛЬ РАСКАЯНИЯ

Господи! да не яростию твоею обличиши мене.

Псалом 6

Не поражай меня, о Гневный!
Не обличай моих грехов!
Уж вяну я, как в зной полдневный
Забытый злак в морях песков;
Смятен мой дух, мой ум скудеет,
Мне жизнь на утре вечереет...
Огнем болезненным горят
Мои желтеющие очи,
И смутные виденья ночи
Мой дух усталый тяготят.
Я обложен, как цепью, страхом!
Везде, как тень, за мной тоска:
Как тяжела твоя рука!
Но я главу посыпал прахом —
И в прах челом перед тобой!
Услышь стенящий голос мой!
Меня помилуй ты, о боже!
Я духом всё ищу небес,
И по ночам бессонным ложе
Кроплю дождем кипящих слез!
Я брошен, как тимпан разбитый,
Как арфа звонкая без струн;
Везде мне сеть — враги сердиты!
Везде блистает твой перун!
Предчувствия облит я хладом:
Ты смертью мне грозишь иль адом?
Но в гробе песней не поют!
И в аде, о мой бог всевластный,
В сей бездне гибели ужасной,
Тебе похвал не воздают!

А я сгораю жаждой славить
Тебя с любовью всякий час
И в память позднюю оставить
Души, тобой спасенной, глас.
О, радость! радость! плач сердечный
Услышан господом моим!
Ты осветил меня, мой Вечный!
Лицом таинственным своим!
Прочь, беззаконники с дарами,
С отравой беглой жизни сей!
Я не хочу быть больше с вами!
Творец! в святой любви твоей
Омытый, стану я как новый;
И, всей душой блажа тебя,
Порока ржавые оковы
Далеко брошу от себя!

<1823>

МОЛИТВА ДУШИ

Вонми гласу моления моего, царю мой и боже мой: яко к тебе помолюся, господи.

Псалом 5

К тебе, мой бог, спешу с молитвой:
Я жизнью утомлен, как битвой!
Куда свое мне сердце деть?
Везде зазыв страстей лукавых;
И в чашах золотых — отравы,
И под травой душистой — сеть.
Там люди строят мне напасти;
А тут в груди бунтуют страсти!
Разбит мой щит, копье в куски,
И нет охранной мне руки!
Я бедный нищий, без защиты;
Кругом меня кипят беды,
И бледные мои ланиты
Изрыли слезные бразды.
Один, без вóждя и без света,
Бродил я в темной жизни сей,
И быстро пролетали лета
Кипящей юности моей.

Везде, холодные, смеялись
Над сердцем пламенным моим,
И нечестивые ругались
Не мной, но именем твоим.
Но ты меня, мой бог великий,
Покою в бурях научил!
Ты вертоград в пустыне дикой
Небесной влагой упоил!
Ты стал кругом меня оградой,
И, грустный, я дышу отрадой.
Увы! мой путь — был путь сетей;
Но ты хранил меня, незримый!
И буря пламенных страстей,
Как страшный сон, промчалась мимо;
Затих тревожный жизни бой...
Отец! как сладко быть с тобой!
Веди ж меня из сей темницы
Во свой незаходимый свет!
Всё дар святой твоей десницы:
И долгота и счастье лет!

<1823>

К БОГУ ВЕЛИКОМУ, ЗАЩИТНИКУ ПРАВДЫ

Суди, господи, обидящие мя, побори борющие мя. Приими оружие и щит.

Псалом 34

Суди и рассуди мой суд,
Великий боже, боже правый!
Враги на бой ко мне идут.
И с ними замыслы лукавы
Ползут, как черные змии...
За что? В чем я пред ними винен?
Им кажется и век мой длинен,
И красны слезы им мои.
Я с тихой детскою любовью
Так пристально ласкался к ним, —
Теперь моей омыться кровью
Бегут с неистовством своим,
В своей неутолимой злости.

Уже сочли мои все кости,
Назначив дням моим предел;
И, на свою надеясь силу,
И нож и темную могилу
Мне в горький обрекли удел.
Восстань же, двигнись, бог великий!
Возьми оружие и щит,
Смути их в радости их дикой!
Пускай грозой твоей вскипит
И океан и свод небесный!
О дивный бог! о бог чудесный!
У ног твоих лежит судьба,
И ждут твоих велений веки:
Что ж пред тобою человеки?
Но кроткая души мольба,
Души, любовью вдохновенной,
Летит свободно по вселенной
В зазвездны, в дальни небеса.
Творец, творенью непонятный!
Тебе везде так ясно внятны
Людей покорных словеса!
Пускай свирепостью пылают;
Но только твой раздастся гром —
Они, надменные, растают,
Как мягкий воск перед огнем!
Как прах, как мертвый лист осенний
Пред бурей воющей летит,
Исчезнут силы дерзновенных!
Идут — и зыбкий дол дрожит,
Поля конями их покрыты...
Но, Сильный, ты на них блеснешь
И звонкие коней копыты
Одним ударом отсечешь,
И охромеют грозны рати...
Сколь дивны тайны благодати!
Ты дал мне видеть высоты!
Он снял повязку слепоты
С моих очей, твой ангел милый:
Я зрю... о ужас! зрю могилы.
Как будто гладные уста
Снедают трупы нечестивых...
Кругом глухая пустота!

Лишь тучи воронов крикливых
И стаи воющих волков
Летят, идут на пир, как гости,
Чтоб грешников расхитить кости
И жадно полизать их кровь!
Горят высокие пожары,
И слышен бунт страстей в сердцах;
Везде незримые удары,
И всюду зримо ходит страх.
О, грозен гнев твой всегромящий!
И страхом всё поражено:
От птицы, в облаках парящей,
До рыбы, канувшей на дно
Морей пенящихся глубоких.
Но в день судеб твоих высоких
Твой раб, снедаемый тоской,
Не убоится бурь ревущих:
Тебя по имени зовущих
Спасаешь мощной ты рукой.

<1823>

ГОРЕ И БЛАГОДАТЬ

И восста яко спя господь.
Псалом 77

I

Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели,
Оковы и мечи звенели
И сильный слабого терзал.
Не стало дел, ни прав священных,
Молчал обиженный закон;
И востекал от притесненных
Глухой, протяжный, тяжкий стон.
Как дым, прошло сиянье славы,
Сокрылась кроткая любовь;
И человеков род лукавый
Был вид повапленных гробов!
Простились люди с тишиною,
Везде мятеж и грустный мрак,

И глад с кровавою войною
На трупах пировал свой брак;
Стихии грозно свирепели
И мир чего-то ожидал...
Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели!

II

Какая всходит там заря?
Кто раскалил небесны своды?
Почто бледнеете, народы?
Куда бежите вы, моря?
Златое солнце покраснело
И не дает своих лучей,
И для земли осиротелой
Не стало утра, ни ночей;
И грады падают, как класы,
Когда их дождь и бури бьют;
И раздались незримых гласы:
«Господь, господь идет на суд!»

III

Но он пришел, неизреченный!
И только грешных поразил!
Он светом молний по вселенной
Все тайны злобы обнажил.
Не устояли грех и сила
От блеска божиих очес:
Их съела вечная могила!
И новый век настал чудес!
Неправда тяжкая обида
Была и людям и творцу:
Бог избрал кроткого Давида,
И дал он юному борцу
Свой дух, свое благословенье,
И повелел престать беде.
И скрылось смутное волненье;
Хвалилась милость на суде;
Не смел коварствовать лукавый,
И не страдал от сильных правый.

Закон, как крепкая стена,
Облек израильские грады;
Цвели спокойно вертограды;
Лобзались мир и тишина.
Господь как будто почивал,
Но на земле дела светлели:
Звучал тимпан, и девы пели,
И всякий бога величал!

<1823>

ТОСКА

> Господи боже спасения моего, во дни воззвах и в нощи пред тобою: яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися.
>
> *Псалом 87*

Я умираю от тоски!
Ко мне, мой боже, притеки!
Души усталой гибнут силы;
Огонь очей потух в слезах,
И жажду я, в моих бедах,
Как ложа брачного — могилы!
Я, в море брошенный пловец,
Тону в волнах моей печали, —
Услышь последний глас, творец!
Уста, иссохнув, замолчали;
Тоска в душе, как зной, кипит,
Но сердце в грусти не молчит:
Страдая, как дитя больное,
Оно, без мыслей, вопиет
И плачем детским всё родное,
Без слов, тоской к себе зовет!
Но нет мне на земле родного!
От неба твоего святого
Одной себе отрады жду!
В груди пожар; кругом тревоги;
Колючий терн изъел мне ноги!
Едва, болезненный, иду
В безвестный путь, чрез знойны степи,
И смутны дни за мной, как цепи!..

Как грустен грустным божий свет!
Но для души моей несчастной
На всей земле твоей прекрасной,
Творец! ужель отрады нет?
Подай знакомую мне руку,
Любви дыханьем подкрепи:
Тогда снесу я жизни муку,
Скажу душе моей: «Терпи!»

17 февраля 1823

СОЗЕРЦАНИЕ

Исповемся тебе, господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса твоя.

Псалом 9

Твои глашу я чудеса!
Их исповедую, мой вышний!
Тебе молитвы сирых слышны;
Несчастным близки небеса!
Ты взял весы свои правдивы!
Дивлюсь, пою твоим делам!
Безумный грешник злочестивый
В своих сетях увязнет сам.
Ты йдешь к нам, бог дивной славы,
И небо радостью кипит;
Но очи грешных и лукавых
Твой взор, как молния, палит!
Ликуйте ж вы, друзья убоги!
Ваш праздник, нищие, настал:
Вам жизни скучные дороги
Господь весельем осиял!
Идет... и нечестивых радость
Бежит, как гибнущая младость.
Воскресни, господи, на суд!
Се ангелы твои текут,
Да злые буйствовать не смеют;
Пускай безумцы разумеют,
Что человеки лишь они!
Пускай смирятся и трепещут!
Гремит!.. Твои перуны блещут!

Уж близки, близки грозны дни
И времена духовной жатвы...
Тебе послышались их клятвы,
Сгустилась туча жарких слез;
Как пар, восходят тяжки стоны
Искать у бога обороны,
И высота святых небес
Уж не вмещает стонов боле.
Но грешник всё живет по воле:
Как трость, ломает твой закон,
И, заглушая сердца стон,
Как волк из чащи вызирает,
Когда добычу стережет;
А бедных агнцев бог пасет!
Ловцов на ловле он хватает!
Он здесь; а грешник говорит:
«Господь, как утружденный, спит!
Его для нас замкнулось око;
Земля от звезд его далеко».
Воскресни ж, господи, на суд!
Пускай, кипящие, текут
Твои коснеющие рати...
Но грешных не залей в крови!
Лишь обновленьем благодати,
Творец, ты землю обнови!
Идет... трепещет чин природы,
И зыблются небесны своды!
Идет средь ангельской хвалы!..
Кто там, на острие скалы,
Стоит, как дуб в степях высокий?
У ног его кипит беда:
Он молча исчисляет сроки...
Се ангел крепкого суда!
Он мразом на преступных веет;
Под ним, над ямою грехов,
Туман погибели синеет...
Зачем быстрее бег часов?
За днями дни... но грусть, как бремя,
В сердцах почила и лежит!
Бежит испуганное время,
И тайный голос говорит:
«Не уповайте на земное;

Оно обманет вас, как тень!
Настанет скоро всё иное!
Уж близок, близок божий день!»
Ты их услышал, стоны бедных,
И метишь громом на порок!
И я у вас на лицах бледных
Читаю, грешники, ваш рок!
Но вам еще одна дорога:
Она к раскаянью ведет,
Неистощима благость бога:
Он покарает и спасет!

25 марта 1823

ГЛАС БОГА ИЗБРАННОМУ ЕГО

(Пророка Исайи, глава 43 и 45)

Ты мой! и что твои враги?
Пускай острят мечи и стрелы.
Я сам считаю их шаги
И размеряю их пределы.
Не унижайся пред судьбой:
Ты мой! и стражей легионы
Сорвут с путей твоих препоны;
Иди, не бойся: я с тобой!
Коснись водам — и бурны воды,
Как агнцы смирные, заснут;
И вкруг тебя, столпясь, народы
Тебя грозой не ужаснут.
Иди без страха в страшный пламень,
Огонь тебя не опалит;
Будь духом бодр, будь верой камень,
И над тобой везде мой щит!
Зачем броня тебе железна —
Защита слабая людей?
Коль мне глава твоя любезна,
То кто дерзнет коснуться ей?
Но знай, не пышными дарами
Ты милость вышнего купил;
Ты мне не жертвовал овнами,
Ни фимиамом от кадил.

И что мне их кровавы жертвы
И небеса коптящий тук?
Я не люблю молитвы мертвых;
Не мне дары нечистых рук.
Ты стал в грехах передо мною,
И я грехи твои омыл,
И, как младенца пеленою,
Тебя я милостью повил!
И будешь ты чрез долги лета,
Как пальма свежая, цвести
И, как высокая примета,
Ко мне людей моих вести.
Да ведают теперь народы,
Судя, мой отрок, по тебе,
Что я, водя небесны своды,
Рачу и о земной судьбе.
Вотще земные исполины,
Кичась, подъемлют гордый рог:
Я есмь господь и бог единый!
Пускай другой приидет бог,
И зиждет новую вселенну,
И им, страстями ослепленным,
Сияет в новых чудесах;
Пускай в бездонных высотах
Повесит ни на чем громады
И небо сводом наведет,
И тайным пламенем зажжет
Неугасимые лампады;
И, сеющий, засеет он
Свое лазоревое поле
И, по своей единой воле,
Звездам и солнцам даст закон;
И волны шумных океанов
Прольет и сдержит без брегов;
Кто сей из мертвых истуканов
И бессловесных их богов?
Пусть обещает им ограды;
Но кто им столько даст пощады?
Кто большую, чем я, любовь?

<1824>

БЛАЖЕНСТВО ПРАВЕДНОГО

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста.

Псалом 1

О, сколь блажен правдивый муж,
Который грешным вслед не ходит
И лишь в союзе чистых душ
Отраду для души находит!
Его и страсти кличут в свет,
И нечестивцы в свой совет, —
Но он вперил на правду очи,
И глух к зазывам лести он:
При свете дня и в тайне ночи
Хранит он вышнего закон,
И ходит в нем неколебимым;
Везде он чист, душою прям
И в очи смерти и бедам
Глядит с покоем нерушимым,
Хотя в ладье бичом судьбы
Гоним в шум бурных океанов...
Когда лукавые рабы
Блажат бездушных истуканов,
Он видит бога над собой —
И смело борется с судьбой!
Зажглась гроза, синеют тучи,
Летит, как исполин могучий,
Как грозный князь воздушных стран,
Неудержимый ураган
И стелет жатвы и дубравы...
Но он в полях стоит один,
Сей дуб корнистый, величавый:
Таков небесный гражданин!
И процветет он в долгой жизни,
Как древо при истоках вод;
Он будет памятен отчизне,
Благословит его народ...
Не так, не так для нечестивых:
Ветшая в кратких, смутных днях,
Они развеются, как прах.
Господь не стерпит горделивых:

Он двигнет неба высоты
И землю раскалит до ада.
Но вам, страдальцы правоты,
Он вам и пастырь и ограда!

<1824>

СЕТОВАНИЕ

Услыши, господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою не во устах льстивых.

Псалом 16

Услыши, господи! я стражду!
Темнеют тучи надо мной,
И я отрады сладкой жажду,
Как нива в полуденный зной!
Везде судьбы, людей угрозы;
Я истощил и стон и слезы...
О милосердый бог! внуши
И сердца плач и вопль души!
Как пастырь средь чужой долины,
Забыл я песни счастья петь.
Кто даст мне крылья голубины,
Чтоб в лучший край мне улететь?
Когда б меня враги лукавы
Влекли, как жертву, в смертный ров!
Нет! в чашу радостей отравы
Кладут мне дружба и любовь!
Я отдал всё неблагодарным;
Доколь же пировать коварным,
Лелея страсти и порок?
Увы, слепцы! меж вами рок
Незримый с гибелию ходит:
Не он ли тайно грусть наводит
На вас, ликующих в пирах?
Почто не знаете покоя
На ваших золотых парчах,
Среди забав душою ноя,
Как осужденные на казнь?
Зачем вам часто гибель снится,

И к сердцу робкому теснится,
Как змей, холодная боязнь?
Нет правды; осмеяли совесть;
Корысть ваш бог, и мрак ваш свет!
Увы! об вас какая повесть
Дойдет к потомкам поздних лет!
А я, не жизни я веселой,
Творец! твоей любви прошу:
В груди, от скорби омертвелой,
Живое сердце я ношу;
Оно, пронзенное, тоскует,
Как горлик в гибельной сети!
Пусть нечестивых сонм ликует,
Но ты забытых посети!
Что мне до них? Я не желаю
Их благ нечистых для себя;
В моей тоске, как воск, я таю,
Но всё надеюсь на тебя!

<1824>

ТЩЕТА СУЕМУДРИЯ

Вскую шаташася языцы, и
людие поучишася тщетным.

Псалом 2

Зачем к земным корыстям руки
И ум на тщетные науки
Простерли с жадностию вы?
На всё готовы для молвы,
На всё для блеска ложной славы:
Забыли вышнего уставы!
Цари и князи собрались
Идти на господа войною;
Сердца их дерзостью зажглись,
Покрылись очи пеленою.
Но он, живый на небесах,
Над вашей злобой посмеется:
Ваш сонм, как прах, с путей смятется,
Мечи замрут у вас в руках.
О! страшны вышнего глаголы!
Когда кипит его гроза:

Трещат скалы, вздыхают долы,
И кедры гнутся, как лоза...
А мне, за долгое смиренье,
За скорбь мою, за простоту,
Склонив небесну высоту,
Мой бог послал благоволенье.
Он ополчил меня жезлом
И рек: «Паси сии языки;
Смири в их гордости великой
Слепцов с безумным их умом;
И, как скудельные фиалы,
Разбей сердца их одичалы;
Заблудших вырви из сетей:
Будь страж и вождь моих людей!»
О сильные земли — смиренье!
В суде — защита нищете!
Вся жизнь — будь жертва правоте!
Законам правды — поклоненье!
Я зрю: он близок, божий день,
И вы побегли, исполины,
Как из глубокия долины
Бежит пред ясным утром тень!

<1824>

МИНУТА СЧАСТИЯ

В груди, страстями раскаленной,
Я сердце грустное носил
И, битвой жизни утомленный,
Конца страданиям просил.
Но вдруг повеяло прохладой,
Как сердцу ведомой мечтой;
Мне кто-то дал сосуд златой
И напоил меня отрадой.
И мрак с очей моих исчез;
И я, уж больше не несчастный,
Увидел новый день прекрасный
И свод таинственных небес.
Там было всё любовь и радость;
Земля светилась, как кристалл,

И не старелась жизни младость,
И ясный день не догорал.
О, как их области прекрасны!
И как приветливы они!
И утешительны и ясны,
Как юности счастливой дни.
И все так дружны, будто звуки
В струнах под опытной рукой;
И взор их, исцеляя муки,
Ложится в душу, как покой.
И ясно мысли их светлели:
Я в каждой гимн творцу читал;
Они мне песни неба пели,
И я с восторгом исчезал;
И, как младенец в колыбели,
Мой дух переводя едва,
Я таял в радости сердечной,
И пил млеко́ я жизни вечной.
Их благовонные слова
Из уст рубиновых струились,
И чувства в сердце их светились,
Как из-за тонких облаков
Сияют звезды золотые;
И все их помыслы святые
В одну сливалися любовь.
Где ж ты, моя минута счастья?
Гонюсь за сладкой тишиной:
Но я уж в области ненастья,
И буря воет надо мной.

<1824>

ПОБЕДА

Мал бех во братии моей и онший в дому Отца моего.

Псалом 151

Я младший был в своем дому,
И меньше всех меня считали;
И радость детства и печали
Вверял я богу одному.
Мои все братья величавы

Росли для подвигов, для славы,
Был ими весел наш отец;
А я, в своей безвестной доле,
Один, с моей цевницей в поле,
Смиренно пас моих овец!
Дитя, беспечный сын природы,
О мне узнают ли народы?
Иль жребий мой — пустынный цвет?
Но вдруг блеснул в пустыне свет,
И мне явился ангел бога:
«Тебе широкая дорога
Чрез поле жизни и в века!»
И бога дивного рука
Из сонма братий величавых,
От смирных стад, меня взяла
И — прямо в битву, в бой кровавый,
И мне в бою стеной была!
И я, помазан от елея,
Кипящим мужеством горел,
И в очи страшного злодея
Бесстрашно, юноша, глядел.
Он пал, как столп. Цвети, отчизна!
Израиль мой, с твоих сынов
Снята позора укоризна:
Не знай ни плена, ни оков!

<1825>

ОПЫТЫ ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХ ОПИСАНИЙ В СТИХАХ

СОН

Я кем-то был вознесен на острый верх скалы, —
Так мне в младенчестве приснилось, —
Кругом меня дробилися валы
И море бурное пенилось,
И, с воем, стадо чуд кругом скалы теснилось;
Огонь горел у них в очах!
Я был один — и весь был страх;
И сердце в молодой груди чуть билось.
И милой жизни я сказал: прости!..
Вдруг пылкий огнь в мои втеснился жилы,
И кто-то мне орлины придал крылы
И громко возопил: «Лети!»
И я, под светлыми летая небесами,
Смотрел на мир спокойными очами
И видел землю с высоты:
Там реки в дальние моря бежали;
Там грады пышные, там области лежали,
И в них кипела жизнь, шумели суеты
И страсти бурные пылали...
Но полн я был святых, высоких дум!
И я в земной мятеж не опустился
И с прахом, от земли летящим, не смесился,
И слышал лишь вдали — земной тревоги шум!

<1820>

НЕЗДЕШНЯЯ ГОСТЬЯ

Плывет величаво
По синему небу
Серебряный месяц...
И зорю сменяют
Вечерние звезды.
И дремлют, насупясь,
Высокие сосны.
Туман застилает
Широкое поле.
Всё пусто, безмолвно
И в замке нагорном,
И в ближней дубраве,
И в дальних долинах.
Прелестная дева,
Пряма, величава,
В одежде белейшей
Туманов вечерних,
Как дух благодатный,
Как горняя радость,
Как житель бесплотный
Надзвездного града,
Одна, молчалива,
Под вётлою ивой;
И к персям прижаты
Лилейные персты;
И смотрят недвижно
Лазурные очи
На месяц унылый...
Часы пролетали —
И звезды погасли,
И вспыхнуло утро
На темном востоке,
И скоро не стало
Под вётлою ивой
Красы молчаливой...

<1820>

ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЧКА

Скрывалось за горы
Роскошное солнце,
И долгий день летний
Угаснул, и вечер
Настал с тишиною,
И в воздухе душно! . .
Зарница играла
По нивам волнистым,
И сизая туча
Вдали загоралась;
Далекое эхо
В горах рокотало. . .
Я в роще тенистой
Дышал ароматом
Цветущего луга. . .
Вдруг птичка слетела,
Не знаю откуда,
И, зыблясь на ветке,
Запела уныло,
Уныло — и сладко! . .
Я весь стал — вниманье,
И весь — упоенье:
Душа разрывалась
От песни унылой;
Душа восхищалась
Унылою песнью. . .
И отзыв далекий
Друзей отлученных,
И память о прошлом,
О днях невозвратных
Бывалого счастья,
И стоны разлуки,
И шепот предчувствий,
Грядущего тайны —
Всё, всё выражала
Волшебная песня
Чудесной певицы. . .
Мне виделось: месяц
Стоял недвижимо
И звезды, внимая,

Горели яснее,
И грохот нагорный
Затих!.. И в забвеньи
Сидел я до утра,
Мечтая о небе...
Певица всё пела,
Но, вместе с росою
Подъемлясь всё выше,
Как искра угасла,
В лучах утонула!..
Откуда ты, птичка,
Небесная радость!
Где край тот далекий,
В котором ты, прелесть!
Гостишь неотлетно?..
И, странник печальный
В сем мире мятежном,
По сердцу мне чуждом,
Услышу ль опять я
В безмолвии ночи,
Залетная гостья!
Твой голос чудесный?
Иль раз только в жизни
Он смертному слышен?.

<1820>

ГЕНИЙ

Нарисуй мне Гения
Бледного, унылого,
И с челом развенчанным.
Вижу, плачет Гений твой,
Преклоненный на руку,
И златые волосы
В локонах рассыпаны;
Всё кругом — молчание!
На небе ни звездочки!
И погашен пламенник
Бурею пустынною.
Нарисуй богиню мне,
Нарисуй волшебницу

Резвую, прелестную:
Дай ты ей лазурные
Крылья мотыльковые,
И одежду белую
Из туманов утренних;
Подари ей алую
Розу, вечно юную;
Пусть твоя волшебница,
Иль богиня милая,
Как богиня призраков,
Светлая фантазия,
В разных дивных образах
В мире появляется:
То вечерней звездочкой
Вспыхнет в дальнем сумраке
Над пустыней дикою;
То, знакомым голосом,
Кличет утомленного. . .
То, за темной рощею,
В час полудня знойного
Зажурчит и по полю
Побежит, сверкаючи. . .
То, за синей тучею,
Свежит блеском радуги
Светит, улыбаючись. . .
То быстрее молнии
Возлетает на горы
И блистает девою
Стройной, величавою,
И зовет унылого
Голосом и знаками,
По пути тернистому,
В новый край, неведомый,
К людям — в даль туманную,
В области, кипящие
Жизнью и заботами. . .
Кто же, друг мой, гений твой?
Как назвать безвестного?
Отгадай, придумай ты;
А твою богиню я
Назову — *надеждою.*

<1820>

УСЛАДОВА ЛИРА

Баллада

Верна была Усладу лира
В его тиши;
Он променял все блески мира
На мир души!
Он не позорил чистой лиры
И, лести враг,
Пред вами, грозные кумиры,
Не падал в прах!
Но, растерзав земные узы,
К звездам летел,
И, пылкий друг свободной музы,
Он сладко пел:
Великолепную природу
И дивный свет,
Души высокую свободу —
И был Поэт!
И добродетель в песнях громких
Прославил он.
«Узнают ли о них потомки?
Всё в мире сон! —
Так говорил не раз унылый, —
Здесь всё на час!»
И, не допевши песни милой,
Поэт угас!
Но весь не умер он, и *лира*
Еще стройна;
И только в области эфира
Взойдет луна
И струн дотронется лучами,
Дрожат они —
И вспыхнет жизнь на них, и сами
Поют одни!
Как прежде — всё поют природу,
Добро поют
И удивленному народу
Урок дают!
И лиру розами венчали,
Дивяся ей,

И благовонней розы стали,
Цветя на ней!
И вот, кругом градов обломки,
Их блеск погас!
Но слышат всё еще потомки
Той лиры глас!

<1821>

ПРУД И КАПЛЯ

Аполог

Заглохший осокóй и весь, как паутиной,
Подернутый зеленой тиной,
Дремал ленивый пруд. В звездах лазурный свод;
Но жалкий он слепец, не видит звезд мерцанья,
Ни ласковой луны приветного сиянья.
И долго было так, но вот
Наскучил он сносить светил пренебреженье;
И, потеряв последнее терпенье,
Языком вод заговорил,
И близкую свою соседку он спросил —
Соседку капельку, что на листок упала
И ясной звездочкой, качаяся, сверкала:
«Что за счастливица ты, капелька, у нас?
Так светишь, так блестишь, ну словно как алмаз!
Тебе и солнце угождает:
Вот, сжавшись всё, в тебе, как в зеркале, сияет!
По солнцу ль зеркало! — Я сажен пять в длину,
Да три, а может быть и больше, в ширину;
Однако ж всё во мне не видны горни своды;
И хоть бы раз луна в мои взглянула воды!
Скажи, пожалуйста, любимица светил,
За что же я им так немил?»
А капелька в ответ: «Давно я это вижу,
Сказала б, да боюсь: я, может быть, обижу!» —
«О нет!» — «Так слушай же: причина тут проста:
Ты засорен — а я *чиста!*»

<1822>

ГОСТЬЯ НЕНАДОЛГО

(К Дориде)

Дорида! ты свежа, как молодой цветок;
Твой стан как стебель розы гибкой;
Как ты мила своею детскою улыбкой,
Легка, как на лугах душистый ветерок.
Волшебница! кругом тебя очарованье!
Он сладок мне, как жизнь, с тобой свиданья час!
И груди молодой, под дымкой, трепетанье,
И тихий свет прекрасных глаз
(В них *что-то* милое, небесное светлеет),
И русые власы... и всё в тебе краса!
Но пред тобой желанье цепенеет,
И страсть к тебе чиста, как небеса.
Моя душа твою, Дорида! душу слышит:
О друг земной! в тебе небесный ангел дышит,
Он прилетел с надзвездной вышины
И, притаясь, живет под тленной пеленою.
И от тебя, как от младой весны,
Мне веет негой неземною...
Но, милый друг! мне в мысль приходит иногда,
Что на земле небесное непрочно,
Что ты у нас как будто ненарочно,
И что зовут тебя — *туда!..*

<1822>

МОИ ВОЖАТЫЕ

Ко мне прекрасные девицы,
Как гости, с ласкою, пришли
И повели меня младые
С собой в зеленые луга.
Тогда весна ласкала землю,
Всё пело радость, всё цвело.
Ручьи как будто говорили,
Шептали с кем-то дерева;
Заря, как пламя, разгоралась
На дальней синеве небес,
И ароматный, теплый вечер
Меня кропил своей росой,

Как милая любви слезами.
Ходили долго мы в лугах;
Всё было ровно перед нами.
Я не видал стремнин и гор.

И привели меня девицы
В палаты пышные с собой;
И сами белыми руками
Мне постилали мягкий одр,
И сожигали ароматы
Кругом в кадильницах златых;
И подносили мне в покалах,
Как радость, светлое вино;
И тихо милые шептали:
«Усни, счастливец молодой!
Будь верен нам, мы будем долго
Тебя лелеять и беречь!»

И я уснул — и в сновиденьи,
Ничем не связанный, как мысль,
Лечу, несытый, в поднебесной
Из царства в царство — и везде
Меня ласкали, мне сулили
Богатство, счастье и покой,
И я, как гость в пиру роскошном,
Из полной чаши радость пил
И таял в неге... Вдруг раздался
Летящей бури страшный свист, —
Мне показалось, своды неба
Упали с треском надо мной!

И я проснулся! О, превратность!
Еще не верю я глазам...
Где вы, обманщицы младые?
Где светлый дом, где пышный одр,
Где сердцу милые обеты?..
Всё было сон — я на скале,
Нависшей над пучиной черной,
Лежал, один, в глубокой мгле!
Ужасно море клокотало,
И яркой молнии бразды
Ночное рассекали небо,

И полосами по волнам,
Как змеи, с свистом, пролетали...

Как мразом стиснутый поток,
Я цепенел... Власы вздымались;
В стесненных жилах стыла кровь,
И замирала грудь... но кто-то
Меня могущею рукой
Отвлек от пропасти кипящей,
Я стал свободен... я спасен...
И он шепнул мне, мой спаситель:
«Слепец! ты над пучиной спал!
И ты погиб — когда поверишь
Еще *надеждам* и *мечтам!*»

<1822>

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕВОЗВРАТИМОЙ

Весна моих воскресла лет;
Играют чувства, веет радость,
И новой жизнию цветет
Моя тоскующая младость!
Затихнул шум моих тревог,
И вся душа моя — восторг!
Она — сей гость, давно бывалый, —
Как прежде, в грудь ко мне идет;
Но, ах! там прежнего не стало:
Того уж сердца не найдет!
Все бури жизни в нем кипели
И дымный огнь страстей пылал,
И там пороки свирепели,
Где светлый трон ее стоял!
Приди ж, мой гость, издавна милый
Мой добрый ангел прежних дней,
И оживи мой дух унылый
Небесной ласкою своей!
Увы! С тех пор, как был с тобою,
Уж стал и сам я не собою...
Всё в жертву людям и судьбе!
Одна светла осталась совесть.
Пусть сердце грустное тебе

Само свою расскажет повесть. —
Мечты рассеялись, как дым;
От слез отяжелели вежды,
И не сбылись мои надежды!
Как много летам молодым
Они хорошего сулили!
Как сладко с сердцем говорили!
Но сладость та была — обман!
С тобою всё мое сокрылось,
Как солнце в горы, закатилось,
И на душе лежит туман...
Но ты идешь... Душа светлеет,
И всё весною жизни веет!
С тобою твой волшебный мир
Ко мне так сладостно теснится,
Как будто небо в грудь ложится!
Я пью заоблачный эфир...
Людской измученную злостью
Ты душу зазовешь, как гостью,
На свой великолепный пир.
На миг обласканный тобою,
Уж примирился я с судьбою!
Весна моих воскресла лет;
Играют чувства, веет радость,
И новой жизнию цветет
Моя тоскующая младость!

<1823>

ЗАВЕТНАЯ КНИГА

В пустыне далекой был старец седой,
Пещера в утесе — жилище его;
И дуб устарелый и клен молодой
Укромную келью, шумя, осеняли,
И теплилась тихо на сумрачном своде
Лампада; в средине налой, и на нем
Лежала, как тайна, *заветная книга;*
И к ней только старец один прикасался.
Три части вмещала та книга в себе;
Три разные ленты те части делили.
Как свежая роза, алела одна;

Другая, как небо, была голубая;
Но черная третья — как врана крыло.
И с каждым рассветом пустынник-мудрец
С почтением к книге заветной подходит
И лист, но не боле, читает один.
И он уж за черной прочитывал лентой, —
Не много ему оставалось читать!
Читает — и книгу, со вздохом закрыв,
Идет он, склоненный в глубокую думу,
Как будто прощаться с природой. — Так мирно
И тихо в нем жизнь погасала, как день
На ясном, безоблачном небе. — И вот,
Пришел к нему гость из мятежного света:
То юноша свежий, как цвет молодой;
Румянец пылал на лилейных щеках,
И светлые искры сияли в очах,
И кудри играли вкруг шеи прямой.
«Отец! благодатью святой осени
Пришельца из бурного света. Открой
Высокую тайну, скажи мне, мудрец:
Как в мире мятежном без бури прожить?
И где обитает блаженство? скажи:
Где с пылкой душою я счастье найду?
Пусть мудрости хладной созрелый совет
Кипящую жажду в груди утолит!
Напой меня светом вещаний святых:
Открой, благодатный, мне тайны судьбы
И жизни науку!» И старец в ответ:
«О посланный сердцу наследник младой!
Приди, мой желанный! и тайну прими,
Высокую тайну... В сей книге она:
Вся жизни премудрость в сей книге святой,
Заветной, — ты каждый читай ее день,
И лист, но не боле, для каждого дня!
Не более, помни!..» С сим словом почил,
Как тихий младенец, столетний мудрец.
И было преданье, что ангел пустынь
Восхйтил земные остатки его!
Вот ночь протекает, как вечность!.. С зарей
К заветной подходит пылающий чтец
И к розовой ленте душою летит.
Читает, и сердце весельем зажглось:

Всё розовым светом сияет в очах;
Все жилы, как струны, дрожат — и ключом
Кипит молодая, румяная кровь.
Улыбка играет на свежем лице;
Он, кажется, слышит надежды привет
И голос знакомых мечтаний: он весь
Восторг и желанье... Уж лист пробежал
И дале, всё дале, как вспыхнувший огнь
При веяньи ветра на поле сухом;
И вот в упоеньи всю первую часть
Прочел, поглотил он — и розовый свет
Угас, и поблекла улыбка... Он стих;
Но слышит он новый заманчивый глас:
«Всё далее, дале!» Эфир голубой
Сияет, как небо, в заветных листах.
И всё постоянней и всё там верней,
И счастья обеты слышнее — и цель
Вдали, за туманом, яснее горит...
Спокойнее взоры чтеца, — но уныл
И пасмурен стал он, когда перешел
За черную ленту... Там вялая жизнь
Как сонные воды в пустынных брегах...
Прочел — и со вздохом воспомнил завет,
И тихо побрел он к родной стороне.
Но там ненадолго он гость у друзей!
Он сохнет, он вянет отцветшей душой;
Линяет румянец на впалых щеках,
И жизнь догорает во взорах — и вот,
Унылый, он рано в могилу сошел.
Постигнули тайну кончины его...
И братья и други по летам забав,
Вздыхая, жалели о пылком чтеце,
Что книгу он жизни так рано прочел!

<1824>

ВИДЕНИЕ В ЛУНЕ

Заря, алея, угасала
Вдали, мелькая сквозь леса;
И тихая вечерняя роса,
Как благодать, сошла и засияла!

И день протек с кипящей суетой.
Всё ароматами и негою дышало;
Но мне чего-то всё недоставало:
И я страдал — сердечной пустотой.
Вдруг вся душа моя мятется и пылает...
Ее зовут с эфирной вышины!
И вот прекрасный круг безоблачной луны!
Она из-за лесов, как лебедь, выплывает,
И в ней горят черты знакомой мне красы:
Эльмира! это ты, в своем жилище новом!
Твои волнистые власы
Смешались с голубым твоим покровом...
Задумчивая! что мне скажешь ты без слов?
Что скажут мне твои уныло-хладны очи?..
Но ты скрываешься, как легкий призрак ночи,
В серебряном дыму летящих облаков!

<1824>

МОРЕ

Душа томится в вихрях света;
Мне душен воздух городской;
И я, оставя за собою
Заботы, пыль и тесноту,
Спешу на дикий берег моря —
На зов понятной мне мечты...
Я вижу синее пространство
В его роскошной широте;
И мне повеял ветер свежий,
Как будто с родины моей!
Златое сердце утопало
В волнах багряных облаков,
И флаги алые ходили
Под дымным синевом небес;
И я увидел, как знакомца,
Долину влаги голубой;
И необъятное пространство
Так нравилось моей душе,
Как будто что-то ей родное...
Не знаю... или, может быть,

И знаю... но могу ль сказать
Языком скудным человеков
О том, чей дивный образ нам —
Необозримое пространство!
И почему к себе всегда
Манит фантазию поэта
Румянцем блещущая даль?..
Я слушал плеск валов шумящих
И в беспредельность улетал:
Она была мне как свобода,
Когда она в волшебных снах
Приснится узнику младому...
Я, сладкой свежестью дыша,
Как будто молодел душою;
И, томность светской суеты
Стряхнув с себя, как пыль градскую,
Я весь как обновленный стал!..
Но звезды вечера зажглися,
И с легкой ношей сладких чувств
Я крался сквозь толпы народа,
Робея счастье обронить...
Ах, если б в шуме сих кипящих
Расчетов, выгод и страстей,
Где сохнет сердце, вянут чувства,
Ах, если б век я был так свеж
И так в восторгах беспределен,
Как ты, кого теперь пою,
Долина моря голубая!

<1825>

К НОЧИ

Приди, о ночь! приди ко мне,
Как на условное свиданье!
Пусть гаснет пылкое страданье
В твоей прохладной тишине!
Ты, сизою своей одеждой
Окутав бедную постель,
Уложишь спать меня с надеждой...
Я сплю... И тайная свирель

Играет где-то дивны звуки:
И не она ль манит мечты?
И не она ль отводит муки?
Кто вас, воздушны красоты,
В приют тоски моей сзывает?
Кто так природу украшает
В моих заплаканных глазах?
Каких небес я вижу своды?
Картины счастья и свободы,
Лимон и лавры на холмах...
Но шум вломился с суетою,
И прочь с очей мечты и лень...
Опять идет мой грустный день
С своей несносной долготою...

<1825>

ПЕРЕМЕНА

(К Глицерии)

Глицерия! твой друг тебя не узнает:
Что шепчешь, с лаской, мне приветными устами?
Зачем кругом тебя ласкателей народ!
Нет! ни твоя глава, увитая цветами,
Ни в соке роз потопленны власы
Меня в твои не завлекут оковы.
Где недоступные твои красы?
Где скромный, светлый взор, для дерзкого суровый?
Где делася души святая тишина,
Невинность милая, как счастье неземное?
Ты вся страстей и суеты полна!
Ах! где твое прекрасное былое?..
Какой преступный огнь горит теперь в очах
И свежая твоя куда девалась младость,
Когда в твоей душе, как друг, гостила радость,
И тихая молитва на устах,
Как первое благоуханье розы?..
Мила улыбка нам, блеснувшая сквозь слезы:
Так прежде ты была, Глицерия, мила,
Когда младенческой невинностью цвела!

<1825>

МИНУТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Кто ты, прекрасный посетитель,
Какого мира тайный житель?
Ты весел, призрак молодой,
Как светлый месяц над водой:
Я вижу образ девы чистой;
Она легка, как ветерок,
И на челе ее душистый
Белеет розовый венок!
Ты, миловидная, украдкой
Ко мне нежданная сошла,
И тонет сердце в неге сладкой,
И вся душа моя светла.
Ужель забвенной лиры звуки
Иль нестерпимы сердца муки
Тебя, мой гость, свели с небес
К моей ладье в пучине зыбкой?
Но грусть снята твоей улыбкой,
И мрак с души моей исчез.
Ты чистою своей рукою,
Зачерпнув жизни в небесах,
Ко мне, убитому тоскою,
Ко мне, утопшему в слезах,
Как луч от ясных звезд, слетела
И улыбалась мне и пела...
И как те песни сладки мне
О неизвестной стороне!
Какие свежие долины
Я видел в синей, дальней мгле
Иль в очарованном стекле?
Твои волшебные картины
Как светлой юности мечты:
В них, полны жизнью, дышат розы,
Как перси юной красоты!
И, как любви счастливой слезы,
Горит жемчужная роса.
И голубые небеса
Верхи лесов и гор лобзают...
Бывало, часто налетают
К моей доверчивой душе
Мечты о счастии прекрасном,

Когда я в сумраке ненастном
Дремал в походном шалаше.
Ты, дева, золотить любила
Те перелетные мечты,
И ласково с чела сводила
Следы забот и суеты,
И проясняла вид угрюмый
Какой-то сладкой, тайной думой.
С любовью пылкой и святой
Лобзал я пояс золотой
И белую, как день, одежду.
Кто ж ты, приветная краса?
Твой дом какие небеса?
Но я узнал в тебе — *надежду*...
Ах, погости теперь со мной,
Как прежде с юношей гостила,
Когда мне вести приносила
О сладкой жизни неземной!
Но тени ночи пролетели,
Светила неба догорели,
Настал земной тревоги час —
И дева скрылася от глаз.

<1825>

ТЕМНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Я помню так, как давний сон,
Мое златое время детства,
Когда еще мне чужд был стон,
Когда не знал я слова: бедства...
В тех незапамятных годах
Терялся часто я в мечтах,
Глядя на голубые своды
Как будто ведомых небес,
На виды сельские природы
И на спокойный темный лес
Под золотою полосою,
Когда день летний догорал
И свежей вечера росою
Благоуханный луг сиял...

Я помню, с каждою весною,
Откудова, не знаю сам,
Являлась дева песней к нам,
И часто занималась мною
Она, прекрасная как день;
Я помню стан, под флёром, гибкой
И алые уста с улыбкой.
Как пролетающая тень,
Она без шуму приходила,
С любовью в голубых очах,
И на серебряных струнах
Златые песни выводила.
Я помню, часто я любил
Сидеть у ног певицы сладкой,
И, дух переводя украдкой,
Я жадно песнь ее ловил
И целовал у девы руки...
И были, в детской простоте,
Мне непонятны песни те;
Но — усладительные звуки,
Как дар высокий и святой,
Берег в душе дитя счастливый, —
Так дождь пшеницы золотой
Ложится в лоно мягкой нивы.
И я с тех пор в душе носил
Залог священного посева...
От нас сокрылась скоро *дева*.
Уж я нигде не находил
Моей пленительной подруги!
Промчались детские досуги.
Я рано с грустью стал знаком:
Сказав в слезах «прости» отчизне,
Я рано брошен в бурю жизни,
И стал мне чужд отцовский дом.
Но что-то в памяти сверкало,
Мечтой неясною маня,
И мнилось, в сердце у меня
Как будто что-то созревало.
Я рос на поле боевом,
Труды и дальние походы
Снедали дни мои и годы:
Кругом грозы военной гром,

И со врагом дневные драки,
И, ночью, светлые биваки,
И грады пышные в огне —
Вот всё, что было близко мне!
Но браней смолкнула тревога,
Отпразднован победы пир;
И мне тиха была дорога:
Я шел украдкой в новый мир
Искать душе усталой мира...
Мне невзначай попалась лира!
Я в первых песнях пел любовь
И прелесть пышную природы,
И, чудеса сердечных снов,
Мечты блаженства и свободы
Ласкали юного певца...
И позже — в горестные лета,
Узнав вблизи коварство света,
Людей холодные сердца,
Лишенный счастья и покою,
Высокой вдохновен тоскою,
Я пылкой жаждою горел
Взноситься мыслью окрыленной
В пределы тайные вселенной;
И с гладом сердца я летел
К нему — строителю природы;
И, выше созданных миров,
Где нет телесности оков,
Я в беспредельности свободы
Мой дух усталый освежал,
И горним солнцем позлащал
За мной влачащиеся узы.
Но никогда от ранних лет
Ко мне не приходили *музы*,
И мне неведом их привет;
Безвестны тайны песнопенья,
Пою по сердцу, без уменья...
Но что ж полна душа моя
О ком-то памяти священной!
Что б ни запел, то слышу я,
Всё песни *девы* незабвенной.

<*1825*>

СТАРЕЦ

Окончив тяжкую работу
Заботной, грустной жизни сей,
Он празднует свою субботу
В спокойной совести своей!

Он знает счастия обеты
И мрак изгибистых дорог,
И что сулят кипящи леты
В мятежной области тревог.

Он отжил для подлунной жизни,
И часто в дивных, сладких снах
Он видит прежний край отчизны
В каких-то дальних сторонах.

Окончив тяжкую работу
Заботной, грустной жизни сей,
Он празднует свою субботу
В спокойной совести своей!

<1825>

МОТЫЛЕК

В весенний вечерок приятный,
Как сизый сумрак мир одел,
На розе пышной, ароматной
Усталый мотылек присел;
В отрадах, в море наслажденья,
Счастливец нектар пьет забвенья...
Но вдруг соседственный чертог
Огней рядами осветился,
Безумец блеском ослепился
И одолеть себя не мог.

Летит, сияньем увлеченный,
Кружит, порхает близ свечи.
Куда? — безумец заблужденный!
Остановись! .. Сии лучи...
Но он уж в них, уж он пылает,
Дрожит, горит — и умирает!

Напрасно с утренней зарей,
На розе пробудясь душистой,
Подруга раннею порой,
Ища дружка в траве росистой,
Порхает в грусти по цветкам
И день проводит весь в тревоге.
Его уж нет! .. погиб в чертоге
В урок и страх всем мотылькам.

Так жаждой почестей влекомы,
Оставя тень родных лесов
И мирны отческие домы,
Где ждут нас дружба и любовь,
Прельщенны ложными лучами,
Бежим, слепые, за мечтами,
Бежим у славы взять венец;
О, как мы с мотыльком тут сходны!
Мы также к заблужденьям сродны:
От них ему и нам конец.

<1817>

БЛЕСК ОЧЕЙ

Приятно алых зорь мерцанье...
Прелестно тихое сиянье
Луны прекрасной, молодой,
Когда над зе́ркальной водой
Стоит, и лик ее дрожит на дне потока,
Иль *девой чистою,* в безмолвии ночей,
Гуляет в голубых полях востока
В богатых тканях из лучей...
Но, друг мой, ангел мой, мне *блеск твоих очей*
И розовой зари и лун младых милее.
Что пышной радуги светлее,
Когда в воздушных высотах
Горит она в семи блистающих цветах
И, небо оттеня прекрасной полосою,
Любуется своей красою,
Смотрясь в серебряный ручей!
Но мне всего милей, мне — *блеск твоих очей!*
Я видел солнце на восходе,
Когда, как будто чрез окно,
Глядит с улыбкою из-за холмов оно
И дремлющей еще природе
Шлет утренний привет...
Я зрел потом его великолепный свет,
Когда и куст простой, осыпанный росою,
Сияет дивною красою
В алма́зах, в пурпуре и в блеске богачей.

Всё мило. Но милей мне *блеск твоих очей!*
Я зрел дрожащее сиянье звезд в эфире
В часы спокойствия в безмолвном мире;
Я видел дивную игру лучей
В кристаллах и в сребре фонтанов и ключей!
Прекрасный, пышный блеск! Но *блеск твоих очей*
(Что делать мне?) — луны, зари и звезд милее! ..
Ах! Много в жизни я терпел, томясь, стеня...
Но, *очи милые!* Смотрите на меня —
И будет жизнь моя луны младой светлее! ..

<1818>

ФИАЛКА И ДУБЫ

Басня

В глуши под хворостом, в долине
Фиалка на судьбу задумала роптать:
«За что так счастливы там дубы на вершине?
Куда им весело на высоте стоять!
Для них и свет открыт, они и к солнцу ближе!
А я! что может быть моей здесь доли ниже?
Мне, право, жребий мой постыл! ..»
Еще не кончила — вдруг страшно бор завыл —
Стемнели небеса — и ветры налетели:
В гремящих тучах блеск!
В лесах дремучих треск!
И дубы гордые, шатаясь, заскрипели! ..
Фиалка слышала их вопль, их тяжкий стон;
Но слышала вдали и словно как сквозь сон:
Ей буря в высоте ревуща не вредила.
Когда ж всё стихло в небесах,
Она увидела, что буря на холмах
Все дубы с корнем вон и лоском положила...
И тут-то распознал неопытный цветок,
Что доля мирная, что тихий уголок
Надежней и верней, чем горды те вершины,
Где часто падают под бурей исполины.

<1818>

К СНЕГИРЮ

Красногрудый друг мой милый!
Отчего ты всё грустишь,
Ноешь в песенке унылой,
Иль насупившись сидишь?
В бедной хижине смиренной
Ты не пленник заключенный,
Ты хозяин, как и я!
Тесной клетки ты не знаешь,
Где задумал, там порхаешь,
Всем мила здесь песнь твоя.

Не тебе ль плачу я дани
Всем, что любишь есть и пить?
И зато у нас нет брани,
Если вздумаешь шалить
И, вспорхнув от сна с зарею,
Раннею кружась порою,
Сядешь прямо на меня:
В волосах моих играешь,
Резво носиком щелкаешь,
Сладкий сон от глаз гоня.

Чуть осердиться сбираюсь,
Ты вспорхнул — и был таков!
Вдруг запел — я улыбаюсь,
Ты прощен! здесь нет силков:
Здесь жероль цветет душиста,
И вода в фарфоре чиста,
Здесь на солнце, пред окном
Ты купаешься привольно
И, натешившись довольно,
Брызжешь светлым вкруг дождем.

Отчего ж так часто, милый,
Грудью бьешься ты в стекло?
Вместо песен — крик унылой?
Отчего? — Здесь так тепло!..
В гости просишься к свободе!

Полно! взглянь: во всей природе
Скука — жизни искры нет!
Стужа, вьюги, бури снежны...
Здесь с тобой все дружны, нежны...
Здесь покой, тепло и свет!

Ах! а тамо ястреб лютый
Бедных птичек так и ждет;
Из засад, злодей, минутой
Налетит и заклюет!
Ты погиб! «Мне всё известно, —
Говоришь ты, — но где тесно,
Там свободы нет святой!
Птичкам страж — их мать природа:
Все кричат мне, что свобода
Лучше клетки золотой!»

Прав ты, прав, о сын природы!
Вольным всюду жизнь сладка:
Где не светит луч свободы,
Хлеб постыл там, соль горька!
Что сказал ты, сам я то же
Гордому скажу вельможе:
Не пленяюсь я мечтой,
Быть свободным в бедной хате
Лучше, чем в большой палате
Жить, как в клетке золотой!

<1818>

ДИТЯ И ПТИЧКА

Басня

Певица пеночка, летая в чистом поле,
Вдруг видит сад... «Мне в нем хотелось быть давно!» —
Порх, порх — и вот уж там... В сад отперто окно:
Она к окну, в окно — и, ах! в неволе!
Боярское дитя
В летунью пташечку то тем, то сем швыряет;

Раз мимо! .. Вот ушиб и, за крыло схватя,
Бедняжку тормошит, таскает.
«Ну, птичка! — говорит, — ну взвейся, ну запой».
А птичка глазки вверх, дрожа, век кончит свой.
То видя, чувствует дитя в душе мученье,
И в слезы и в тоску, а няня — поученье:
«Тебе бы пташечку легонько изловить,
Ее беречь, за ней ходить,
Ее кормить, ее поить;
А птичка стала бы и в зимние морозы
Весь дом наш песенкой весенней веселить.
Теперь уж не помогут слезы,
Всему виною сам:
Ах, снявши голову, не плачь по волосам!»

О басенка моя! туда, туда, к вельможе,
Чтоб счастием сие испорченно дитя,
Тебя хоть невзначай прочтя,
Что с бедной птичкою, с людьми б не делал то же.

<1819>

К СОЛОВЬЮ В КЛЕТКЕ

Меркнет день, лазурь темнеет,
Погасает блеск небес,
В шумном мире всё немеет,
Дремлет тихо синий лес;
Встал и месяц за горою...
Ах, бывало сей порою,
Милый сын весенних дней,
Под черемхою душистой,
Где ручей журчит сребристой,
Здесь певал ты, соловей!

Сколько раз меня, бывало,
Сколько раз друзей моих
Сладкогласье восхищало
Песней радостных твоих!
Замолкали все пернаты
Вмиг, коль ярки перекаты,

Треск, урчанье по зарям,
Песни звонкие, игривы,
Свисты, стоны, переливы
Растекались по кустам!..

Ах, давно ль прелестна Хлоя
Восхищалася тобой?
В час прохлады, в час покоя,
Перестав, на миг, рабой
Быть законов скучных света,
Без затей легко одета,
Без толпы рабынь, рабов,
Шла гостить одна — к природе,
И внимать, как на свободе
Громко славишь ты любовь.

Ты гремел — почто же, милый,
Вдруг замолк? и скучен стал?
Дикий свой приют унылый
Ты на клетку променял?
Клетка пышная богата,
Будто храм или палата
Раззолочена она!
Тут хрусталь с водою чистой,
Корм, песок с травой душистой,
Свет чуть брезжит из окна.

Чем же, друг мой, недоволен?
Отчего тебе грустить?..
Ах! — кричишь ты, — я неволен,
И могу ль веселым быть?
Я в родном кусту на ветке
Ночь насквозь певал, но в клетке
С горя чуть могу дышать...
Всяк поет в счастливой доле:
Счастье — в воле, гроб — в неволе.
Нет, не петь мне, — умирать!

Так, священная природа,
Твой закон и сердца глас
Нам вещают, что свобода
Есть вторая жизнь для нас!

Скромный жребий в мирной доле
Предпочтя златой неволе,
Подружусь я с простотой, —
Пусть сердца, пусть души низки,
К пресмыканью, к рабству близки,
Обольщаются мечтой...

Пусть тираны строят ковы
И златят цепей свинец,
И приемлют их оковы
Раб безгласный, низкий льстец.
Поруганье пья как воду,
Дар небес — свою свободу —
Предают за дым они!
И, лобзая тяжки длани,
Платят век покорства дани
И влачат без жизни дни!

Пусть земные полубоги,
В недрах славы и честей
Громоздя себе чертоги,
Будут в них рабы страстей!
Для чего мне дом огромный?
Дайте мне шалаш укромный
Из соломы и ветвей,
Дайте *дружбу* и *свободу* —
Стану петь, хвалить природу,
Как на воле соловей!

<1819>

ШАРАДА

На тучных пажитях Авзонии цветущей,
Раздвинув злачные брега,
Часть первая моя шумя кропит луга
И поит пышные града и скромны кущи —
Страну событий и чудес;
И в зеркале ее высокий свод небес
Безоблачен, чуть зыблясь, почивает;

И в роще лавровой златой лимон мелькает....
Моя *вторая часть*
Над небом и землей свою простерла власть;
Всему закон — ее всемощны произволы;
Воззрит — и сонмы звезд бледнеют и дрожат.
Речет — и царства в прах! Низвержены престолы!..
Коснется безднам — и кипят!
Велит — и цепью гор глубоки станут долы...
А целое мое ни пышностью парчей,
Ни блеском крупных перл, ни искрометна злата
Не скроешь ты, *Оргон!* мой сын и сын разврата,
От зорких божеских очей...
Сбери кругом себя весь блеск честей и славы,
Испей все прелести и неги и забавы,
Сдвинь море и взнеси до неба пышный дом,
Нигде не избежишь моей *второй* ты *части:*
Твою преступну грудь грызут строптивы страсти,
И на чело твое давно прицелен гром.

<1819>

ПРИЗЫВАНИЕ СНА

Заря вечерняя алеет,
Глядясь в серебряный поток;
Зефир с полян душистых веет,
И тихо плещет ручеек.
Молчат поля, замолкли селы,
И милый голос филомелы
Далеко льется в тишине...
В полях туманы улеглися;
Дрожащи звезды в вышине
За легкой дымкою зажглися...
Но мне прелестный вид небес,
Земли роскошные картины,
Ни сей цветущий свежий лес,
Ни миловидные долины
Не могут счастья принести.
Не для меня красы природы,
И вам, мои младые годы,
Вам в тайной грусти отцвести!..

Приди ж хоть ты на глас призывный,
В своих мечтах и горях дивный,
О друг несчастных, кроткий сон!
Приди — и ласковой рукою
Склони печального к покою
И утоли сердечный стон!
Меня зовут в страну мечтаний...
Не твой ли то приветный глас?
Сокрой от утомленных глаз
Картины бедствий и страданий...
Туда! к сияющим звездам,
Из сей обители порока,
Из-под руки железной рока,
Туда, к надзвездным высотам!..
Ах, покажи мне край прелестный,
Где истина, в красе чудесной,
В своих незыблема правах;
Где просвещенью нет препоны,
Где силу премогли законы
И где свобода не в цепях!..
Приди!.. Но ты не внял призванье,
Горит досадный утра свет,
И новый день меня зовет
Опять на новое страданье!..

<1819>

К ПУШКИНУ *

О Пушкин, Пушкин! Кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
Какой из жителей небесных,
Тебя младенцем полюбя,
Лелея, баял в колыбели?
Лишь ты завидел белый свет,
К тебе эроты прилетели
И с лаской грации подсели...
И музы, слышал я, совет
Нарочно всей семьей держали

* Стихи сии написаны за год перед сим, по прочтении двух первых песней «Руслана и Людмилы».

И, кончив долгий спор, сказали:
«Расти, резвись — и будь поэт!»
И вырос ты, резвился вволю,
И взрос с тобою дар богов:
И вот, блажа беспечну долю,
Поешь ты радость и любовь,
Поешь утехи, наслажденья,
И топот коней, гром сраженья,
И чары ведьм и колдунов,
И русских витязей забавы...
Склонясь под дубы величавы,
Лишь ты запел, младой певец,
И добрый дух седой дубравы,
Старинных дел, старинной славы
Певцу младому вьет венец!
И всё былое обновилось:
Воскресла в песни старина,
И песнь волшебного полна!..
И боязливая луна
За облак дымный хоронилась
И молча в песнь твою влюбилась...
Всё было слух и тишина:
В пустыне эхо замолчало,
Вниманье волны оковало,
И мнилось, слышат берега!
И в них русалка молодая
Забыла витязя Рогдая,
Родные воды — и в луга
Бежит ласкать певца младого...
Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!..

1819

ВЕСНА

Уж ласточка к гнезду послышала влеченье,
И *роза вспыхнула* на ветке молодой,
И дышит негою черемха над водой,
И соловья гремит по рощам пенье...

Почто ж в душе моей волненье?
Почто бежит души покой?
Судьба железною рукой
Влечет меня в тревоги света
От милой сельской тишины:
Увы! скорей, чем блеск весны,
Исчезнут в бурях жизни лета!

<1820>

ШАРАДА

Слог первый мой везде есть признак превосходства.
Вторая часть нужна для пищи, для дородства,
Нередко и для книг, а чаще для бумаг;
Для лакомых она источник лучших благ.
Что ж *целое мое?* — Всегда жилище власти.
И благо, где на нем, смирив кичливы страсти,
Спокойно восседит незыблемый *закон:*
Тогда ни звук оков, ни угнетенных стон
Не возмущают дух в странах, ему подвластных,
Полны счастливых сел и городов прекрасных,
Любуются они красой своих полей,
И солнце, кажется, сияет им светлей...
Но горе, где, поправ священные законы,
Забыв свой долг, презрев граждан права и стоны,
Воссядет равный им с *страстьми* — а не закон:
Там вмиг преобратит строптивой властью он
В ничто — обилья блеск, луга и нивы — в степи,
И детям от отцов наследье — грусть и цепи;
И землю окропят потоки горьких слез,
И взыдет стон людей до выспренних небес!

<1820>

ГРЕЧЕСКИЕ ДЕВИЦЫ К ЮНОШАМ

(Из Антологии)

Счастливцы юноши, он ваш, сей пышный мир!
Всё вам — венки и ласки славы!
И молодая жизнь для вас на шумный пир
Сзывает игры и забавы...

Святой огонь горит у вас в очах;
Как вдохновенные, на градских площадях
Вкруг вас кипящему народу
Вы хвалите в своих возвышенных речах
И славу пышную и милую свободу...
А наш удел: в безвестности, в тиши
Томиться пылкою мечтою —
И, погасив в слезах огонь младой души,
Без жизни жить с сердечной пустотою!

<1821>

К НЕДОСТОЙНОМУ БЕССМЕРТИЯ

(Из Антологии)

Ни позлащенна медь, ни мрамор величавый,
Ни плеск толпы, ни взор приветливый царей,
Ни пышный блеск твоей мимотекущей славы,
Ни ароматный дым возженных алтарей
Тебя, фортуны сын, рабов толпою льстивой,
От Парки бледныя ничто не сбережет!
Ничто! и ты, смутясь, уж смотришь боязливо
И слышишь — тайный рок в *безвестное* зовет...
И что ты унесешь от жизни сей с собою?
И что оставишь ты наследием в веках?
Умрешь — и всё, что ты, умрет для нас с тобою,
И не падет слеза на твой забвенный прах!..

<1821>

ПРОЩАНИЕ С ЖИЗНИЮ

(Из Жильбера)

На пышном празднике у жизни милой
Я, грустный, прогостил один лишь только день
И гасну медленно... и над моей могилой
Никто слезой мою не успокоит тень!

Простите, мирные поля и вы, дубравы!
Где, в милой ссылке мне, душой я отдыхал!
И небо звездное — шатер наш величавый.
Природа дивная, прости, мой час настал!

Живите долго вы для сих красот священных,
Глухие к жалобам души моей друзья!..
Ах, будь им в сладость — жизнь! и жизнью насыщенных
Сомкни глаза их друг и грустная семья!

<1821>

СУДЬБА НАПОЛЕОНА

Он шел — и царства трепетали,
Сливался с стоном звук оков,
И села в пепл, града пылали,
И в громе битв кипела кровь;
Земля пред сильным умолкала...
Он, дерзкий, — скиптрами играл;
Он, грозный, — троны расшибал:
Чего ж душа его алкала?

Народы стали за права;
Цари соединяли силы;
Всхолмились свежие могилы,
И, вихрем, шумная молва:
«Он *пленник!*» Осветились храмы!
Везде восторг и фимиамы,
Народы — длани к небесам,
И мир дивится чудесам!

Гремящих полчищ повелитель,
Перун и гибель на боях,
Один — утесов диких житель,
Как дух пустынный на холмах...
Летят в пределы отдаленны
Надеждой флоты окриленны,
Все мимо — и никто за ним;
Как страшно самому с самим!
В душе, как в море, мрак и волны...

Как кораблей бегущих тень,
Исчезли дни, величья полны,
И вечереет жизни день...
«Чья *новая* взнеслась могила?»
Ответ: «Тут спит Наполеон!

И буря подвигов — как сон...
И с ним мечты, и гром, и сила
В затворе тесном улеглись!» —
«Быстрей, корабль, в Европу мчись! —
Пловец друзьям: — Смелей чрез волны
Летим с великой вестью мы!»
Но там, в Европе, все умы
Иных забот и видов полны...

И все узнали: умер он,
И более о нем ни слова;
И стал он всем — как страшный сон,
Который не приснится снова;
О нем не воздохнет любовь,
Его забыли лесть и злоба...
Но Греция встает из гроба
И рвется, с силой, из оков!
Чья кровь мутит Эгейски воды?
Туда внимание, народы:
Там, в бурях, новый зиждут мир!
Там корабли ахейцев смелых,
Как строи лебедей веселых,
Летят на гибель, как на пир!
Там к небу клятвы и молитвы!
И свирепеет, слыша битвы,
В Стамбуле гордый оттоман.
Растут, с бедой, бесстрашных силы,
И *крест* венчает *Термопилы!*
И на *Олимпе* — ратный стан!..
Молва и слава зазвучала,
Но — не о *нем*... в могиле *он*,
И позабыт Наполеон!..
Чего ж душа его алкала?

1821

ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ

Опять вас нет, дни лета золотого, —
И темный бор, волнуясь, зашумел;
Уныл, как грусть, вид неба голубого —
И свежий луг, как я, осиротел!

Дождусь ли, друг, чтоб в тихом мае снова
И старый лес и бор помолодел?
Но грудь теснят предчувствия унылы:
Не вестники ль безвременной могилы?

Дождусь ли я дубравы обновленья,
И шепота проснувшихся ручьев,
И по зарям певцов свободных пенья,
И, спутницы весенних вечеров,
Мечты, и мук ее — и наслажденья?..
Я доживу ль до тающих снегов?
Иль суждено мне с родиной проститься
И сладкою весной не насладиться!..

Между 1817—1822

СЕЛЬСКИЙ СОН

Как сладко в уголок укромный
Залечь, с спокойствием в душе,
На сенокосе — в шалаше,
Где виден, сквозь ветвей, надзвездный свод огромный
Иль светлый океан волнистых облаков!..
Как сладко в тишине приютной хаты,
В садах природы пить роскошны ароматы,
Дыханье молодых цветов!
Вблизи — ручей, грустя от тесноты брегов,
Как будто их раздвинуть хочет;
Вдали — протекший гром грохочет...
Но вот заря глядит в серебряный поток,
И утро под окно спускается украдкой,
И веет негой ветерок...
Как мил он мне, сей час мечты и неги сладкой!
Я слушаю сквозь сон, чуть помня сам себя,
Как милый сын весны, впервые полюбя,
Протяжно, томно ноет, стонет,
Как будто в сладкой неге тонет,
Всё тише, тише... смолк — и вдруг
Шумит, катит, дробит и щедро сыплет трели!

И песнь — то яркий треск, то милый глас
свирели —
Переливается, лелеет, нежит слух! . .
Весь воздух — аромат и пенье,
И весь я свежее, живое насажденье! . .

<1822>

КЛЯТВА

(Баллада)

Раз весенним вечерком
Лиза с милым шла дружком,
А луна светила. . .
«В небе век горит луна;
Буду век тебе верна!» —
Лиза говорила.
В небе всё горит луна;
Лиза другу неверна:
Друга разлюбила.
И печален, грустен он,
Позабыл и грусть и сон:
Грусть его убила.
А неверная с другим
Счастьем хвалится своим,
О былом забыла.
Но случилось вечерком
Тем же ей идти лужком,
А луна светила. . .
На нее глядит луна,
Будто жизнию полна —
В ней душа заныла. . .
Кто-то в сумраке мелькнул,
Кто-то ей шепнул:
«За обман — могила!»
И с тех пор, всё день за день,
Лиза сохнет. . . Лиза — тень!
Младость погубила! . .
И, печальная, конца
Как невеста ждет венца:
Так бледна, уныла.
Он настал — ее конец!

Саван белый — под венец,
    Брачный одр — могила!
И, вздохнув, прохожий стал,
Надпись гробную читал:
    «За обман — могила! ..»

<1822>

ГУСАРСКАЯ ПЕСНЬ

Друзья, залетные гусары!
Шумит военная гроза!
Готовьте меткие удары;
Посмотрим смерти мы в глаза!

Идут необозримым строем,
Но мы прорвем их тесный строй;
Повеселимся грозным боем,
Навалим трупы их горой...

Еще долина не отстонет
И гул не стихнет по горам,
А гордый враг в крови потонет,
И мы — опять к своим огням!

Там к небу теплые молитвы!
И спор веселый закипит
О чудесах протекшей битвы,
И ночь, как птица, пролетит!

<1823>

ПОДОКОНЬЕ

(С богемского)

Ночь придет. Знакомой мне
    Обойдя дорожкой,
Запою я в тишине
    Под твоим окошком:
«Спи, мой ангел! Добрый сон!
Пусть тебя лелеет он! ..

Будь он сладок, как твоя
Золотая младость!
Кто ж приснится?.. Если я —
Улыбнись, как радость!
Спи, мой ангел! Добрый сон!
Пусть тебя лелеет он!..»

<1823>

К ЭЛЬМИРЕ

Романс

(Подражание французскому)

Ты понимаешь ли, Эльмира!
Как можно в грусти исчезать?
В моей душе не стало мира
С тех пор, как стал тебя я знать!

Жестокий друг! не верь покою!
Под пеплом кроется пожар;
Чтоб людям не скучать собою,
Я взял у них притворства дар...

Пусть им сдается, что, беспечный,
И я про счастье говорю, —
Ах! им ли знать огонь сердечный,
Которым втайне я горю!

Нет! счастие мое непрочно,
Уж я ничем не дорожу:
Я улыбаюсь — не нарочно,
Ошибкой — весело гляжу!

Ты преврати мне сердце в камень,
Рассей волшебные мечты...
Ах! ты зажечь умела пламень,
А погасить не в силах ты!

Но, друг! мне *твой покой* — отрада;
Я притаю мою любовь
И буду гаснуть, как лампада
В долине смерти меж гробов...

<1824>

РАЗЛУКА

(С богемского)

В небе всё сияло,
В поле всё цвело;
Но тебя не стало —
Всё с тобой прошло!

Ты, как сон крылатый,
Милая, ушла!
Ты все ароматы
С собой унесла.

Одни только думы
Мой грустный удел:
Скорей бы угрюмый
Борей зашумел. . .

●

Но вечной весною
Цвети всё для ней!
Я ею одною
Живу — и без ней!

<1825>

СЕТОВАНИЕ

(С богемского)

Вот желтеют листья,
Забелели горы;
Что тебе, друг милый,
Что там в шумном граде?

В благовонном мае
Ты со мной рассталась!
И с тех пор я, грустный,
Всё живу надеждой. . .

Понеситесь, ветры,
За крутые горы;

Отнесите, ветры,
К ней сухие листья.

Пусть прочтет на каждом:
«Так он, бедный, вянет;
Так в нем сохнет сердце,
От любви тоскуя!»

<1825>

ПОДГЛЯДЧИК

(Подражание богемскому)

Ветер воет за горой,
Лес нагорный клонит;
Месяц выглянет порой
И опять потонет...
Ветер, вой! кипи, река...
Мне б хотя немножко
Посмотреть издалека
На твое окошко!
Буря выла, вихрь свистал,
Бор горел зарницей...
Я как вкопанный стоял
Под твоей светлицей...
Страшны бездны... как же быть!
Тайною дорожкой
Стану всё я приходить
Под твое окошко!..

<1825>

СОН РУССКОГО НА ЧУЖБИНЕ

Отечества и дым нам
сладок и приятен!

Державин

Свеча, чуть теплясь, догорала,
Камин, дымяся, погасал;
Мечта мне что-то напевала,
И сон меня околдовал...

Уснул — и вижу я долины
В наряде праздничном весны
И деревенские картины
Заветной *русской* стороны!..
Играет рог, звенят цевницы,
И гонят парни и девицы
Свои стада на влажный луг.
Уж веял, веял теплый дух
Весенней жизни и свободы
От долгой и крутой зимы.
И рвутся из своей тюрьмы
И хлещут с гор кипучи воды.
Пловцов брадатых на стругах
Несется с гулом отклик долгий;
И широко гуляет Волга
В заповедных своих лугах...
Поляны муравы одели,
И, вместо пальм и пышных роз,
Густые молодеют ели,
И льется запах от берез!..
И мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик — дар Валдая —
Гудит, качаясь под дугой...
Младой ямщик бежит с полночи:
Ему сгрустнулося в тиши,
И он запел про *ясны очи*,
Про очи девицы-души:
«Ах, очи, очи голубые!
Вы иссушили молодца!
Зачем, о люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца?
Теперь я горький сиротина!»
И вдруг махнул по всем по трем...
Но я расстался с милым сном,
И чужеземная картина
Сияла пышно предо мной.
Немецкий город... всё красиво,
Но я в раздумье молчаливо
Вздохнул по стороне родной...

<1825>

КАРТИНЫ *

ПАРОХОД. ПЛАВАНЬЕ ДНЕМ. ЧЕРТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ПРАЗДНИКА. НОЧЬ В КАЮТЕ И УТРО НА ПАРОХОДЕ

1

ПЛАВАНИЕ ДНЕМ

Всё взморье — серебро литое!
Погодный день! — и солнце золотое
Глубоко в зеркале воды горит!
Уж Петербург от нас, как пышный сон, бежит:
Чуть видны острова с зелеными елями,
И домы с флагами, и башни со шпилями. . .
На левом береге мелькает монастырь,
И *мыза Стрельная* с дворцом своим белеет;
Кругом по берегам то дачи, то пустырь;
Вдали *Кронштадт* и *Сестрорецк* синеет. . .
Спокойствие. . . погода. . . тишина,
И стекловидная поверхность вод яснеет,
Как ясный слог *Карамзина*,
Как верная земных событий повесть,
Как, в чувстве правоты, светлеющая совесть. . .
Наш пароход — особый мир!
Тут люди разных стран, чинов и разной веры:
Калмык и жид, красавицы и офицеры;
Играет музыка — как званый пир!
Близ нас и мимо нас беспечно реют челны;
За нами синие веревкой вьются волны. . .
Неясных дум и ясной веры полный,
Я думал: будь земля — огромный пароход,
Будь пассажир — весь смертных род, —
Друзья! спокойно плыть и в беспокойстве вод!
Откинем страх: тут правит пароходом
Уж лучше Берда кто-нибудь!
(Но Берду все и честь и слава!)
Итак — спокоен, смертный, будь!
Будь жизнь — доверенность, и будет путь — забава!
Не унывай! по-детски веселись!
И, доброе дитя, отцу добра молись!
Не рабствуй суете — крепись!
Без воли кормчего твой не погибнет волос, —

---

* Главные черты сих картин, для верности записанные на месте.

С такой надеждою — вся жизнь игра! ..
Покуда с палубы раздастся звонкий голос:
«Вот пристань, господа, гулять в саду пора!»

2

ЧЕРТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ПРАЗДНИКА

...Оно прошло, как сновиденье,
Сие блестящее круженье! ..
Картины дивные узористых огней...
Толпы *живых*... движение теней...
Сии огромные кипящие фонтаны,
Как в дивных сказках великаны,
И статуй золоченых строй,
И светлый дом над пышною горой,
И сад с зелеными лугами,
И водопад с кристальною игрой,
И длинный ряд дерев под светлыми дугами...
Исчезло всё, как думы... как мечты...
Остались в памяти разрывные черты...
Я слышу музыку... я вижу освещенье —
И двор царей... и чернь... несвязное движенье...
Всё повторяется и в слухе и в очах:
И храм с короною и буква *М* в лучах...
Я помню *пруд*, кругом его заборы —
И всё огонь! .. Огонь здесь вынизан в узоры!
И всё *волшебно* тут!
И с разноцветными огнями стклянки
И из огней богатые вязанки —
Всё потонуло в синий пруд...
И тонкою, кристальной пеленою
Плывет вода по *золотой* горе!
И даль горит в лучах и в розовой заре! ..
Как пышно на земле! Что ж в небе? Что с *луною*? ..
Как тень бледна,
Едва видна,
Что думала тогда забытая *луна*? ..
Мне показалося — она
Как будто ласково шепталася с огнями
И говорила им, с улыбкой и над нами:
«Красуйтесь, милые! а я свое найду:
Вы все погаснете... а я опять взойду!»

3

НОЧЬ В КАЮТЕ ПАРОХОДА

И пассажиров шумный рой
За полночь, позднею порою,
В каюты скромные теснится.
Иным, от тихой качки, спится...
Другим мешал уснуть колес гремучих шум;
Все, как свои, друг с другом говорили,
Сигары жгли, табак курили
И, для рассеяния дум,
Вино и грог и пиво пили...
Я видел, сквозь раствор окна,
Как в небе утреннем растаяла луна,
В воде удвоилась игривость...
Рассвет!.. светло.. у всех видна
В одежде небрежность и на глазах сонливость...

4

УТРО НА ПАЛУБЕ

Свежо!.. и тихо!.. и красиво!..
У нас, на палубе, всё дремлет молчаливо;
Но позже полчаса — и вот
Пошел ходчее пароход,
И просыпаются... и стало *говорливо*...
Повеял утренник, и облаков седых
Летят последние частички...
И *пассажирок* молодых
Видней хорошенькие лички.

<1825>

НОВЫЙ ГОД

Как рыбарь в море запоздалый
Среди бушующих зыбей,
Как путник, в час ночной, усталый
В беспутной широте степей, —
Так я в наземной сей пустыне
Свершаю мой неверный ход.
Ах, лучше ль будет мне, чем ныне?
Что ты судишь мне, *новый год?*

Но ты стоишь так молчаливо,
Как тень в кладбищной тишине,
И на вопрос нетерпеливый
Ни слова, ни улыбки мне...

<1825>

ЧИНОВНИК

(А. А. Н.)

За делом просидев часов пять-шесть,
Ты любишь, в холодке, под яблоней кудрявой,
С семьею крохотных твоих малюток сесть
И забавляться их младенческой забавой...
Твой стол в урочный час накрыт,
За ним с тобой сидят порою два-три друга
И — роза без шипов — твоя супруга!
Ты хоть *ливрейною* толпой не знаменит,
Но весела твоя свободная услуга,
И всякий у тебя и радостен и сыт!
А в праздник, вечерком, твои сберутся *ровни*,
И ходко речь идет о службе, о делах,
И об учености, и о твоих стихах...
Так поживаешь ты — *исправный* наш *чиновник!*

<1825>

МОЕ ЗАНЯТИЕ

Мне непонятен ваш *бостон!*
Я не люблю ни *экарте*, ни *виста;*
Я лучше предпочту под липой сладкий сон
Иль слушать речь Ариовиста: *
Он, гордый, не сошел пред Кесарем с коня!
И Кесаря он в грош не ставил;
А Кесарь, право, был великий человек!
Хвалю я ум его военных правил.
Увы! как сон: за веком век!..
Где эти *римляне?* где *греки?*
Нет больше тех времен, прошли те человеки!..
Какой для нас урок, какой живой пример!

---

* Лицо, известное в записках Кесаря.

Оставя *Кесаря*, иду на *Бельведер;*
Что за картина: лес, и озеро, и речки,
И подо мной внизу все люди — *человечки*...
Как весело тут быть вечернею порой!
Прекрасные места! прекрасная природа!
На круглом куполе лазоревого свода
Направо, далеко, за *Токсовой* горой,
Садится солнышко... насупротив луною
Сребрятся облака, летящие грядой.
Как я любуюсь сей высокой стороною!
Сады, и фабрики, и куча деревень,
И в разные края бегущие дороги...
Так на Олимпе жили боги!
Но здесь не высмотришь всего за целый день!
Тут нет без красоты порожнего местечка.
Я вижу ясно *Петербург*:
Адмиралтейский шпиц горит, как свечка;
И, в сорока верстах, мелькает *Шлиссельбург*.
Еще... но дунул ветр... стихи мои упали,
Летят с карниза на карниз,
И голову сломя, я опрометью вниз, —
Чтоб девушки не прочитали
Карандашом написанных стихов
И, прочитав их, не сказали:
«Тут мало толку — много слов».

<1825>

ХАТА, ПЕСНИ, ВЕЧЕРНИЦА

«Свежо! Не завернем ли в хату?» —
Сказал я потихоньку брату,
А мы с ним ехали вдвоем.
«Пожалуй, — он сказал, — зайдем!»
И сделали... Вошли; то хата
Малороссийская была:
Проста, укромна, небогата,
Но миловидна и светла...
Пуки смолистые лучины
На подбеленном очаге;
Младые паробки, дивчины,
Шутя, на дружеской ноге,

На жениханье вместе сели
И золоченый пряник ели...
Лущат орехи и горох.
Тут вечерница!.. Песни пели...
И, с словом: «Помогай же бог!» —
Мы, москали, к ним на порог!..
Нас приняли — и посадили;
И скоморохи-козаки
На тарабанах загудели.
Нам мед и пиво подносили,
Вареники и галушки́
И чару вкусной вареницы —
Усладу сельской вечерницы;
И лобобриты старики
Роменский в люльках запалили,
Хлебая сли́вянки слотки.
Как вы свежи! Как белолицы!
Какой у вас веселый взгляд
И в лентах радужных наряд!
Запойте ж, дивчины-певицы,
О вашей милой старине,
О давней гетманов войне!
Запойте, девы, песню-чайку
И похвалите в песне мне
Хмельницкого и Наливайку...
Но вы забыли старину,
Тот век, ту славную войну,
То время, людям дорогое,
И то дешевое житье!..
Так напевайте про другое,
Про ваше сельское бытье.
И вот поют: «Гей, мати, мати!
(То голос девы молодой
К старушке матери седой)
Со мной жартует он у хати,
Шутливый гость, младой москаль!»
И отвечает ей старушка:
«Ему ты, дочка, не подружка:
Не заходи в чужую даль,
Не будь глупа, не будь слугою!
Его из хаты кочергою!»
И вот поют: «Шумит, гудет,

И дождик дробненькой идет:
Что мужу я скажу седому?
И кто меня проводит к дому? ..»
И ей откликнулся козак
За кружкой дедовского меда:
«Ты положися на соседа,
Он не хмелен и не дурак,
И он тебя проводит к дому!»
Но песня есть одна у вас,
Как тошно Грицу молодому,
Как, бедный, он в тоске угас!
Запой же, гарная девица,
Мне песню молодого Грица!
«Зачем ты в поле, по зарям,
Берешь неведомые травы?
Зачем, тайком, к ворожеям,
И с ведьмой знаешься лукавой?
И подколодных змей с приправой
Варишь украдкою в горшке? —
Ах, чернобривая колдует...»
А бедный Гриц? .. Он всё тоскует,
И он иссох, как тень, в тоске —
И умер он! .. Мне жалко Грица:
Он сроден... Поздно! .. Вечерница
Идет к концу, и нам пора!
Грязна дорога — и гора
Взвилась крутая перед нами;
И мы, с напетыми мечтами,
В повозку... Колокол гудит,
Ямщик о чем-то говорит...
Но я мечтой на вечернице
И всё грущу о бедном Грице! ..

<1825>

ХОЗЯЙКА

Как я люблю тебя, хозяйка!
Как тонок сон твой, чуток слух!
Едва заголосит петух,
Ты говоришь своим: «Вставай-ка!»
И будишь малых и больших.

Ночник в избе, к иконе свечка;
Пылает радугами печка;
И в золотых руках твоих
Всё ладится, всё так клеится!
Всё прибрано в дому давно;
И уж вертлявое вертится
В твоих перстах веретено!
Рассвет! Опять иные сборы.
Вот, сквозь морозные узоры,
Глядится солнышко в стекло, —
«Гляди к нам, красное, светло!
Мы, люди добрые, простые,
Не обижаем никого,
Не нам хоромы золотые;
Что есть — довольно нам того!»
Но вот протяжно зазвенело:
Обедня! — Колокол зовет!
И всякий, покидая дело,
Ко храму божию идет...
Как вы свежи, как вы румяны,
Жильцы залесных деревень!
Для вас неведомы *романы*,
И дряхлость чувств, и сердца лень,
И пресыщенье ледяное.
Увы! У нас совсем иное
В угарных наших городах!
Мы, страстным загораясь зноем,
Грустим, томимся, сохнем, ноем:
Мы старцы в молодых годах!..

<1826>

МНОГО ЛИ НАДОБНО?

Что нам для жизни? — Уголок!
Для хлеба — нивы лоскуток!
Для садика земли частичка...
И я как маленькая птичка,
Беспечен, как она, и рад,
Коль из окна каких палат,
Или с чьего-нибудь балкона
Смотрю на синево наклона

Далеких, сводистых небес,
На расцвеченный летом лес.
Иль с башни *Екатерингофа*,
Где незамеченный сижу,
Я с сердцем радостным гляжу
На дальний абрис *Петергофа*,
На перламутровый залив.
Как он стеклянист и красив!
Как хороши под парусами
И с лентой флага — корабли!
На них дары чужой земли!
И под чужими небесами
Рожден их кормчий и пловец!..
Различен по́зыв для сердец:
Иных манит прибытком ловля
К горам нерастопимых льдов;
Других с Индейских островов
Ведет в кронштадтский рейд торговля...
А я, без сел и кораблей,
Картиной мира веселюся:
Где лягу — сплю; и не боюся
Неурожаев, ни мелей...
И я, бесконный, беспалатный,
С одной сердечной полнотой
Любуюсь неба круглотой;
Глотаю запах ароматный
И сам не знаю чьих садов.
Смотрю на сгибы берегов
Порой, на опененны волны —
И, сытостью душевной полный,
Иду в мой маленький приют,
В мой уголок, известный редким,
Где ласточки — мои соседки
И где мечты со мной живут.

<1826>

ВЗДОХ ТРУБАДУРА

Увы! прошла пора сердечного покоя,
Пора восторгов и стихов!
Уже я цитры не настрою,
Не слажу песни про *любовь!*

Любовь так сладко отманила
Певца от лавров и меча!
И так мне горько изменила:
В руках *замок*, да нет *ключа!*

Одной туда взойдет дорожкой:
И та, как крепость, заперта!
Ах! если бы хотя в окошко
Мне улыбнулась красота! . .

<1826>

ПОДРЫВАТЕЛЬ

Басня

Сосед шумит,
Сосед кричит,
Сосед Макар лишь чуть не воет,
Что под носом его, в его глазах,
Плутяга-крот всё роет, роет...
«Ну, веришь ли, мне жалко — страх!
И сердце, братец, так и ноет:
Любимую гряду, злодей, изрыл.
Вот и дубина есть... уж я б его хватил,
Потешился б над вражьею спиною! —
Так говорил Макар, кроту грозя. —
Да, видишь сам, он роет подо мною,
А мне попасть по нем нельзя! . .»

Сосед Макар! бывает случай разный:
Так роются под нас и клевета и ложь,
Так подрывается увертливый приказный:
И видишь, и шумишь порой, и бьешь,
Да всё по нем не попадешь! . .

<1826>

УСЛА́ДА

Я был рабом земных сует:
Ругались надо мной ползущие заботы;
Как узник, отданный к смиренью в дом работы,

Я с жизнью ссорился и не глядел на свет,
С водой и с воздухом глотая горе! ..
Я был как ветвь, поверженная в море,
Кружился я в грозе изгибистых валов;
Но бог послал отрадные мне чувства
И мерность звонкую стихов.
С тех пор я стал земных смятений выше —
И слаще я дышу... и в сердце стало тише! ..

<1826>

К ЗВЕЗДЕ

Куда спешишь так торопливо,
Звезда, красавица небес?
Здесь ясно зеркало залива
И свеж и ароматен лес!
Сады цветут у нас душисто!
И от златых твоих лучей
В долинах бисер серебристый
Горит в безмолвии ночей...
Куда ж спешишь так торопливо,
Звезда, красавица небес?
Потускнет зеркало залива
И потемнеет свежий лес...
Но ты спешишь с полей эфира;
Увы! неодолим закон! ..
Так и для нас, моя Эльмира!
Ни слез поток, ни сердца стон
Не отведет часа́ разлуки;
Настанет день, удвоит муки...
Пойду с тоской моей туда,
Где ты, прекрасная, гостила;
Но ты, души моей звезда!
Ты мне надолго отсветила! ..
Взойдет опять звезда небес!
Опять заливы засветлеют,
И сквозь цветущий дол и лес
Роскошным шепотом повеют
С душистой негой ветерки...
Но, полный всё моей тоски,
Я не пойду на праздник мира!

И тихо мне простонет лира:
«Зачем идти тебе туда?
Где милой нет — там свет могила!
Увы! души твоей звезда
Тебе надолго отсветила!»

<1826>

ЖАТВА

Густая рожь стоит стеной!
Леса вкруг нивы как карнизы,
И всё окинул вечер сизый
Полупрозрачной пеленой...
Порою слышны отголосья
Младых косцов и сельских жниц;
Волнами зыблются колосья
Под пылкой ясностью зарниц;
И жатва, дочь златого лета,
Небесным кормится огнем
И жадно пьет разливы света
И зреет, утопая в нем...
Так горний пламень вдохновенья
Горит над нивою души,
И спеет жатва дум в тиши,
И созревают песнопенья...

<1826>

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ

Сегодня вихорь парус рвет;
И вал на отмель лодку бьет;
И гром над безднами ревет;
И молния пловцу в глазах ресницы жжет...
А завтра — ни грозы, ни бури:
Погода... мир... и тишина,
Под круглым куполом небесныя лазури
Светлеет моря глубина...
Для нашей жизни нет картины сей вернее,
И — *утро вечера бывает мудренее.*

<1826>

МЕЧТА

Спокойны спящие морей заливы,
Как синее стекло;
Уже сошли часы покоя молчаливы,
И небо светлые огни свои зажгло...
Горит росою сад душистый
Под легкой завесой теней,
И долго свищет меж ветвей
Любовник розы голосистый...
И мимолетный, сладкий сон
Навел на вежды мне златой покров дремоты
И отмахнул крылом заботы,
И веял на́ душу мечтой прелестной он...
Я спал... но сердце пробудилось
И к жизни ожило иной,
И, как дитя в объятия к родной,
Тоскуя, из груди просилось...
Мне что-то *милое*, бывалое явилось!
Я вздрогнул... грудь была унынием полна,
И растворились сердца раны...
Уже сливалися волнистые туманы
И раскрывалася цветущая страна...
Но мне нерадостен весенний сад природы,
Ни аромат младых цветов:
Мне вспомянулися во сне минувши годы
И прежняя любовь...
Я видел *милую*, как легкий призрак зыбкий,
Я слышал звук знакомых мне речей,
И, пробудясь, я всё ищу ее улыбки
И голубых ее очей...

<1826>

ГРЕКАМ, ПРОСЯЩИМ ПОДАЯНИЯ

Тогда, как празднует Европа общий мир
И приучается к блаженству тихой жизни,
Гонимый грек, убог и сир,
Бежит от сладостной своей отчизны,
От стран Ионии, от милых берегов,
Где бой — на жизнь и смерть, где ратует Эллада

Там блещет *ятаган* беснующих врагов,
Там нет и слов: *спасенье* и *пощада!*
В плену жена, раскопан дом,
Зарезаны младенцы,
И нищие — в краю чужом —
Афин и Спарты преселенцы!
Оторваны бедой от их родимых стран
(Доколь что даст им суд верховный неба!),
Пришли искать у братьев христиан:
В одежду — лоскута, и в пищу — ломтя хлеба.

<1826>

ЗАВЕЯННЫЕ СЛЕДЫ

Над серебряной водой,
На златом песочке
Долго девы молодой
Я берег следочки...

Вдруг завыло в вышине,
Речку всколыхало;
И следов, любезных мне,
Будто не бывало!..

Что ж душа так замерла?
Колокол раздался...
Ах, девица в храм пошла:
С ней другой венчался..

<1826>

К АЛИНЕ

Алина, хочешь быть царицей?
Изволь, — я буду твой *народ:*
Тебе в душе моей давно отстроен вход,
И ты, пожалуй, в ней устрой себе столицу...
Ты станешь, милая! прекрасно управлять,
Я за тебя — горой стоять!..

Ты можешь учредить и дани и налоги;
Но правосудие и ласку наблюдай!
И прежде, чем писать указ народу строгий,
Ты поцелуй *народу* дай!..

<1826>

СКАЗКИ

Люблю я молодость твою
И синенькие глазки!
Тебе я песен напою,
Тебе готовы сказки.

Я видел много дальних стран
С большими городами;
Я видел море-океан
С солеными водами!

Я видел... но, тебя взманя,
Пойдут за сказкой — сказки:
Смотрите ж долго на меня
Вы, синенькие глазки!

<1826>

ЧЕРТЫ ОСЕНИ

Уж ветер вал на вал катит по жатве зрелой;
Черника лоснится, малина отошла;
В саду зарделся яблок спелый;
Уж белка зимовье себе свила,
И ладится медведь в берлоге;
Желтеет лист; змея, в норе,
Местами мерзнет на заре;
Копыт и колесо звончее на дороге...
Везде какая-то мелькает пестрота;
В водах и на небе седеет перламутром;
Про осень говорит народ у церкви утром
В день *воздвижения пречестного креста.*

<1826>

НАБЕГ ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ ИЗ СЕЧИ НА ВОЛЫНЬ

(Из истории 17 века)

Из Сечи скачут на конях,
И смерть за ними в тороках;
И саблей зеркальных размахи
В веселом воздухе горят;
И громко, под напев, свистят
За козаками — *сыромахи!*
Куда дорогою пустынь? . .
«К *панам* — в богатую *Волынь!* . .»
Легки их кони удалые;
Меж ними есть и пожилые,
И юноши цветущих лет,
И горемычные, с усами,
Под буркой с смурым башлыком!
И вот к *полесью,* всё лесами,
На *Степань* тянутся тайком;
За *Горень,* к *Дубну* по дороге,
Минуя с башнею *Клевань.*
Уж на Волыни быть тревоге:
Бежит наезд — готовьте дань!

Зачем окрасил ты свой замок
И новым садом окружил,
И в длинный ряд злаченых рамок
С таким почтением вклеил —
Плоды какой-то кисти грязной —
Своей страны богатырей
В одежде чудной, безобразной? . .
Ты что-то стал лицом светлей,
Высокомочный *пан подчаший!*
Твоя жена оделась краше . . .
Но что засуетился двор?
Знать, дочки — панны милоглазы, —
Оставя скучный свой кляттор,
Надели свадебный убор? . .
Ах, нет! Скорее прячь алмазы! . .
С *подзорной башни* слышен звук,
Зачем твой в золоте гайдук?

Шумит в горах и на Подоле,
Гроза всё ближе и кипит;
И пыльный столп бежит, бежит —
И затрезвонило всё поле
Под звонким топотом копыт.
Летят, примчались... крик и пламень,
И рвутся в замок — всё в огне:
Трещит заросший мохом камень...
И вот развалины одне
Дымятся в утреннем рассвете!..
Но где ж сама, о *Сеча*, ты?
Тебя давно уж нет на свете!
Прошли, как страшные мечты,
Дела, набеги грозной Сечи,
Затих раскат ее степей;
Всё стало сказкой; уж и речи
Об ней давно нет у людей!..

<1826>

ДОСТОПАМЯТНОЕ СВАТОВСТВО

Историческая черта

«Прошу твою блистательную мочь —
Отдай мне зá сына, сосед любезный, дочь
Твою, Елену молодую!» —
Так, чрез послов *Богдан Хмельницкий* говоря,
Просил молдавского господаря.
«Скорее бороду отдам седую!
Но пусть потешится; пускай пришлет сватов!»
Хмельницкий закипел: «Сватов ему? — Готов!
Труби! седлай!» — Трубят — и *пятьдесят полков*,
Всё реестровых казаков,
Слетелось. «Знамя вверх! Молебен — и на выступ!»
И *лава* конная помчалась, как на приступ:
Чуть может их догнать их собственная тень.
Они в Молдавии. Богдан распорядитель,
А он в делах войны не неуч, а учитель!
«Туда и так!» В один и тот же день
Сто сел и городов под линию пылают.

И в страхе господарь, и дочь его везут,
И свадьбу пышную играют.
Дары! Поклон! — «За мной, к господарю!» — и тут
Богдан спросил, когда уж всё упрятал:
«Высокомочный! что? .. *Я хорошо ль посватал?*»

<1827>

ПЕРЕГОВОРЫ В БЕЛОЙ ЦЕРКВИ

(Черта из жизни Богдана Хмельницкого)

«Послушай, мой ясновельможный князь!
Я Казимира уважаю;
Но, с твердою душой родясь,
Страдал и вдвое пострадаю,
Ни вас, ни сейма не боясь, —
За край, за род мой и за племя!
Подумай, Любомирский, сам:
Хмельницкий говорит как друг, — не то уж время,
Чтоб лях давал законы нам
И посылал разъезжих строгих
Сбирать с колодезей налоги
И церкви божии запродавать жидам! ..
Вот положили — соберемся
И в *Белой Церкви* погостим:
Мы завтра там. Там мы о мире попечемся.
Условием, вельможный князь, твоим
Доволен!
В нем сказано, что всякий волен
По званию конвой и свиту привести:
Куда уж козаку за панством вслед ползти?
Вы будете на съезд с шляхетством, с гайдуками;
Однако ж кое-кто приедет и за нами!»
Расстались. Вот примчалась весть,
Что поляки скрывают месть;
Что свежая больна им рана
И им хотелось бы путем прижать Богдана
И в сеть уловкою завесть
На съезде. — Мудрено! он крепко верил в бога,
И с колыбельных лет военная тревога
Ему, как мать родная, знакома́;
Притом Хмельницкий был великого ума.

Большой конвой вели с собой поляки,
Чтоб, в недостатке слов, взять верх хоть силой драки;
Но трудно завести в заманку козака!
Узнав, что конница козачья далека,
Готовил лях свои уловки...
Богдан послал лихого ездока:
«Умри — скачи до Кочерговки.
Тут сорок верст, там сорок два полка!
Дружней, быстрей, из всей козачьей мочи,
Пусть мчатся на рысях... чтоб быть как тут к полночи!
Я знаю, наши прилетят!
И пусть все за лесом полягут по ватагам!..»
Кипит в душе Хмельницкого отвага,
Идет на съезд... Паны шумят,
Закинув кунтуши, преважно
Закручивают длинный ус,
И смотрят свысока, и говорят протяжно...
Хмельницкий не был сроду трус;
Однако ж видит: идут толки,
Паны особятся, какой-то есть секрет;
Ни откровенности, ни ласки нет,
И на него глядят как волки.
Вот он: «Шляхетные паны!
Как много привели вы свиты,
И ваши вершники все золотом прикрыты;
А мы, военною порой утруждены,
На клячах кое-как примчались;
Но, чтоб над козаком вы больше не ругались...»
Он стал перед окном,
Махнул платком —
И зашатался дом:
Под топотом копыт заговорило поле,
И света божьего, в пыли, не видно боле!
Не стало пыльных облаков —
И двадцать тысяч козаков,
Прогнав толпу вельможеских холопей,
Стоят!
И двадцать тысяч ратных копий
Торчат!
Паны удобрились — и мир подписан,
Который славою в скрижаль времен записан.
<1827>

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

По ступицу песок, и лес на нас нависнул;
Уж ночь, и сумерком кругом заволоклось;
Ямщик в лесу лукаво свистнул,
И, чу, ему отозвалось...
Зачем свистишь, ямщик, лукаво?..
«Зову», — с усмешкой был ответ.
И зашумело за дубравой,
И там, и там огни и свет...
Беда: как тени, из подполья
Ползут с ножом и с кистенем;
Толпа других средь дикого раздолья
Буянит за ночным огнем...
И вот торчат рожны и колья,
Звенит топор и длинный *нож*...
Но мы не оплошали тож:
И наши сабли засверкали,
И грянул звонкий *мускетон.*
Тут схватка: резались, кричали;
Везде огонь, и кровь, и стон...
Но если вы, друзья, уже пугаться стали, —
Так не пугайтесь... это сон!

<1827>

ПЕСНЯ

(Подражание богемскому)

Есть край, где желтеют
Богатые нивы,
И теплые веют
Там ветры игривы.

Гуляй там, Мальвина!
Будь с ней upованье:
Когда же судьбина
Пошлет нам свиданье?

В развесистой чаще,
Под рощей кудрявой,

Мне быть с тобой слаще,
Чем с яркою славой.

Будь слава — царь поля,
Облитого кровью!
А мирная доля —
Златися любовью!

Но даль между нами!
Судьбам помолися,
Чтоб руки с руками
Скорее сплелися...

<1830>

1826—1830

ПСАЛОМ 62

Кого пред утренней зарею
Ищу, как жаждущий воды?
Кому полночною порою
Перескажу мои беды?
По ком душа в тоске? И тело
О ком и сохнет и болит?
В чей горний дом в порыве смелом
Мой дух с молитвою летит?
Тебя, мой царь, над высотами
Моей судьбы держащий нить,
Так сладко мне хвалить устами,
Так сладко всей душой любить!..
Как гость роскошныя трапезы,
Я веселюсь в твоей любви:
Пою и лью в блаженстве слезы,
И жизнь кипит в моей крови!..
Когда злодей в меня стрелами,
И пращем, и копьем метал,
Ты сам защитными крылами
Меня средь сечи одевал!
Моя душа к тебе прильнула
И под святой твоей рукой
От дольней жизни отдохнула
И горний сведала покой.
Пускай искать злодеи рвутся
Меня с огнем во тьме ночей —
Запнутся сами... и пробьются
На острие своих мечей!..
А царь, ходя в защитном боге,
Пойдет с высот на высоты,

Растопчет гада на пороге
И злоязычной клеветы
Запрет уста златым терпеньем;
Он возгласит о боге пеньем,
Ударив радостью в тимпан;
И, как жених, возвеселится;
И звонкий глас его промчится
До поздних лет, до дальних стран...

Между 9 марта — 31 мая 1826

БУРЯ

Что небо стало без лазури,
И волны ходят по Неве,
И тени облаков мелькают по траве?
Я слышу приближенье бури.
Я здесь не знаю, что творится надо мной,
Но близ меня, в щели стенной,
Уныло ветер завывает,
И он как будто мне о чем-то вспоминает
И будит давнюю какую-то мечту.
О ветер, ветер! Ты свободен, —
Зачем же рвешься в тесноту?..
Ах! Если бы я мог, оставя суету
И в чувствах нов и благороден,
Летать, как ветер по полям!
И только рано по зарям,
Прокравшись близ тюрьмы сторонкой,
Несчастным узникам тихонько
О чем-то милом напевать
И горьких в сладкое забвенье погружать!..

Между 9 марта — 31 мая 1826

ГРОМ

Гремит! И воды запестрели!
И слышен в воздухе как будто шум и крик!
И, вспыхнув, молнии на стеклах закипели!
И часовой стоит, утупя в землю штык!..
Где зарождаются сии кипящи громы?

Где бурь и непогод таинственные домы?
Зачем нам тайны познавать
И, мыслями волнуясь, утомляться?
Не лучше ли, во всем встречая благодать,
Жить просто и всему по-детски удивляться!

Между 9 марта — 31 мая 1826

СТИХИИ

К богу

Как хороши твои стихии!
Какая свежесть на *водах!*
И в ночи осени глухие
Как весело *огни* светлеют в городах!
И *воздух* твой то тих: его не видят взоры;
То вдруг раскат морей сгибает в грозны горы
И мчит в далекий путь чрез волны корабли!..
А как прекрасен вид послушливой *земли*,
Когда на ней весна гуляет молодая
И дымка вечера колеблется седая,
И вся, душистая под зеленью, в цветах,
Лелеется она в лазурных высотах!..

Между 9 марта — 31 мая 1826

ВСЕМОГУЩЕСТВО

Ты можешь вдруг меня сравнить с презренным прахом —
И вдруг опять из праха воскресить!
Смутить мой дух, наполнить душу страхом —
И вдруг опять развеселить!
Ты ложе скорбное умел убрать цветами,
Ты пролил аромат из золотых кадил,
И томную главу страдальца осветил
Во сне прекрасными мечтами,
И свеял слезы с глаз дыханием любви!
Мне снилось раз: я был над грозною рекою,
Упал — и, вопия, искал тебя рукою,
И ты извлек меня и мне сказал: «Живи!»

Между 9 марта — 31 мая 1826

ПРИБЛИЖЕНИЕ ГОСПОДА ЛЮБВИ

Когда ты близишься, душа моя пылает
И всё во мне от радости дрожит;
И кровь, как горный ключ, кипит,
И мозг в костях моих играет.
Что ж ты несешь с собой, творец и бог миров?
Какое нищему таинственное благо?
Ты окропил уста какою сладкой влагой?..
Я узнаю... то ты и то... твоя любовь!..

Между 9 марта — 31 мая 1826

ВОССТАНОВИТЕЛЮ

И мыслью о тебе все помыслы светятся,
И именем твоим уста услащены!
И силы слабого тобой одним крепятся,
И траты все мои в тебе возвращены!
Да зацвету я вновь под промыслом святым,
Как пальма свежая у нильского протока,
Под небом сладостным Востока,
Прекрасной Африки под солнцем золотым!
В глуши, разбитая, былых градов стена
Стоит одна, развалиной на пуще,
Но обвивается зеленым, свежим плющем,
Как животворная коснется к ней весна.
О, будь моей весной, всеблагодатный царь!
Да я, покинутый, как мертвый,
Воскреснув, воскурюсь тебе угодной жертвой,
Как древний, на степях отысканный алтарь!

Между 9 марта — 31 мая 1826

СОЗДАТЕЛЮ

О ты, создавший дни и веки,
Чьи персты солнца свет зажгли!
Твои лазоревые реки
Бегут, как пояса земли!
И, под густым покровом ночи,
На лов выходит дикий зверь,

Доколь заря, отверзши дверь,
Осветит человеков очи.
И утра в ранние часы
Всё дышит радостью святою:
И кедр, одетый лепотою,
И капля светлая росы.

Между 9 марта — 31 мая 1826

ВЕСНА

Уже душистей стали ели,
И пахнет в воздухе смолой;
Уже луга зазеленели,
И мох кудрится над скалой.

Разделись синие заливы,
И лодки ходят по реке;
Уже заколосились нивы,
И слышно стадо вдалеке...

И воздух полон тишиною,
И как им сладостно дышать!
Так сердце с жизнью неземною
Вдыхает неба благодать.

Между 9 марта — 31 мая 1826

ЛУНА

Луна прекрасная светила
В тиши лазоревых полей
И ярче золота златила
Главы подкрестные церквей.
А бедный узник за решеткой
Мечтал о божьих чудесах:
Он их читал, как почерк четкий,
И на земле и в небесах.
И в тайной книге прошлой жизни
Он с умиленьем их читал,
И с мыслью о святой отчизне
Сидел, терпел — и уповал!

Между 9 марта — 31 мая 1826

ПОВСЕМЕСТНЫЙ СВЕТ

На своде неба голубого,
Реки в волнистом серебре,
На трубке в желтом янтаре
И на штыке у часового —
Повсюду свет луны сияет!
Так повсеместен свет иной,
Который ярко позлащает
Железный жребий наш земной!

Между 9 марта — 31 мая 1826

ГОЛУБИЦЕ

Из псалмов Давида

Ах, голубица! голубица!
Зачем и я — не то, что ты?
Зачем мне так тесна темница
И недоступны высоты?
Как слабы смертного усилья,
Коль их бессмертный не скрепил! . .
Когда б твои златые крылья
И посребренье между крыл,
Я б полетел к горе Сиону,
Где вечно светит благодать,
Чтоб, к горнему прильнувши трону,
От дольней жизни отдыхать.

Между 9 марта — 31 мая 1826

ТЕПЕРЬ И БУДЕТ

Еще любви закрыты двери:
И мы, одебелéв как звери,
В угаре душной суеты,
Бредем по стежкам тесноты.
В устах полынь и руки — бритвы!
Идем на жизнь, как для ловитвы:
Везде добру короткий срок;
На всё печать кладет порок,
И в бедной жизни скорбь и краткость;
И на путях житейских шаткость;
Душа полна неясных мук,

И головы — пустых наук;
Несем, как груз, приличий бремя!
Но бог пошлет иное время:
И дастся жизни долгота;
И будут сладостны уста
И ласковы у смертных руки,
И мы, как сон, забудем муки.

Между 9 марта — 31 мая 1826

СОРАЗМЕРНОСТЬ

Он не ханжа и не безбожник;
И с языком и не кричит;
И, как поверженный треножник,
Он и с огнем и не горит!

Между 9 марта — 31 мая 1826

ВОЗРАСТЫ

Дитя покоится у матерней груди,
У стража-ангела под мягкими крылами;
И старец, путь свершив — меж бездн и меж скалами, —
У бога под рукой утех за скорби жди!
А добрый юноша на подвиг дней иди!
Иди! но не теряй, в пылу житейской битвы,
Из памяти — творца; из уст — святой молитвы!

Между 9 марта — 31 мая 1826

ПРАВИЛА

Не видеть слабостей чужих;
Быть в чувстве гордости убогим;
Быть очень кротким для других,
А для себя быть очень строгим.

Будь слеп для слабостей чужих!
Будь в чувстве гордости убогим;
И очень кроток для других
И для себя будь очень строгим.

Между 9 марта — 31 мая 1826

ПРАВИЛО

Жена! Будь я другой, супруга, —
Любя, о нем не рассуждай!
Ты друг? — люби и уважай
Со всеми слабостями друга!..

Между 9 марта — 31 мая 1826

* * *

Из шелку и мочал шнур нашей жизни вьется:
Кто плакал поутру, тот к вечеру смеется.

Между 9 марта — 31 мая 1826

НАУКА

Как в шахматы играть, так в свете должно жить:
И чтоб *хождение* твое в нем было прочно,
Смотри, чтоб с умыслом — и даже ненарочно —
На клеточку чужую не ступить.

Между 9 марта — 31 мая 1826

ЗАЧЕМ?

Откуда к нам взялись расчет, заботы, счеты?
Зачем на мир пришли они?
Чтоб, завлекая всех в убытки и отчеты,
Мостить работы на работы
И делать медными златые жизни дни!..

Между 9 марта — 31 мая 1826

ПРИЧИНЫ

Всему причиной — суета!
Воображения игривость,
В словах и мыслях торопливость,
В делах и в чувствах — пустота!..

Между 9 марта — 31 мая 1826

МЕЧТЫ

Мечты — душевные игрушки!
Кто вами тешиться не рад?
И стены маленькой избушки
При вас красивее палат.
Но осторожно должно вами
Играть — и только иногда:
Как за болотными огнями,
За вами кроется беда!..

Между 9 марта — 31 мая 1826

К ЛУНЕ

Среди безмолвия ночного
Луна так весело глядит,
И луч ее у часового
На ясном кивере горит!

Ах! Погляди ко мне в окошко
И дай мне весть о вышине,
Чтоб я, утешенный немножко,
Увидел счастье хоть во сне.

Между 9 марта — 31 мая 1826

ДВА СЧАСТЬЯ

Земное счастье мне давалось,
Но я его не принимал:
К иному чувство порывалось,
Иного счастья я искал!
Нашел ли? — тут уста безмолвны...
Еще в пути моя ладья,
Еще кругом туман и волны,
И будет что? — не знаю я!

Между 9 марта — 31 мая 1826

ДОЖДИ

Шумят весенние дожди,
Под ними зеленеют нивы, —
Зачем же слышу я в груди
Порой тоскливые порывы? ..
Творец! Пошли свой чистый дождь:
Омой с меня мой прах греховный;
И будь ты пастырь мой духовный
И к новой жизни лучший вождь! ..

Между 9 марта — 31 мая 1826

К СОЛНЦУ

Пали меня, пали, златое!
С твоих высот без облаков;
Да снидет с неба отнятое
Грехами у земных сынов! ..
Когда б и я неугасимо,
Как ты, любовию горел
К тому, кто благостью незримой
Меня кормил, берег и грел! ..

Между 9 марта — 31 мая 1826

ВЕРА

Когда кипят морей раскаты,
И под грозой сгорают небеса,
И вихри с кораблей сдирают паруса,
И треснули могучие канаты,
Ты в челноке будь *Верой* тверд!
И бог, увидя без сомненья,
Тебя чрез грозное волненье
На тонкой нитке проведет...

Между 9 марта — 31 мая 1826

НАДЕЖДА

Под черною ночью, на белом коне,
Скакал паладин по буграм, чрез овраги;
И нет уж в нем силы и нет уж отваги;
Но вдруг заяснел огонек в стороне:
И радостно поднял усталые вежды,
И скачет бодрей крестоносец-ездок:
Ах, как не узнать? .. то Надежды,
Надежды златой огонек...

Между 9 марта — 31 мая 1826

ЛЮБОВЬ

На степи раскаленной, широкой,
Где не слышно, не видно отрадных ручьев,
Исчезал, без воды, человек одинокой;
Вдруг послышал он тихий и ласковый зов:
«Оглянись, человек, и напейся,
И напейся студеной воды!
Уповай и люби и надейся —
И, как жажда, исчезнут беды!»
Он взглянул — и прекрасная, с чашей,
Перед ним, как видение снов:
Ничего он не видывал краше,
И душа в ней узнала — *Любовь.*

Между 9 марта — 31 мая 1826

МОЛИТВА

О, не прогневайся, мой боже!
Что я и грешен так и слаб.
Сетей, страстей — добыча, раб...
Себе пеняю я — и что же?
Я знаю грех, — его бежать
Есть *воля*, но при ней нет силы!
Как челном утлым управлять,
Когда бугрятся, как могилы,
Валы на пенном лоне вод?
Пловец тревожный видит, знает,

Что недалек водоворот,
Но челн насилье увлекает...
Я сей пловец: мой бедный челн
Влечется жизни треволненьем.
Я часто *лучшей воли* полн;
Но вдруг встречаюсь с обольщеньем,
И твердый я — уж слабый я!..
Порой еще борюсь с собою,
Мне цель еще ясна моя;
Но чем-то мощным, как судьбою,
Отброшен прочь от цели — и...
Готов разбиться я о камень.
Так в лоне мирной ладии
От зароненной искры пламень
Вдруг побежит по парусам:
Рыбарь проснулся, и не знает,
Себя не понимая сам,
Куда? и как?... и воздевает
Лишь молча руки к небесам...
Вот истый образ!.. В сей напасти
Свое былое узнаю:
Так, незагашенные страсти,
Я помню, и мою ладью
Зажгли, и, весь огнем объятый,
Под грозной бурей я летел;
Но ты — хвала тебе трикраты! —
Ты сам!.. И я и челн мой цел!..

1826

ОБЕТЫ

Небесный царь! Твои обеты
Как чистый ароматный мед,
Как детства золотые леты,
Как от алмаза тихий свет.

Они живят, они питают,
Как в зной прохладное млеко;
Пред ними чувства расцветают,
И на душе от них легко!..

1826

УПОВАНИЕ

Как опирается пловец
Ретивой грудию на волны,
Так на твою любовь, Отец!
Я оперся, надежды полный...
Играй, волна! кипи, волна!
Пылай, гроза! шуми, ненастье!
Запала в душу мысль одна:
«Я где-нибудь да встречу счастье!»

1826

УЗНИК К МОТЫЛЬКУ

Дитя душистых роз и поля!
Зачем сюда ты залетел?
Здесь плен и скучная неволя:
Я уж терпеньем накипел,
Забыл о радостях в природе,
О тихом счастии в лесах;
А ты сгрустишься по свободе
И по родимых небесах.
Лети ж на волю — веселися!
И в золотой рассвета час
Святому богу помолися
И будь у счастья гость за нас!

1826

ПЕСНЬ УЗНИКА

Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина!
И на штыке у часового
Горит полночная луна!

А бедный юноша! ровесник
Младым цветущим деревам,
В глухой тюрьме заводит песни
И отдает тоску волнам!

«Прости отчизна, край любезный!
Прости мой дом, моя семья!
Здесь за решеткою железной —
Уже не свой вам больше я!

Не жди меня отец с невестой,
Снимай венчальное кольцо;
Застынь мое навеки место;
Не быть мне мужем и отцом!

Сосватал я себе неволю,
Мой жребий — слезы и тоска!
Но я молчу, — такую долю
Взяла сама моя рука.

Откуда ж придет избавленье,
Откуда ждать бедам конец?
Но есть на свете утешенье
И на святой Руси отец!

О русской царь! в твоей короне
Есть без цены драгой алмаз.
Он значит — милость! Будь на троне,
И, наш отец, помилуй нас!

А мы с молитвой крепкой к богу
Падем все ниц к твоим стопам;
Велишь — и мы пробьем дорогу
Твоим победным знаменам».

Уж ночь прошла, с рассветом в злате
Давно день новый засиял!
А бедный узник в каземате —
Всё ту же песню запевал!..

1826

СРАВНЕНИЕ

Как светел там янтарь луны,
Весь воздух палевым окрашен!
И нижутся кругом стены
Зубцы и ряд старинных башен.

Как там и вечером тепло!
Как в тех долинах ароматно!
Легко там жить, дышать приятно,
В душе, как на небе, светло;
Всё говор, отзывы и пенье.
Вот вечер, сладостный, весенний,
Страны, где жил я, как дитя,
Среди семейной, кроткой ласки,
Где так меня пленяли сказки...
Но буря жизни, ухватя
Мой челн, в безбрежное умчала;
Я слышал, подо мной урчала
И в клуб свивалася волна;
И ветры парус мой трепали...
Ах, часто чувства замирали
И стыла кровь. Скучна страна,
Куда меня замчали бури:
Увы, тут небо без лазури!
Сии бесцветные луга
Вовек не слышат пчел жужжаний,
Ни соловьиных воздыханий;
И тут, чрез мшистые брега,
Как горлик, ястребом гонимый,
Летит весна, как будто мимо,
Без ясных, теплых вечеров...
Ничто здесь чувства не лелеет,
Ничто души не отогреет,
Тут нет волшебных жизни снов;
Тут юность без живых волнений,
Без песен молодость летит;
И, как надгробие, стоит,
Прижав криле, безмолвный гений.

1826

ВЗДОХ

Брега пустынные темнеются как коймы,
Онега зеркалом лежит;
И паруса сложили *соймы*...*

---

* Особого рода крытые лодки.

Ничто не движется, безлюдный берег спит.
И волны тихие смешались с небесами,
Чуть слышен гул грозы — и молния горит
Над *повенецкими* лесами...*
Торчат, как призраки, огромные скалы,
Природы древние обломки. **
Зачем уснули вы, кипящие валы?
Где ты, порывный ветр? Где вихри в свистах
звонких?

Вы, древние жильцы в сих горных теснотах,
Мой *вздох* к моим друзьям промчите в высотах!
Вас просит грустный преселенец;
Скажите им, что он, в пустынных сих местах,
О них тоскует, как младенец.

1826

ПОКЛОНЫ

Месяц, в мутных облаках,
Бледно серебрился,
На встревоженных волнах
Мой челнок носился...

Я молвил: «Коль угожу
К пристани защитной,
Сто поклонов положу
С песнию молитной!..»

Буря взвыла... *в корабле*
Слышны плач и стоны;
А я цел в своем угле,
И кладу поклоны...

1826(?)

---

* Город Повенец (уездный, Олонецк. губ.) окружен древними дремучими лесами, в стране дикой и почти безлюдной.

** Здешние скалы, по свойству своему, почти все принадлежат к обнаженной горнокаменной породе, называемой *брексия.* Полагают, что это *обломки* первосозданных гор, разрушенных движением великих вод, которых следы везде запечатлены на почве здешних полей, загруженных каменьями, песком и раковинами.

ИЛИЯ — БОГУ

Мы ждем и не дождемся сроков
Сей бедственной с *нечестьем при:*
Твоих зарезали пророков,
Твои разбили алтари!..
Проснись, бог сил, заговори!
Нет места для твоей святыни,
И я теперь, жилец пустыни,
Я плачу пред тобой один!..
А ты им терпишь, властелин
Земли, морей и облаков!
Ты терпишь *от своих рабов!!!*

1826 или 1827

БОГ — ИЛИЕ

Не сокрушайся, мой пророк!
На всё есть час, на всё есть срок;
Пускай, кичась, растет порок:
Будь зло добру в *святой урок!..*
Но не грусти! Твой господин
Здесь не совсем еще один:
Не все пошли к Ваалу в сети!
Есть *тайные* у *бога дети,*
Есть тайный фимиам сердец,
Который обонять мне сладко!..
Они бегут ко мне украдкой,
И я являюсь втайне к ним;
И их лелею, просветляю
Высоким, истинным, святым!

1826 или 1827

ИЗ ПСАЛМА 43-ГО

Забыл ты нас, забыл нас, боже!
Враги пируют праздник свой:
Вчера ругались, ныне тоже
Над нашей бедной головой!..

Ты продал, боже, за бесценок
Негодных нас, твоих рабов,
И малолеток и ребенок
Ведут нас, как в ярме волов...

Не за тебя ли ж, боже! боже!
Играют нашею судьбой,
И стерегут нас строже, строже,
Как обреченных на убой!..

Отец! Ты отвращаешь взоры
От плачущих твоих людей,
И враг дождит на нас укоры
И бьет нас прутом, как детей!

Восстань же, боже! Что ты дремлешь?
Мы именем твоим святым
Тебя зовем... Но ты не внемлешь:
Ты предал нас врагам твоим!..

Но и под гнетом горькой доли
Мы верными тебе стоим
И, вопль тая душевной боли,
Друг другу смело говорим:

Не воссылай *чужому* богу
Молитв из трепетной груди;
Рассей все страхи, всю тревогу
И к богу *своему* иди!..

1826 или 1827

К БОГУ

Я не могу тебя с холодностью любить
И говорить с тобой бесслезными очами;
Я не могу тебя хвалить
Одними мертвыми словами:
Жизнь, жизнь во мне кипит,
Как многошумный ток весенний;
Душа зажглась, душа горит,
И грудь тесна от вдохновений...

Мой бог! я в выраженьи слаб;
Я в пении косноязычен;
Земли отродие и раб,
Еще я к небу не привычен...
Коснись твой *шестикрылый* мне
Горящим углием языка! *
Да совершит мне глас великий,
Да даст мне весть о вышине!
Давно земным засыпан прахом,
Таюсь, как червь, в земной тиши,
Одеян скорбию и страхом...
Но ты тенета разреши —
И миг — и гость я над звездами
Родимых ангельских полей:
Там правда с горними судьями
Суд крепкий держит над землей.

1826 или 1827

УТРЕННЕЕ ЧУВСТВО

Я рано поутру вставал,
Когда еще алело небо,
И душу гладную питал
Молитвы кроткой сладким хлебом.
И в теплом воздухе потом,
Когда лучей и дня разливы
Златили лес, скалы и нивы,
Я, в восхищении святом,
Без бурь, без помыслов — свободный —
В каком-то счастьи утопал
И, мнилось, с воздухом вдыхал
Порыв к святому благородный —
И быть земным переставал!
Но суетливость пробуждалась,
И шум касался до меня...
И вдруг душа моя сжималась,
Как ветвь травы — *не тронь меня!*

1826 или 1827

---

* Сие выражение объясняется видением Исайи в 1-й главе сего пророка.

КТО ОН?

Дугой нахмуренная бровь;
Как смоль вихристый, крупный волос;
Понурый взгляд, неясный голос...
Он не шутлив, и не суров,
И не задумчив; но игривость
Ему совсем незнакома́:
В душе он носит горделивость,
И на челе печать ума...
И в мире он дикарь пустыни,
Не любит наших мелких нужд,
Всего утешного он чужд;
Дрожит при имени святыни;
Он в обществах учтивый гость,
Но тверд и холоден, как камень;
Под языком таится злость;
В очах порою вспыхнет пламень;
Но этот пламень — не любовь!
Он холодно глядит на кровь,
И на кладбище, и на трупы...
Перед его умом все глупы...
Вошел, взглянул — и всё насквозь,
Глядит — глаза, порою, врознь...
Глядит — и видит все изгибы
Души, и мыслей, и сердец!
Рыбак не сторожит так рыбы,
Как он, недремлющий ловец,
Подстерегает взгляд и слово...
Он души смертных прочитал,
Постиг земные заблужденья,
И, чуждый к слабым сожаленья,
Он, гордый, сам себе сказал:
«Они мои!.. Слепые дети!
Я ваши жребии держу:
Нужна ли хитрость? — кину сети;
Потребна сила? — я свяжу...
Я всё, обдумав, начинаю,
И терпеливо я люблю;
Кто б ни был он — остановлю
Единым словом: *я всё знаю*».
И знают, мнится, все его,

И нехотя при нем таятся,
И гостя скромного боятся,
Не зная сами отчего...
Он тих и никого не тронет,
Он словом не обидит вас,
Но мать дитя свое хоронит
От зорких нечестивца глаз...

1826 или 1827

А ВЕТЕР ВЫЛ

За полночь пир, сиял чертог,
Согласно вторились напевы;
В пылу желаний и тревог
Кружились в легких плясках девы;
Их прелесть жадный взор следил,
Вино шипело над фиялом,
А мрак густел за светлым залом,
А ветер выл!

И пир затих... последний пир!
И слава стихнула вельможи:
В дому день со днем глубже мир;
Ложится пыль на пышны ложи,
В глуши тускнеют зеркала,
В шкафах забыты знаки чести;
На барских крыльцах нет уж лести,
И мимо крадется хвала...
И всё в дому пустынно было,
Лишь сторож изредка бродил,
Стучал в металл и пел уныло,
А ветер выл!

Уж нет садов и нет чертога,
И за господ и за рабов
Молили в ближней церкви бога,
Читали надписи гробов,
Дела усопших разбирали.
Но мертвых мир живой забыл:
К ним сыч да нетопырь слетали,
А ветер выл!

1826 или 1827

КАНАРЕЙКА

Басня

Канарочку Оленушка купила;
Как няня, нянчилась с пташуркой, берегла,
И белым сахаром из алых уст кормила
Любимицу... и вот уж птичка так смела
И так мила:
Лишь стукнут чашками, она как тут была,
И каждый день поутру, у стола,
Кружит, проказит — и без спроса,
Хозяйкой чайного подноса,
То сахар, то бисквит клюет,
А между тем поет, поет...
И страх как пташечку Оленушка любила,
И очень ею дорожила.
Но девушек любовь — послушать старика —
Полегче перушка, потоньше волоска!
Сдружилась Ленушка с котом-мурлыкой:
Настанет день — он тут; сидит угрюмый, дикой,
А птичке это не под стать.
И вот уж песенок резвушки не слыхать;
Манят — нейдет! а барышня сердиться,
И в слезы, и шуметь... А няня ей совет:
«Олена Ниловна, мой свет!
Уж ты на возрасте — пора бы вразумиться:
Загадка, матушка, ведь очень-то проста:
Ну, хочешь с птичкой быть, так выгони кота!»

1826 или 1827

ТОСКА БОЛЬНОЙ НИНЫ

(Романс)

С тех пор, как мы разлучены судьбой,
Я на одре в болезни и в томленье:
Полсердца ты, о друг, увез с собой!
Полсердца мне оставил на мученье. —
Я жду тебя!..

Я вяну, друг! меня теснит тоска!
Моя заря как вечер мне унылый!

Едва с пером подъемлется рука,
Тебе сказать едва имею силы:
«Я жду тебя!»

Опять тоска идет с молчаньем ночи,
Когда земля и небо в тишине;
Мои от слез пылающие очи
Твой образ зрят — во сне и не во сне!
Я жду тебя!..

Но мысль одна, что мы, рука с рукой,
Пойдем, о друг! по жизненной дороге,
В больную грудь мне сладкий льет покой,
И, всё забыв: сомненье и тревоги,
Я жду тебя!..

Я жду тебя, как вестника с небес!
В стране земной, где всё печаль и мука,
Где мы за всё так много платим слез,
Но где всего, всего страшней *разлука*. —
Я жду тебя!..

1826 или 1827

ГЛАС

Слуху моему даси радость и веселие.
Псалом 50

Чей шепот в душу проникает?
Кто говорит мне: «Веселись!
Година счастья наступает,
Уж годы скорби пронеслись.
Уже грехов истерлись цепи,
И расклепались кандалы:
Оденутся дубровой степи
И жатвы взыдут на скалы.
Настанет новых дум порядок;
Свершится ряд заветных числ;
И тайны вековых загадок
И прорицаний темных смысл
Постигнут люди, — и мгновенно

Воспрянет всяк, как пробужденный
От тяжких, воспаленных снов:
Пройдет пиянство шумной злобы,
И в пятичувственные гробы
Войдет вторая жизнь — любовь!
Повеет сладкое прощенье
Над осужденною землей,
И потечет благословенье
На широту земных полей.
И люди встретятся как братья,
И — дети пред лицом отца —
Друг к другу кинутся в объятья
И сложат в длань его сердца».

1827

ПРИЗВАНИЕ

Явись к нам, господи, явись!
Создатель! Покажись созданью,
Перед детьми разоблачись
И положи конец страданью!

Оставь свой меч, оставь перун,
Простри с любовью к детям руки!
Мы — как слетевшие со струн
Давно рассеянные звуки!

Друг другу чужды и тебе,
По дебрям носимся в пустыне, —
Усвой рассеянных себе,
Сбери нас во своей святыне.

Оставь свой суд, будь ласков к нам,
Над нашей сжалившись судьбою,
Дозволь припасть к твоим стопам,
Дай нам поговорить с тобою!..

Какую повесть грустных лет
Тебе твои расскажут дети!
С тех пор как твой угаснул свет,
Нас облегли беды и сети!..

Создатель неба! Отпахни
Покров высот твоих лазурных
И на несчастных нас взгляни,
Пловцов в водоворотах бурных...

Мы растеряли паруса,
И руль и снасти растеряли,
С тех пор как тишь и небеса
На мрак и бури променяли.

Стуча ладьями о скалы,
На шумном кипятке волненья,
Мы средь роптаний и хулы
Скользим к сомненью от сомненья...

Но что тебе, о боже сил,
Хулы, и вопли, и сомненья?
Земля рябеет от могил,
Могилы просят отверзенья!..

Уже ворочаются в них
Отбывших поколений кости;
К ним весть бежит с небес твоих,
Что ты придешь к ним, боже, в гости!..

Приди же к нам, дай небо нам,
Пролей на нас живую рóсу, —
Мы все к тебе; к твоим стопам
И смерть свою положит косу.

1826 или 1827 (?)

НОЧНАЯ ВЕСЕННЯЯ КАРТИНА

Опять весна!.. На чувства нега веет...
Двенадцать бьет, столица спит;
Великий пост!.. нет шуму... всё говеет...
Двухградусный мороз чуть-чуть свежит...
В стекло и в синево канала
Небес открытых вышина
Свои все звезды пороняла...

И, мнится, каждая, коснувшись дна,
Как золотая искра, тлеет! ..
И там рисуется красиво длинный ряд
Вниз опрокинутых палат;
И тень прохожего мелькает полосою —
И он любуется картины сей красою! ..

Между 1826—1828

РОЖДЕНИЕ АРФЫ

Древнее финское стихотворение, написанное размером подлинника, с изустного перевода проф. Шегрена *

Сам наш старый Вейнамена,
Сам ладьи изобретатель,
Изобрел и сделал арфу.
Из чего ж у арфы обруч?
Из карельския березы.
Из чего колки у арфы?
Из каленых спиц дубовых.
Из чего у арфы струны?
Из волосьев бурных коней.

И сзывает Вейнамена
Дев и юношей игривых,
Чтоб порадовались арфой,
Прозвенев ее струнами...
Но была не в радость — радость,
Не игриво их игранье!
Пóзвал он мужей безженых
И женатых звал героев:

Радость всё была не в радость,
Не ласкались к звукам звуки...
Пóзвал он старух согбенных

* Известный профессор Шегрен два раза проходил скалистую Финляндию и олонецкие леса с целью исследования языка финских племен. По зимам заходил он отогреваться в Петрозаводск и словесно переводил мне некоторые из финских стихотворений, имеющих свой особенный размер без рифм, но звучный и приятный.

И мужей в середних летах:
Радость всё была не в радость,
Не сливался звук со звуком!

Тут восстал наш Вейнамена
Сам и сел, как лучше ведал.
И своими он перстами
Повернул затылок арфы
На коленах, к самой груди;
И, уставя чинно арфу,
Заиграл он сам, наш старец...
И была игра игрою,
И уж радость стала в радость!

И по всем лесам и рощам
Не нашелся ни единый
Из больших четвероногих
Или чьи малютки-лапки
Резво бегают в дубравах,
Кто б не шел с толпой послушать,
Как искусно будит радость
Старый, добрый Вейнамена...

Сам медведь на задних лапах,
Упершись на изгороду,
Стал и долго слушал песню;
Не нашлось в лесах и рощах
Никого из всех пернатых,
Пестроперых, двукрылатых,
Кто б от песни отказался:
И слетались все, как тучи
Или снежные охлопки.

Не нашлось и в синем море
Шестиперых, восьмиперых,
Молодых и старожилов,
Обитателей подводных,
Кто б, узнав о чудной песне,
Не пошел ее послушать.
И хозяйка водяная,
Повалившись на осоку
И припавши грудью белой

На высокий мшистый камень,
Поднялась, чтоб слушать песню...

И у старца Вейнамены
Влажны, влажны стали очи,
И отхлынули потоки!
И скруглялась влага в капли,
И те капли были крупны,
Как на мшистых тундрах клюква.
И катились капли к груди
И от груди, потихоньку,
На согбенные колена,
От колен к ногам и ниже...
И прошли сквозь пять покровов
И сквозь восемь рунных тканей.

1827 или 1828

ВЕЙНАМЕНА И ЮКОВАЙНА*

Раз разумный Вейнамена
И безбрадый Юковайна,
Встретясь в быстром санном беге,
Полоз за полоз задели,
С треском сшиблися их дуги!
И воскликнул Юковайна:
«Стой! тому лежит дорога,
Кто из двух нас больше знает;
А тому долой с дороги,
Кто с другим неровен в знаньи.
Вот: я знаю тайны бездны,
Как, когда пахали море,
Знаю, как делили землю,
Как столпы творили в небе.
Знаю синих гор строенье,
Знаю, как круглили холмы!!!»

---

* Сей образчик финской поэзии с соблюдением *аллитерации*, т. е. повторения одной и той же буквы в каждом стихе, из книги: «Ueber die Finnische Sprache und ihre Litteratur»; экземпляр сей книги получил я от самого сочинителя *г-на Шегрена*, который был здесь (в городе Петрозаводске) в исходе прошлого года.

Тут старый Вейнамена, показав силу свою над молодым Юковайною, говорил так:

«Детский разум! Бабья мудрость!
Дерзкий мальчик, безбородый!
Ведай: я расширил воды!
Я обвел брегами бездны!
Я пахал долины моря,
Я делил поля земные!
В небе я ж столпы поставил!
Я взбугрил и сини горы,
И холмы скруглил всё я же!»

Юковайна смирился и, ласкаясь, вызывал Вейнамену к пению:

«Пой мне, пой мне, Вейнамена,
Сладкий, светлый небожитель!»
Но разумный Вейнамена
Дал ответ ему советный:
«Рано, рано петь нам песни,
Не пора будить блаженство!»

Однако ж, видя неотступность младого Юковайны, старый бог песнопения воспел и...

Вздулись щеки, в членах трепет,
И кремнистый берег треснул;
И границы заскрипели
От напева Вейнамены;
Распахнулись двери Норда
И расселись своды неба
От напева Вейнамены!

1827 или 1828

УСЛУГА ОТ МЕДВЕДЕЙ

(Быль)

Уж осень очень глубока:
Пустынней лес, полней река;
Краснеет даль главой кудрявыя рябины,
И гриб и груздь под соль идет,
И сушится запас душистыя малины,

И щебетливые сбираются в отлет
Куда-то за море касатки...
Хозяйка в огурцы кладет пахучий тмин,
Пустеет огород, поля и нивы гладки.
Но пахнет лакомо дымящийся овин
Зерном подсушенного хлеба...
И вот уж сумерки подкрались как-то с неба,
Осенний день завечерел,
И страшный брянский лес темнел, темнел;
На стороне маячилась избушка,
В ней жил Мирон с женой и матерью-старушкой.
Вот к ним стучат: «Пустите на ночлег!
Мы двое вчетвером, но нет от нас помехи;
А завтра вам доставим смех,
Пирушку с пляской и потехи!»
То были два поводыря
И с ними два огромные медведя.
Мужик, гостей благодаря,
Сказал мальчишке: «Ну, брат Федя!
Сведи их на сарай, а ужинать со мной;
Я новосел; в избе нам негде поместиться:
Живу с старушкою, с парнишкой да с женой».
Вот ужин прочь, и всяк в своем углу ложится;
Но гостю одному не спится:
Здоров, и нá сене, и хорошо поел,
И уж медведь его, свернувшись, захрапел,
Товарищ тож храпит из всей поры и мочи.
Уж время близко полуночи,
А к гостю всё не сходит в гости сон,
И вдруг почуял он
Какой-то шум, какой-то стон протяжный...
Могучий, молодой и по душе отважный,
Он из сарая вон, глядит, глядит:
Изба в огне, но не горит!
Он под окошко: видит... худо!
Ватага удалых, их было семь на счет
(В стране лесной, в глуши безлюдной),
Хозяина, скрутив, на вениках печет
И гаркают: «Давай казну!»
Жена-хозяйка
Тож связана... Вот наш к товарищу:
«Вставай-ка!

Смотри: вот так и так! Медведей прочь с цепей —
И по дубине им: скорей, скорей!»
Встают, бегут в избу — там двери на запоре.
Но ведь не свой же брат медведь! .. Не шутит в споре,
Притом зверей толкнули под бока:
«Бей, *Мишка! Мишка*, бей! ..» И двери розно!
И входят витязи с дубинами прегрозно.
От радости у мужика
Душа дрожит, а воры — кто куда попало.
Однако ж им на пай достаточно достало!
Связали нескольких — и в земский суд.
И судьи — если мне рассказчики не лгут —
Медведей налицо, по форме, призывали:
Уж, разумеется, они желали
Удостовериться, узнать,
Хотя бы с ставкою очною,
Что могут иногда, порой иною,
И нелюди людей спасать!

1827 или 1828

РАЗГУЛЬНЫЕ

В руках по длинному копью,
И за плечами по ружью,
И бурки на плечах могучих;
Вот на степных конях летучих
Три ловких всадника сидят
И вдаль и в стороны глядят.
То не ловцы ль за зверем рыщут? ..
Ловцы! Но не зверины ищут...
Никто не знает, где их дом;
Но видят часто их базары,
И нет у них нужды ни в чем;
Сорят казною — как бояры...
Торгуют у черкес коней,
У туляков стальные вещи,
И знают всё: им шепчет вещий...
В разброде ярмарочных дней,
В толпе шатаются не пьяны,
Не наглецы и не буяны;

Но острой зоркостью очей,
Смекая, меряют карманы;
И, скликнув братью притоманных,
Летят, под пологом ночей,
Залечь в пустынные бурьяны.
Товары в Таганрог везут,
А наши доки стерегут,
Когда пойдет обоз богатый
Московских ведомых купцов.
Но где ж жилище удальцов?
Где прячут свой жемчуг и злато?
Ни балаганов, ни палаток
Не видно по глухим степям.
Но часто, рано по утрам,
В дичи степной из подземелья
Пробьется тоненький дымок:
То их притомный уголок,
Их дом, их кладовая келья
В соседстве с полевым ужом...
Так и живут, закрыты далью!
У них висит кистень с пищалью
И пояс кожаный с ножом...
Но часто, полные печалью,
Под диким на́весом скалы,
Вздыхают, осушив бутылку,
И говорят про кандалы,
И про погоню... и про ссылку...
Уж приторен им вкус сластей
И горько прикасаться к злату.
И взговорил один: «Мне б хату,
Жену да крохотных детей!..
Сказал бы недругу и брату:
За нашим счастьем не гонись!
Живи отцом и будь супругом
И мирным пахарем за плугом,
Пред богом кайся и молись!..
Об нас никто слезы не сронит,
И в ризах поп нас не хоронит».

1827 или 1828

ЗВУКИ

1

Порой в полночной тишине
В глухой, безлюдной стороне
Я слышу песнь, я слышу звуки —
И сердцу сладостны они,
Как детства золотые дни!
От них стихают сердца муки.
Незримый тенор! твой напев
Сквозь душу с роскошью проходит,
Как ясный взор невинных дев.
Не знаю я, отколь приходит
Сей глас, как отзыв горних стран;
Но с ним целенье скорбных ран;
Он сладостно питает думу.
Молчат светила в вышине,
Леса наземные без шуму;
Но в сей безгласной тишине
В глухой безлюдной стороне,
Скрестя на грудь в покое руки,
Я слышу песнь, я слышу звуки! . .

2

Опять они! всё те же звуки!
Там, где-то там, в туманной мгле,
Белее снега чьи-то руки
На звонком движутся стекле, —
И жизнь и песни под перстами!
Вон — там, незримыми устами,
О чем-то чудном говорят.
Сдается мне, поют про тайны
Плывущих в синеве миров,
О мятежах земли случайных,
О дивном жребии веков:
Возвышен голос сей и важен!
Как в ясном хрустале вода,
Он чист — и сладостно-протяжен,
Как чувство радости, когда
Мы, после долгия разлуки,

Пред девой милою сидим
И молча в очи ей глядим.
Опять они! всё те же звуки! . .

3

Когда погаснут все огни
И стихнут голоса в многоглагольном граде,
Я слышу в тишине — опять они!
Как челн в волнах — душа в отраде. . .
О чем поют, не знаю сам,
Но с песнью сей — я к небесам!
Звучите ж вы, чарующие звуки!
Целите ж вы души скорбящей муки!
В часы святой, полночной тишины,
Отвеяв дня тоскливого заботы,
Вы так светлы, как луч луны,
Скользящий с ясной позолоты.

1827 или 1828

ЛИСТОК И ЧЕЛОВЕК

(Басня)

От ветки дерева цветущего листок
Упал, от ветерка, в струистый ручеек
И поплыл, поплыл, всё с волнами,
Тихонько, с пеною, кружась;
То между гладкими, душистыми полями,
То над раскатами песков несясь;
Порой чрез древний бор; в потемках, под скалами;
И уж нельзя бедняжке стать
И потянуться вверх, чтоб хоть на час опять
Быть гостем дерева родного:
Иная для него судьба готова. . .
Каким еще стихом рассказ мой заверстать?
Листок и человек различны благородством —
Но *здесь* у обоих в судьбе большое сходство!

Между 1827—1829

СТЕПЬ

Как беспредельна ты, безлесная пустыня!
Где долго нежится в тиши степной арбуз
И златобокая душисто зреет дыня.
Там весело: не зная наших уз
И не пленяяся большими городами,
Кочуют с пестрыми стадами
В кудрявых смушках *чебаны*,
И с звонким топотом несутся табуны,
И под густым заслоном ночи
Горят, как светочи, недремлющие очи
Порою воющих волков,
И слышен по зарям порывный свист *сурков*.
И вот орел стрелой пустился,
И змей, крутясь, шипит в его когтях;
Но сизоперый вверх... и скрылся
В раззолоченных облаках! ..

Между 1827—1829

РОМАНС

(Перевод с французского)

Восток краснеет за горою,
Седлай мне чалого коня!
Любовь, любовь зовет меня! ..
Когда б мне утренней порою
Еще у милой побывать,
Еще одно «прости!» сказать!
Дай шарф, Раисой подаренный,
Ее слезами орошенный:
В боях, в турнире — он мой щит!
Когда ж судьба меня сразит,
Когда навек расстанусь с милой,
Пусть веет над моей могилой!

Весна с дубравными певцами
Сошла волшебницей с небес;
Помолодел нагорный лес;
Касатки вьются над зубцами.

И всё толпой в волшебный плен,
Живет и дышит наслажденьем;
Лишь я, судьбы моей веленьем,
Бегу от сих зубчатых стен!

Лобзаясь нежно ветерками,
Я стану думать, что я с ней,
Ее лобзаюся устами...
Но стоны горести моей
Пошлю я к милой с стоном бури.
Где конь, мой конь? Уж день в лазури!
Нас ждут, летун! пора лететь
Проститься с ней — и умереть!

«Не плачь, о друг мой неизменный!
Как быть? Не нам владеть судьбой:
Есть вечный мир — за жизнью бренной,
Там, там, мы свидимся с тобой.
Не унывай! .. я буду славен!
Вот плетень из твоих власов,
Вот шарф! он мой, с ним кто мне равен?
Прости! ..» И уж не слышно слов! ..

Между 1827—1829

НИВА

Как я люблю картину нивы,
Когда, зернистая, питанием полна,
Как перси матери-кормилицы, она
Колышется под ветерком игривым
И перекатная волна
По ней, как по морю, гуляет...
Над ней светлей и ночи мрак;
Ее природа одевает,
Как деву юную на брак!
Под сводом яхонтовым неба
Как хороша для наших глаз
Сия сокровищница хлеба!
На ней и бисер, и алмаз,
И жемчуги горят в дожде росистом...

И слышно далеко, в раздолии полистом,
Как резко звонкие кричат перепела,
И зелень, по местам, приветливо светла,
И ласково манит прохожих взоры
Огонь холодный светляка,
И селянин еще издалека
О жатве будущей заводит разговоры.

Между 1827—1829

ЛЕТНИЙ СЕВЕРНЫЙ ВЕЧЕР

Уж солнце клубом закатилось
За *корбы* * северных елей,
И что-то белое дымилось
На тусклом помосте полей.
С утесов, шаткою стеною,
Леса над озером висят
И, серебримые луною,
Верхи иглистые торчат
Гряды печальной бурелома: **
Сюда от беломорских стран
Ворвался наглый ураган —
И бор изломан, как солома...
Окрестность дикую пестря,
Вдали, как пятна, нивы с хлебом,
И на томпаковое небо
Взошла кровавая заря.
Питомец ласкового юга
Без чувств, без мыслей вдаль глядит
И, полный грусти, как недуга,
О ней ни с кем не говорит.

---

* Корбами называют здесь (в Олонецкой губернии) самые дикие места в глухих лесах, где ели, сплетая вершины свои, составляют довольно твердый свод над влажно-каменистым грунтом. В сих затишных уютах сохраняется и зимою такая степень теплоты, что чижи целыми стадами ищут там себе убежища.

** Буреломом (технический термин у лесоводов) называют валежник или гряду леса, поваленного бурею.

МАТЬ-УБИЙЦА

На черном небе полосами
В изломах молнии горят,
Дрожащий грома перекат
Бежит и стонет над лесами.
Гроза и ночь! И, над водой,
Она безмолвна — лик младой,
Полузавешенный власами.
Одежда — рубище; она,
При свете молнии бледна,
Мертвец недвижный, — только очи
Ужасной жизнию полны.
И вдруг я слышу: «В лоне ночи,
Вот он! вот он! раскат волны,
Качай малютку с лаской нежной:
Он мой! он мой! его ко мне!
У сердца, здесь, приют надежный...
Мне было сладко по весне
Дышать любовью, ждать свиданья,
И долгий шепот и лобзанья
Из уст устами похищать.
Как я обманывать умела
Мою докучливую мать!
Условный знак... и я летела...
И скоро на руках моих
Дитя прелестное явилось:
Он миловиден был и тих,
В глазах малютки так светилось...
Куда девать? — Близка вода...
Едва окутав пеленою,
Несу... бегу, полна стыда,
И вот младенец под волною! —
Ко мне! ко мне! зовет к себе —
Иду! .. На мне горою волос!»
Своей покорная судьбе,
Она в волнах — и стихнул голос.

Между 1827—1829

ОЛОНЕЦКАЯ ПЕСНЯ

Над озером, *Габ-озером*,
Сидит, грустит унылый птах.
Не здешний он: из дальних стран!
Пришиблен он невзгодою,
Привязан он хворобою!
Сидит, грустит залетный птах!
Никто ему *ни свой*, ни брат!
Один-одним, сироточка!

Летят, шумят в поднебесье
Стада его товарищей;
И веселы и радостны,
Летят, спешат на теплый юг.
Как взговорит к ним бедный птах:
«Ах, братцы вы, товарищи!
Вам весело в поднебесье,
В поднебесье безоблачном,
Близ солнышка, близ красного,
Близ красного, меженного. . .
И я летал, и я бывал
Сопутником и братом вам. . .
Ах, сжальтеся над горестным!
Вы скиньте мне по перышку,
По перышку, по легкому,
Чтоб крылышки, чтоб *новые*
Снесли меня на родину,
К родным, к друзьям, в *природный* край!»

И перышки посыпались!
Забилося сердечушко
У бедного, у хворого. . .
Но, где возьмись, *шелойник-ветр*, *
Шелойник-ветр порывистый,
Рассеял он все перышки. . .

И взговорил несчастный птах:
«Судьба моя, судьбинушка!
Другим ты мать, мне мачеха!

---

* Так называется у туземцев юго-западный ветер.

Сама ль велишь терпеть напасть,
Терпеть напасть, изныть, пропасть
Мне бедному, мне горькому,
В чужой стране, нерадостной!»

Между 1827—1829

ЗАСУХА

Не освеженная росою
Земля засохла, всё в огне,
И запад красной полосою,
Как уголь, тлеет в тишине.
Везде болезнь и вид боязни,
Пылят пути, желта трава;
Как накануне верной казни
Больная узника глава
На перси небрежно скатилась,
Так опустилися цветки!
Уж меж душистыми шелками
Не сеют жемчуг ручейки,
И под сожженными брегами
Упало зеркало реки!
Как сладко тут о днях ненастья
И о дождях воспоминать!..

Так в засухе мирского счастья:
Душа томна, душа болит,
Завяла грудь, и ум бескрылый
От ярких мыслей не кипит;
И часто, как печать, клеймит
Чело счастливца вид унылый,
И сквозь пустынные глаза,
Без дум, проглядывает скука...
Но загреми над ним гроза,
Проснись в душе уснувшей мука —
Вдруг чувства молния блеснет,
Из-под ресницы, в пылких взорах,
И, растопившись, потечет
Душа в высоких разговорах;

И бодро воспрянет узник-дух,
Покоя цепью отягченный,
И заблестит чело, как луг,
Дождливой ночью освеженный!

Между 1827—1829

ПРИЗЫВ

О друг младой, прекрасный друг!
Уж солнце за горами.
Певец зари мой нежит слух,
Луна над озерами;

Тебя я жду, тебя зову:
Уже густеют тени;
Присядь ко мне, склони главу
На дружние колени. . .

Она пришла, она была,
Душа при ней так млела! . .
Но вспыхнул день — и, как стрела,
Куда-то отлетела. . .

Уж нет ее, и грудь пуста;
Ах, если б, если б чаще
Ко мне слетала та ж мечта,
Мне б горе было слаще!

<1829>

К ЛУГУ

Зеленый луг! Зеленый луг!
Как расстилаешься ты гладко,
Как отдыхает тут мой дух,
Как тут задумываться сладко!

Ах, если б так, ах, если б так
Постлался путь наземной жизни!
Смелей бы я сквозь вихрь и мрак
Спешил к сияющей отчизне,

Но тут скалы — и всё скалы,
Стоят, как призраки, от века,
И с них летят, кипят валы:
Трудна дорога человека!..

Зеленый луг! Зеленый луг!
Пока цветешь, стелися гладко!
И успокой мой томный дух
И дай задуматься мне сладко!..

<1829>

ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

Томление неизъяснимое
В душе моей,
Когда ласкается незримое
Незримо к ней.

Когда нисходит благодатное
От высоты,
И сердцу что-то непонятное
Сулят мечты.

Так, с первым вешних дней дыханьем,
Где я ни будь,
Уныло-сладостным страданьем
Теснится грудь.

Забыто всё, что обольщение,
Молва и шум,
И погружаюсь я в волнение
Великих дум.

И тут, что тайное, чудесное,
Всё так светло:
Как будто всё ко мне небесное
С небес сошло!..

1829

ПСАЛОМ 136

В стране изгнанья — в Вавилоне,
При дальних, неродных реках,
Мы по родном своем Сионе
Грустили молча и в слезах.

На серебристых ветвях ивы
Повесил каждый свой орга́н,
И с струн их отзывы плаксивы
Срывала буря чуждых стран.

«Зачем для песен Иего́вы
Вы жизнь не взбудите в струне?
Играйте!» — говорят нам. «Что вы?
Как нам играть в *чужой стране*?..

Забудь меня, моя десница,
Когда тебя забуду я,
Иерусалим — царей столица, —
Святая родина моя!

Припомни, бог, как сын Эдома
Наш град неистово громил:
И меч и пламень в дом из дома,
Как лютый вихорь, разносил!..

О, в ком дух мести бог возбудит
На злую Вавилона дщерь,
И от кого терпеть ей будет
За то, что терпим мы теперь?

Блажен, кто, стоны преселенцев
Послышав, на тебя пойдет
И плачущих твоих младенцев,
Взмахнув, о камень расшибет!..»

Между 1826—1830

НЕСМЫСЛЕННОСТЬ

Теперь ты ратуешь, наш боже!
И с кем? — С созданием своим!
Твой наступ строже, строже, строже,
А мы как мертвые стоим,
И, как погибший, утопаем
В заботах странных, мелочных,
Великой вести не внимаем,
Угроз не слушаем твоих!
И рати ангелов дивятся
Окаменелости людей:
«Не их ли горы так дымятся,
Не к ним ли, в тайну их грудей,
Теснится страх, и души ноют,
Не к ним ли глад и смерть с войной? ..
Мы видим казнь, и бури воют
Над их обителью земной. . .»
Так говорят небесны силы!
А мы не слышим и не зрим,
И, как под камнями могилы,
Своим гниеньем дорожим! . .

Между 1826—1830

ГРУСТЬ В ТИШИНЕ

Объято всё ночною тишиною,
Луга в алмазах, темен лес,
И город пожелтел под палевой луною,
И звездным бисером унизан свод небес;
Но влажные мои горят еще ресницы,
И не утишилась тоска моя во мне;
Отстал от песней я, отстал я от цевницы:
Мне скучно одному в безлюдной стороне.
Я живу, не живу,
И, склонивши главу,
Я брожу и без дум и без цели;
И в стране сей пустой,
Раздружившись с мечтой,
Я подобен *надломленной* ели;
И весна прилетит

И луга расцветит,
И калека на миг воскресает,
Зеленеет главой,
Но излом роковой
Пробужденную жизнь испаряет;
И, завидя конец,
Половинный мертвец
Понемногу совсем замирает!

Между 1826—1830

ПЕСНЬ БРОДЯГИ

От страха, от страха
Сгорела рубаха,
Как моль над огнем,
На теле моем!

И маюсь да маюсь,
Как сонный скитаюсь
И кое-где днем
Всё жмусь за углом.

А дом мне — ловушка:
Под сонным подушка
Вертится, горит.
«Идут!» — говорит...

Полиция ловит,
Хожалый становит
То сеть, то капкан:
Пропал ты, Иван!..

А было же время,
Не прыгала в темя,
Ни в пятки душа,
Хоть жил без гроша.

И песни певались...
И как любовались
Соседки гурьбой
Моей холостьбой,

Крест киевский чудный
И складень нагрудный,
Цельба от тоски,
Мне были легки.

Но в доле суровой
Что камень жерновый,
Что груз на коне
Стал крест мой на мне! . .

Броди в подгороднях,
Но в храмах господних
Являться не смей:
Там много людей! . .

.

Мир божий мне клетка,
Всё кажется — вот
За мной уж народ...

Собаки залают,
Боюся: «Поймают,
В сибирку запрут
И в ссылку сошлют! . .»

От страха, от страха
Сгорела рубаха,
Как моль над огнем,
На теле моем! . .

Между 1826—1830

ГЛАС К БОГУ

Отца и матери я, боже! не имею, —
Отца и мать собой ты заменяешь мне;
Я одинок и чужд в сей чуждой мне стране:
Ни мыслить, ни мечтать, ни чувствовать не смею!
Душа как будто замерла:
Она умучена и страхом и бедами;
И жизнь моя — тропа, которая легла
На высях меж стремнин и льдами...

И память, память — мне беда:
Зачем ей говорить о том, что было прежде,
Когда уж вход живительной надежде
Затворен в душу навсегда?..
И вас, былых друзей, уже не стало — слезы!..
На темных жизненных тропах
В стопы вонзаются занозы,
И бегает за путниками страх:
Везде предатель иль крамольник;
Любви и веры нет ни в ком!
И малодушный оглагольник
Язвит, как аспид, языком!..

Между 1827—1830

ОТ СУПРУГА СУПРУГЕ

(Кн. Н. Ф. Г.)

Сегодня ровно год, прелестная супруга,
Как я тебя узнал,
Увидел, понял и сказал:
«Вот та, в которой мне судьба готовит друга!
Она, или никто!.. Ее душой любить,
Из милых уст небесную пить сладость,
И детскую ее беречь, лелеять младость;
И ею для нее — и с нею только жить;
И сердцем в сердце брать участье:
Вот для души влюбленной счастье!..»
И кто-то слышал мой обет!
И в храме божием она дала мне руку;
Я позабыл былых печалей муку,
И мне светлей стал божий свет!
И год протек... теките, годы!
Но не касайтесь, годы, нас,
И на таинственных часах природы
Не наставай для нас разлуки горький час!..
Цвети, цвети, моя прелестная подруга!
О, сохрани ее, небесная судьба!
Моя вечерняя и ранняя мольба
Всё о тебе, мой друг, души моей супруга!

Между 1827—1830

ОТРАДНОЕ ЧУВСТВО

Каким-то чувством обновилась
Моя тоскующая грудь,
Душа о чем-то взвеселилась
И говорила мне: «Забудь,
Забудь печальное былое!»
И я, послушный, всё забыл,
И мнилось мне, что дым алое
Вился из золотых кадил.
Душа какой-то негой млела;
Понятней говор был ручья;
И звезд великая семья
На высях радостно светлела!
И, полный кроткой тишины,
Природой насыщая очи,
Я мнил, что золото луны
Мешалось с тишиною ночи!
Благодарю его, кто дал
Мне хоть на миг покой сей чистый:
С ним светел стал я, как кристалл,
Одетый гранию лучистой!

Между 1827—1830

К ПОЧТОВОМУ КОЛОКОЛЬЧИКУ

Ах, колокольчик, колокольчик!
    Когда и над моей дугой,
Над тройкой ухарской, лихой
    Ты зазвенишь? Когда дорога,
Широкой лентой раскатясь,
    С своими пестрыми столбами
И с живописностью кругом,
    Меня, мой колесистый дом,
Мою почтовую телегу,
    К краям далеким понесет?
Когда увижу край над Волгой
    И, с гор на горы мча стрелой,
Меня утешит песнью долгой
    Земляк — извозчик удалой?

Когда увижу Русь святую,
Мои дубовые леса,
На девах ленту золотую
И синий русский сарафан?
Мне, сиротине на чужбине,
Мне часто грустно по родном,
И Русь я вижу, как в картине,
В воспоминании одном.

1829 или 1830

РОМАНС

Желанный гость, мой друг младой!
Тоскливо жду тебя я ныне,
Как путник, оскудев водой,
Прохлады в знойной ждет пустыне.

Приди! Тут дружба уголок
Тебе уладила приютный
На миг! .. Неутомимый рок
Разрознит нас, мой гость минутный.

Просил бы я у сих лугов
Даров весны, даров душистых;
Богатств природы — у лесов,
У вод, у сих гранитов мшистых...

Просил бы... чтоб тебя привлечь...
Но ты в местах сих скоротечен,
Как сладкого привета речь
Двух путников в минутной встрече!

Жильцы Карелии! У вас
Я тайной требую науки,
Чтоб отвести свиданья час
Далеко от часа разлуки...

О гость на миг! .. Тебя зовет
В блестящий мир привет забавы:
И от меня мой друг уйдет,
Порадовав, как сон лукавый...

Но хоть на миг будь мой сосед,
Чтоб вместе, дорожа часами,
Ловить минуту для бесед
И слиться радостно душами.

1830 (?)

ИОВ

Свободное переложение священной книги Иова

Глава III

Взглянул страдалец на друзей,
Привстал и ветхие одежды
Оправил... Но, себя страшась,
Поник главой на перси. Тяжко
Вздыхал скорбящий, и — он был
Как кедр, надломленный грозою,
Ни мертвым, ни живым. Но вдруг,
Отдавшись лютой скорби, громко
Осиплым гласом возопил:
«Погибни день, когда из чрева
На гибель вышел я на свет,
И ночь, которая сказала:
«Се, в чреве зачат человек!»
И я записан в книгу жизни!..
Угасни тот злосчастный день
Во тьме глухой и в сени смерти!
Да будет мрачен он, как полночь,
И душен, как полдневный зной! —
И ночь, в которую я зачат,
С тем днем, в который я рожден,
Изглади, господи! изглади
Из книги тайныя своей,
Из лет, из круга годового! —
И в той ночи да не взойдут
Утехи взоров — звезды неба
И миловидная луна!

С рассветом, свежестью богатым,
Заря! ты, в роскоши своей,
Не весели ее ни златом,
Ни пурпуром *своих бровей!* *
Да будет ночь сия бесплодна,
Да будет вся она — болезнь! . .
Пусть темен, сумрачен, как бездны,
Повиснет свод над ней беззвездный! . .
Да ни *единая жена*
В часы погибельной той ночи
Страдальца в чреве не зачнет! —
Не будь у той ночи́ прохлады! . .
Да заклянет тот день, ту ночь,
Кто для заклятий мощь имеет,
Кто тайным словом, в дебрях, змей
И, по глухим лесам, зверей
Иль, с брега, лютых крокодилов
Скликать и заклинать умеет,
Кому дана наука *та*,
Кто, в час свой, древнего кита
Таинственно преодолеет! . .
Зачем тот день, зачем — с той ночью
Мне дали свет увидеть сей?
Зачем я не родился мертвым?
Зачем не умер я — родясь?! .
Почто ты на свои колени
Меня, о матерь! приняла?
Почто лелеяла, ласкала
Меня, младенца, сберегала
И в детских играх и во сне?
Зачем молилась обо мне?! .
Почто меня питали перси?
Земли *небывший* населенец,
Зачем я в чреве не погиб,
Как недоношенный младенец?
Меня б закинуть, чтоб пропал
Я в пеленах, еще без смысла!
Зато давно б уже я спал
Протяжным сном в глубоком лоне,
На общем сходбище — в земле!

* Выражение подлинника.

Там все равны — рабы и князи:
Богач бок о бок с нищим лег;
Для всех один покой счастливый
Под хладным черепом земли!
Покинув троны, там легли
Цари, что в бранные тревоги
За славой гибнущей текли:
Вонзались в небо их чертоги
Из скал громадных на столпах, —
Над прахом их — всё стерлось в прах! ..
И те, что золото холмили
И серебро в своих ларях,
Со мной бы рядом опочили...
Там нет насилий, чужд там страх;
Различья нет там земнородным;
Для узников — нет кандалов,
Нет кабалы там для рабов,
Никто не стонет от трудов...
Всё — долгий отдых и свобода
У *подземельного* народа!
Прохладна за могилой сень! ..
А здесь, а в сей палящей жизни,
В сей бездорожной темноте,
Мы только бродим, как слепые! ..
Зачем ты светишь, божий день?
Чтоб нам показывать, как люди
Томятся, плачут и грустят?
А я — я, мученик безвинный, —
Рыкаю громче гладных львов,
И, словно ток на дне кремнистом,
В моей груди кипит тоска;
Полуистлевшему и нищу
Подаст — *хлеб жизни* чья рука?!
Я воплем приправляю пищу,
Роняю слезы в питие!
Я трачу жизнь, теряю силу,
И сам себе свою могилу,
Тоскуя, вырыть бы я рад,
И *гроб* почел бы я *за клад!* ..
Вот, други! вот мое бытье!
Он каменной налег горою
На перси мне, холодный *страх:*

Я весь им стиснут! Вот я вижу:
Чего боюсь — ко мне идет;
Чего содрогнусь — то надходит!
Горю и зябну... страшно!.. страшно!!.
Изныли кости от тоски!..
Но разве я роптал доселе
Под тяжким натиском скорбей? —
Не сохранял ли я молчанья,
Когда, въедаясь, прогрызал
Мой недуг гибнущее тело,
И видел кости я свои?
Ведь я как камень был, доколе
Меня прожег господний гнев!..»

Глава VI

«О, как бы, други, я желал,
Чтоб здесь, пред вашими глазами,
Спустилися весы судеб
И чтоб на них мои все муки
Господь правдивый возложил!»
Так Иов грустный говорил,
И продолжал с болезнью сердца:
«Тогда б увидели, что скорбь,
Моя болезнь, моя тоска,
Мои несносные мученья —
И вес приморского песка
Перетянули б... Оттого
В моих болезненных речах
Порой тоскливое волненье...
Увы, я чувствую: в меня
Впились, вонзились *божьи стрелы*,
И душу из меня сосет
Их ядоносная отрава.
И ужасы — кругом меня,
Со всех сторон грозой пугают!..
Горю, томлюсь — покоя нет!
Кричу, зову — не отвечают;
Прошусь в могилу — не пускают;
Под зноем мук страдальцу нет
Ни сна, ни сладостной прохлады;

Мой сон наполнен страшных грез,
Глаза растаяли от слез,
И сердце, слыша грозы, млеет...
О горе, я, живой, — мертвец!
Я часто сам к себе с вопросом:
Живу ли я иль не живу?
Я обеспамятел в несчастье
И разум утопил в слезах.
Мне опостылел свет и люди...
А я ведь так любил людей!!.
Всё, всё, чего страшился прежде,
Теперь увидел на себе!
Ведь я — не каменный, не медный...
Осел ревет ли на траве?
И *бык* мычит ли подле корма,
Когда присмотрен он и сыт?..
Что пища без приправной *соли?!*.
Мой хлеб постыл мне стал от боли,
Полынью стало питие!
Увы мне!.. Братья вероломны
Спешат от ложа моего —
Все врознь, как токи снеговые,
Как своевольные ручьи
Без русла. От снегов рожденны,
Те *ненадежные* ручьи
Бегут, теряясь в бездорожье,
И первый яркий солнца луч
Их иссушает до поддонья.
И, мнимой дорожа водой,
Вслед за *скитальцами-ручьями*,
Беспечно доверяя им,
В пустыни идут караваны
И погибают, заблудясь...
Вот караван *Феманский* длинный,
Соввейцев шумный караван
По тем ручьям пошли в пустыню
И ужаснулись, зря обман
Своих предателей безводных...
И я хотел бы воду жизни
Из ваших вычерпнуть речей
И освежиться ими в жажде;
Но, вместо сладких токов водных,

Пред несчастливцем появились
Вы уж иссякнувшим ручьем!!
Так чем вам напоить страдальца,
Отверженного от людей?! .
Да! — я отверженец, бездомок,
Кому чужда уже земля...
Я брошен бурей, как обломок
В грозе морей от корабля...
Но разве у родства, у дружбы
Я требую себе даров,
Или наград моим утратам,
Иль избавления от бед,
Иль выкупа от супостата? ..
А признаюсь: я б оценил
Одну слезу — слезу от сердца,
Когда б сюда, на грудь мою,
Ее участье обронило...
Но вкруг меня — один упрек! ..
Скажите ж: *как* и *что* мне делать? ..
Я стисну грусть и замолчу!
Без доказательств доказать
Хотите вы свою мне правду,
А голос скорби и тоски,
Как дым, пускаете на ветер! ..
Друзья, богатые умом,
Меня в безумьи не вините!
Безумен я? — так обличите...
Я неразумен? — научите...
О, мудрена наука жизни!!
Но я готов вам уступить,
В чем уступить по правде можно!
Ваш долг помочь и просветить, —
Но вы в речах своих так строги! ..
Участья нужен мне елей!
Мои свежи еще так раны!
А вы с оружьем острых слов
На безоружного напали,
И, сети ставя сироте,
Подкоп под дом его ведете!
Хотите ль сердце смять мое
И, запугав, засыпать мразом
Последний жар моей души? ..

Однако ж выслушайте, други!
Сберите все мои слова
И взвесьте их и рассудите:
Напрасно ль друг ваш вопиет,
Иль вопиет в нем чувство правды? ..
А правда ведь еще моя!!»

Глава VII

Что наша жизнь? — Тревожный сон,
Борьба и тяжкая работа!
Как раб, боящийся лозы,
Влача свой плуг под ярким зноем,
Всё рвется, чтоб укрыться в тень;
Всё смотрит — скоро ль долгий день
Завечереет, скоро ль отдых?
Так дни и месяцы текут
Моей многострадальной жизни! ..
Всё тело рушится мое:
То вдруг его облягут раны,
То заживут... И вдруг опять
Моя растрескается кожа
И, гноем накипев, болит...
Жизнь, смерть, день, ночь... всё стало смутно...
Сомкну ли ночью я глаза
(Страдальцу ночь долга, как вечность!),
Я пробужусь и говорю:
Когда ж рассвет? Ах, скоро ль утро?!
Приходит утро — я опять,
Вздыхая, вопию: где ж вечер?!
Мое всё тело — струп и струп,
И я — седой, стенящий труп!!!
Как ссохлась, пригорела кожа! ..
Увы, мои былые дни
Мелькнули, будто в зыбких красках:
Мелькает нить за челноком...
Промчалась жизнь скорей беседы
И стала мимолетным сном...
О горе! Всё невозвратимо!
Прошла пора моих надежд! ..

Земных отрад, земного счастья
Уж не видать мне и в мечте!
Как облак дымчатый редеет
И исчезает в высоте,
Так я исчезну! Бездна ада
Не выдает *своих*, увы!
Оттоль не выйдешь в дом родимый,
Ни вести к ближним не пошлешь!
Уйду — и без меня застынет
Мое и место на земле!! .
Итак, доколь еще язык мой
В устах вращается, друзья,
Я буду, буду всё, с тоскою,
Всё беспрерывно изливать
Всю ярость беспредельной скорби:
Скажу и выскажу векам,
И поздним донесу народам,
Что совершалось здесь со мной,
Как мучили меня в пустыне! ..
Что — я? .. Речной ли крокодил,
Иль гневная пучина моря,
Что так плотиной обложен,
Так связан, заперт и стеснен?!
Когда прошу: дай мне отраду,
Дай видеть счастье хоть во сне, —
Далеко дикою мечтою
Ты сон мой отгоняешь прочь...
То окружен я пустотою,
То черная, в пустыне, ночь
Полна страшилищ: вот их очи
Огнем неистовым горят,
Они в меня вонзают взоры;
То реки с клокотом шипят,
То с грохотом валятся горы —
Все на меня! ! . Я весь разбит,
Изломан, раздроблен, убит;
Мое от страха сердце жмется,
И весь я — как под бурей трость;
И слышу — всё во мне трясется,
И ударяет кость о кость...
Почто ж томить? .. Вели скорее
Меня изгладить из живых

И душу свободить от духа,
От смерти кости свободить!
О! Что есть человек, сын персти,
Что ты так чествуешь его,
И с непонятною заботой
О нем радеешь и болишь,
И в дивных утренних виденьях
Ему о *тайном* говоришь?..
За что ж меня терзать? И долго ль
Мне ропотным и скорбным быть?
Пусть я грешу, — но что я значу
Перед тобою, страж людей?
Зачем сражать меня стрелами —
Негодовать, как на врага?
Чтоб не помиловать страдальца,
Не снять бы всех его грехов —
Из жалости к сей бедной жизни!!.
Ведь, может, завтра же придут,
Меня поищут... и напрасно!
Страдальца боле не найдут!..

Между 1826—1834

ДЕВА КАРЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ

Повесть в стихах

А.** А.** Н.**

Я обещал вам переслать, в письмах, статистическое описание Олонецкой губернии, края уединенного, бедного людьми (ибо на 12 000 000 десятинах здесь едва найдется 100 000, и то не совсем постоянных жителей), но богатого великими запасами лесов еще нетронутых, руд неископаемых, каменных пород (мрамора, порфира и проч.) высокого достоинства, красильных земель и камней, могущих стать наряду с драгоценными, ибо, кроме других, на островах Кижи находят хорошие аметисты. Я уже собрал некоторые материалы для составления обещанного. Но пока созреет что-нибудь довольно удовлетворительное для строгих требований науки, примите, в знак дружбы и благодарности за дружбу, мою небольшую повесть. Она познакомит вас отчасти с пиитической стороною сил лесистых пустынь, на пространстве которых почиют огромные озера, почти можно сказать — пресные моря, ибо Онега имеет более 1000 верст в окружности и 10 000 кв. верст площади.

Что касается до описанного происшествия — содержания повести, — я объясняюсь о нем в особом введении.

Введение

Около 1695-го года леса, окружающие пустынное озеро Лексу, укрывали трех братий-изгнанников. Они были княжеского рода. Память о них и поныне жива в пустыне Выгорецкой.

В 18** году один из почтеннейших в сем крае (в Олонецкой губ.) чиновников, искусный стрелок, любя странствовать в диких местах

(он, может быть, находил в них сходство с своим природным отечеством — горною Шотландиею), проник однажды далее обыкновенного в лесистые окрестности города Петрозаводска, застрелил большую медведицу с двумя подростками и в чаще пустынного леса заметил следы постоянного жилища человека. В ту же ночь сделал обыск; лучи зажженной лучины осветили темноту бора, и открылось, что там, в местах необитаемых, действительно жил, с давнего времени, человек, уклонявшийся от преследования закона. Он был женат и уже в пустыне стал отцом 5-х детей. Все они жили в хижине, имели корову и некоторое хозяйственное обзаведение.

И в самые недавние времена находили по лесам Олонецкой губернии уединенных скитальцев, скрытно проживающих, иногда по нескольку лет, в убогих хижинах. Вместе с ними представляли в суде небольшое их имущество. Оно состояло из самодельных шведских гуслей, разных изделий из карельской березы и мелочных вещиц, украшенных резьбою. Сим, говоря по-русски, коротали время сии отшельники от общества, которое должно было преследовать их законом возмездия.

Я предлагаю повесть также о *несчастных*. — Может быть, читатели захотят исследовать: когда? где? и кто такие они были? Это намерение легко может произойти и от духа нынешнего времени, которого отличительная черта — есть стремление со всего снимать покров, все исследовать не только в науках положительных, но и в самых изящных художествах и в самой поэзии! Но, прежде чем приступят к разбору моей повести с намерением узнать, что в ней истинно и что принадлежит изобретению, да позволено мне будет предложить небольшой рассказ. Вот он.

Где-то на Востоке, кажется там, где в пределах древнего Ирана красуется богатый Ширас, славясь своим огнистым вином, чудесными розами и песнями Хафиза, которого стихи пламенны, как вино, и благовонны, как розы его пленительной отчизны, — кажется так, как мне рассказывали, случилось однажды нечто достойное быть пересказанным. Молодой человек (вероятно, он был еще очень молод!) гулял в долине (ей, как слышно, дано было звучное название: бильбил и стон, т. е. долина соловьев), нашел прелестную розу. Она блистала румянцем зари и была свежа, молода и прекрасна, как любимейшая из жен великого шаха, когда выходит она из благовонной купальни своей, чудесно устроенной из хрусталя и зеркал. Долго любовался юноша цветком своим и мог бы любоваться им еще долее... Но ему пришла мысль: исследовать, отчего в розе аромат и румянец? Какие части составляют цветок? Что можно найти в нем существенно прекрасного? и так далее. Вздумал — и сделал. Уже все листки ощи-

паны, шипок разобран, стебель изломан... И что ж открылось? — Искатель, вообразив найти многое, не нашел ничего, но потерял и цветок и наслаждение... После этого поступайте как угодно с моей повестью.

Но если и чудесная ширасская роза не выдержала холодного исследования, то что станется с этим бедным цветком, кое-как выросшим на бесплодной олонецкой почве?

Часть 1

1

Над озером, в затишье диком,
Лишь чайки да гагары криком
Тревожат отзывы в лесах, —
Когда на высях коршун жадный
Плывет, чернея в небесах
Как пятнышко... Безлюдный, хладный
Залег, как в гроб, в обломки гор
Сей край с своими валунами; [1]
Он весь колючими стенами
И цепью обнесен озер.

2

Как озеро зовут? — кто знает?
Без имени лежит оно!
Его нерудяное дно
К себе людей не привлекает!..
На что? Зачем туда? Кому?
Сей дикий край (в быту пустынном
Ему и имя не дано!)
Лежит, как синее пятно, [2]
Вдали, на небосклоне длинном.
Так видят иногда его
С озер, где сойма пробегает,
И на вопрос: «Кто там?» бывает
Один ответ: «Там никого!..»
И кто-то в зеркале великом
Лесистый брег нарисовал...

Под рамой каменной светило
Оно, как вылитая сталь,
Но было тускло и уныло,
Как над песчаной степью даль,
Как затаенная печаль;
Оно с туманным, бледным ликом
Давно, давно в пустыне спит;
Как тайна, бор над ним молчит.

3

Однако ж иногда мелькнут
И там одна, порой две тени,
И мнится, будто бы взойдут
На обнаженные ступени
Зеленовидных сих громад...
Над спящим лесовым кристаллом,
Под алым утра покрывалом
Скользит украдкой чей-то взгляд...
И счастье, что не замечают!..
Что некому подслушать их!..
Тут, точно тут! — порой вздыхают
И шепчутся в пустынях сих!..
Там никого... Так отчего же
В лесах огни горят порой,
И в диких дебрях, в бездорожье,
Мелькает кто-то под горой?
Без бури движутся озеры
И говором полны пещеры?
Карелы дикой ведуны
Вам много чудного наскажут
О тайнах сей лесной страны,
Сорвут покров и вам покажут
Людей, селенья, города,
Их быт, хозяйство, их стада...

4

И там же слышен рев коровы,
И в чаще ржание коня,
И чей-то свист в глуши дубровы...

И... Всё уверило меня,
Что там не без людей!.. Есть кто-то!
Вот, на песке, остался след!..
Где ж временем видают свет?..
Порой, как будто за работой,
Стучат... а кто? и где?.. Кому
Там быть? Туда и лыжи
Не мчат ловца: там что ему?..
И звери вьются близко хижин.[3]
А там всё глушь и пустота!
Оголодав в лесах без снеди,
Оттоль выходят и медведи.
А след? — А признаки? — Мечта!

5

Нет, не мечта! Я верно знаю:
Есть... Есть там житель, и какой!..
Над безымянною рекой,
Уж часто сам... я сам видаю...
Нет! Не пуста сия страна!..
Пускай дика и неизвестна,
Тем лучше! В ней... и как прелестна!
И как стройна! И как она
Легко скалы перебегает,
Чуть тень за нею поспевает;
В руке стрела, натянут лук,
Она владеет ими ловко!
Но почему же не с винтовкой?
Как можно! В их пустыне звук —
Беда! Он тайную обитель
Откроет, огласит; наш житель
Укрыт от мира, чужд всего...
Но мне пора открыть его!..

6

Не говорите людям! Бедный!
Пусть доживает! Что губить?..
И так задумчивый и бледный!..

И так, в тоске, уж тлеет нить
Его лесной печальной жизни...
Покинув дом, свои поля,
Отброшен от своей отчизны,
Он... как обломок с корабля,
Упав, забыт в день жаркой битвы,
Кружится... Уж давно пришел
Корабль и встречные молитвы
И радость у своих нашел;
А где ж обломок? Он, несчастный!
Всё бьется на волнах, пока,
Гоним тревогой повсечасной,
У брега... невод рыбака
Его нечаянно хватает,
И он в далекой стороне,
Иссохший, медленно сгорает
В чужбине, на чужом огне...
Так он! .. Но имя будь сокрыто!
Страдальцев тайной дорожу!
И всё, что мной от них открыто, —
Без их имен я расскажу.

7

Он... видите ль... он обвиненный...
За что и как? .. Не знаю я...
Но за семнадцать лет семья
Иль только он (спасенный,
Отколь: с дороги ль? из тюрьмы?
Кто знает? О том не знаем мы!),
Она и он в сии пустыни
Пришли и погрузились там,
Где — видите ли? — бор тот синий...
Тот угол неизвестен нам! ..
Однако ж, из глухой Карелы
Возя заводские урки,[4]
Видали, что в волнах реки
Спокойно плавал лебедь белый.
Смекали, может быть, и то,
Что вряд ли та пуста дуброва:
Мелькнет в ней конь, порой корова...
И как им быть в бору пустом? —

Есть слух, что прежде в ближни селы*
Ходили наши по ночам
И добрые сыны Карелы
Делились с ними... Но и там
Вдруг стало строго... Все боялись:
Никто не заходил уж к ним,
И наши в свой пустырь прижались,
И им досталось жить одним...
Одним! Но кто знавал, кто знает,
Что значит дружба двух сердец,
Меня тот верно понимает!..
Притом он скоро стал отец.
Но, бедная!.. Ее печали
(Быть может, память лучших дней!)
Томят, томят... И вот уж ей
Недолго жить! Уж погасали
И чувства и огонь очей...
Грустили ль вы в тиши ночей
С прелестной, гибнущей звездою,
Отпавшей от выси своей?..
Так, в цвете, с жизнью молодою,
Отпала, бедная, она!
И мы — под склоном старой ели —
Ее нашли б пустынный гроб,
Когда б не снежные метели
Взбурили белый там сугроб!..

8

А кто же он? — Один?.. Их двое:
Младенец-дочь при нем растет!
В ней радостно, в нем сердце ноет:
Он ею, им она живет!..
Не зная лучшего, не знает
Она ни света, ни людей:
По берегам озер гуляет
И свежей младостью своей,
Как роза дебрей сих, блистает,
И помнит их судьба... И вот
Еще товарищ им!.. Он белый!..
На озерах глухой Карелы

* Ребольские погосты.

Крылатый плавает народ:
То лебеди! Один — так было,
Когда летать пришла пора
И замерзали озера, —
Замедлил... Вдруг его схватило:
Он крыльями примерз ко льдам!..[5]
Но он спасен! — И вот гуляет
С младою девой по лесам,
И лишь порой его смиряет
Из шерсти розовый шнурок.
Вот, стройный, с ожерельем красным,
Не любит быть он одинок —
И ходит спутником прекрасным!..

9

Как их проходит день? Как ночь?
Что делать в вечер длинно-томный?
Смотря на свод небес огромный,
Он часто говорил ей: «Дочь!
Взгляни на красоту созданья,
На этот круглый свод небес, —
У бога много есть чудес!..»
И повторял он ей преданья —
Преданья памяти веков, —
Как древле вечная любовь
Явиться в тварях восхотела,
Как раздалось: «Да будет свет!»
И жизнь младая закипела,
И началось теченье лет.
Как из стихийных, бурных споров,
Пестрея тысячьми узоров,
Явилась круглая земля,
И улеглись над нею бури,
И, в раззолоченной лазури,
Постлались черные поля.
Он говорит, что нам известно,
Как дивный, в таинствах судьбы,
Ведет нас промысел небесный,
Что мы у бога не рабы,
Но слабые, больные дети;
Что некогда расставил сети

В стране блаженства праотцам
(По них враждующий и нам)
Коварный, умный искуситель,
И как страданьем искупитель
Опять нас с богом примирил.
Так, умиленный, говорил, —
Дочь слушала, а высь пустая
Переменялась: золотая
Черта за полною луной
В оттенках радуги сияла;
И часто, в тишине ночной,
На звездном серебре пылала
И расстилалась по горам
Заря от севера... Прекрасно
Передавались озерам
Огни и пурпур. Не напрасно
Он поучал, он говорил:
От ранних вечера светил
До утра длинной, длинной ночи
Ее не закрывались очи.
И, встретясь с розами зари,
Она еще отцу внимала
И с детской лаской лепетала:
«Что ж ты умолкнул? Говори!»

10

Пожар! .. Или кончина света!
Я вижу признаки рассвета
В час полночи. — Ужель сбылось,
Что солнце вспыхнет в час полночи?
Смотрите, зарево зажглось!
Не изменяют ли нам очи?
Несутся чрез зеленый лес
Потоки пурпурного пламя:
Не ангел ли в выси небес
Свое развертывает знамя? ..
Еще полночь... И даль тиха...
Всё глухо в дебрях и пещерах,
И слышен голос петуха
На восемнадцати озерах...
Но прояснилась вышина,

Виденья тайна прояснилась:
Огнем и кровию полна,
Луна огромная явилась...
В Карелии, в глуши лесной,
Что занимает их? Порой
(Бывает чаще то весной)
Они пленяются игрою
Воздушных, радужных картин:
Встает, как башня, исполин,
Скользит огромными ногами
В хрустальном поле вешних льдов,
Главою ищет облаков
И странствует над озерами...
Зарей и синевом горит
Его прозрачная одежда...
Он мысли, как мечта, манит
И исчезает... как надежда...
«Кто ж это? — дева говорит. —
Отколь виденье возникает?»
«То воздух! То игра лучей.
Так часто у людей бывает,
Обман для сердца и очей», —
Вздохнув, отец ей отвечает.
В Карелии богатство — виды!
Идешь — и пред тобой вдали
Египта виды: пирамиды,
Заливы, реки, корабли
И стены с длинными зубцами...
В Кареле — корбы, как шатры,
И синеглавые бугры
Под шелковидными чалмами;
В них заметает полосами
Зима пушистый свой атлас,
И соснам, на вершинах сельги,
Дает и радужный топаз,
И жемчуг для монист, и серьги,
С подвесом чистых хрусталей.
Всё блещет в чаще сих аллей.
Но всё мертво! Как пышность света,
Холодная и без души,
Карельский бор в своей глуши
Дивит, не радуя поэта!

Часть 2

1

Как ты мила, полукарелка,
Невинная, как простота!
Твое хозяйство: клест да белка!
Твоя младая красота
Цветет и родилась в пустыне,
Далеко от отцовских стран!
Твой сарафан, карельский синий,
Как хорошо твой облил стан!
И твой товарищ, лебедь белый, —
В воде, на суше спутник твой!
Ручной, и ласковый, и смелый
К тебе в колени головой
Доверчиво порой ложится,
И дремлет — полный тайных нег!
А клест — над головой кружится,
А белка — свой грызет орех,
Рисуясь на плече. — Как мило
Всё, что твое! Но на руке
Кольцо златое не светило,
И в непроколотом ушке
Алмаз не искрится в сережке,
И на летучей, стройной ножке
Лесная обувь; за спиной —
Стрела... Кому она грозила?..
Ты, верно, ею не губила
Жильцов своей глуши лесной;
Ты, добрая! Ты знала жалость!
Тебя расстраивала малость:
Была игрушкою стрела!
Как жаль, что ты в поре расцвета
Должна дичать вдали от света;
А ты, о дева, так мила!..

2

Быть здесь! .. Но если б быть спокойной!
В сии леса пришла весна:
Стеснился жар в пустыне знойной,
Ясна сухая вышина!
Пески и камни раскалялись
От переломленных лучей,[6]
И был лишь вечер без ночей;[7]
Почти не гасли, не смеркались
Без звезд, пустые небеса:
С тоскою взоры в них терялись,
И в самый заполночный час,
И утром, пред зарею алой,
Голубо-цветной, полинялой
Казались мантией для глаз!
Но что ж — в отливе изумруда,
В выси, — что деялось с луной? ..
Как от священного сосуда
Давно отломленное дно,
Она круглилась неприметно
(На горизонте бледноцветном),
Как серебристое пятно! ..
В пустыне душно! .. Всё сгорало,
Томились, вянули леса —
И в деве сердце замирало:
Она тоскливa и желта,[8]
Трудней в туманных думах ходит,
Чего-то ищет, не находит...
Везде покой и пустота,
А в ней тревожное волненье:
Грустна душа, неясен ум,
Неровен нрав: то вдруг смущенье,
То весела... то — буря дум! ..
И ей казалось — там и счастье,
Где дальний город чуть мелькал:
Там есть кому принять участье!
А здесь? .. Ей будто кто шептал:
«Ты пленница сих душных скал!»

8

Отец увидел, дочь не скрыла
(Где ж научиться ей скрывать?),
И вот родному говорила:
«Я не могу не тосковать!
Мне к людям хочется... Родитель!
Меня ты, бедную, прости!
Ах! долго ль эту жизнь вести?
Сей гроб надолго ль нам обитель?..
Одна, от грусти чуть дыша,
Дремлю ли я, иль замираю,
Какой-то жаждой всё сгораю:
Туда всё просится душа.
И сердцу тесно стало в груди:
Ах! как там весело: там — люди!..»
Вздохнул он, но сказал: «Как быть!
Чего нельзя переменить,
То скрасим, жизнь моя, терпеньем...
Терпение нам лучший друг!
Оно целительным забвеньем
Былого так врачует дух!..
Когда господь, отцов карая,
Изрек им, бедным и нагим,
Свой приговор, и стражем рая
Явился грозный херувим,
И, слившись из огня, покровы
Завесили, как тайну, рай, —
Перед Адамом новый край,
Уединенный и суровый...
И горько, горько возрыдал
Наш грустный предок первородный
(И в тяжкой ссылке благородный!):
«Что даст мне цепь сих мертвых скал,
Эдема сладкими садами
Вскормленному? Что даст земля?
Сии пустынные поля,
Древа с их горькими плодами
Что мне, изгнаннику, дадут?
Всё здесь пророчит скорбь и труд.
Но в чем найду я услажденье?»
И много пролил, грустный, слез,

И ангелы, жильцы небес,
С ним плакали. Но умиленье
Коснулось господа, он рек:
«Прими от зол земных целенье,
Будь дружен с жизнью, человек!..»
Он рек — и дал ему... терпенье! —
Тебе прочту в понятном русском слоге,
Как он в тоске, как он в тревоге,
Терпя и скорбь и нищету,
Передает векам страданье...
Послушай, дочь, сие преданье!
(Читает начало «Пируют Иовы сыны»
и «Семь знойных отпылало дней!..»)

Вот были, дочь моя! страданья!
Но час ударил воздаянья —
И кончились страданья те.
Ты отдалась пустой мечте:
Что к людям? — С ними, в суете,
Душе не можно устояться;
А можно ль небу отражаться
В восколебавшейся душе?
В пустынном нашем шалаше
Нам тихо... Мы одиноки!
Нет тут ни бурей, ни тревог!
На всё у бога час и сроки,
Придет и наш черед...
Увидим то, что было прежде
И что не отдано тебе.
Отдайся, дочь, святой надежде
И тайной господа судьбе!»

4

«...Я говорил: любви не стало,
Я говорил тебе не раз!
При мне уж счастье отцветало
Там, у людей... И он погас,
Огонь небес, огонь-живитель,
Который души их питал;
Их ум (расчетливый ловитель)
Своим волшебством обаял.

Рабы условного страданья,
Они не знают сладких слез
И неги сердца — состраданья. . .
Зато теперь от прежних роз
Одни лишь терны им остались.
При мне еще, когда я был
С людьми, они уж изумлялись:
Зачем вдруг жар к добру простыл?
Куда девалося веселье
Отцов, проживших в тишине?
Вступя как будто в новоселье
И посмеявшись старине,
Они забыли прежних нравов
Незлобие и простоту;
Вошли охотой в тесноту
Условных, приторных уставов
И полюбили суету
И жадных прихотей причуды.
Не стало радостей былых,
Не стало жизни у живых:
Они — как праздные сосуды. . .
Везде, во всё ввели расчет
Сыны греха, сыны разврата;
Честей алкают, ищут злата,
И стал жесток сей хладный род,
Как сей металл, им столько чтимый! . .
Без жизни — жизнию томимы;
Тоска живет у них в очах.
Что ж в их беседах? что в речах?
Всё суд над ближним! И, любимый,
Их умный, острый разговор —
Насмешка, едких слов набор,
Облитый желчию укор.
Гордясь конями и убранством,
Бывало, позванный на пир,
Как раззолоченный кумир,
Приходит гость с холодным чванством;
С притворной лаской меж собой
Пустой привет они меняют
И, будто званные на бой,
И зло и зорко примечают,
Куда и где разить? У них

В их празднествах, при мне бывалых,
Блистали радугами залы,
Кипело в чашах пировых;
Но было что-то всё уныло,
Был всяк студен и одинок
И втайне грустен, как могилой
Мертвец отпущенный на срок.
Верь мне: у них не стало сладких,
Простых, но свежих, пылких чувств:
Везде поддельный блеск искусств,
И все разгаданы загадки;
Их жизнь — прочитанный роман,
Который повторять уж скучно!
И слово: счастье — им не звучно,
Оно для всех — былой обман!»
Так говорил, и чтоб тревогу
Младой души ее развлечь,
Он внемлет с ней молитву богу
И о другом заводит речь:
«Ты родилась в пустыне, и...
Дитя, ты дорого мне стало!
Ты при рождении слезами облита,
Тоской взлелеяна и горем повита...
Зима ль, мороз, места сии,
Другое ль что виной... но, мало-
Помалу, стало упадать
Здоровье бедной!.. И, лелея
Тебя, твоя томилась мать,
Как миловидная лилея
На стебле раненом. Она
Лила и слезы, но украдкой...
Настала ранняя весна,
И в сих пустынях было сладко!
На черствых скалах сих холмов
Породы мхов зазеленели,
И красовались наши ели
Румяным глянцем их цветов.[9]
Мне мысль пришла: я осторожно
Больную взял и перенес
Сюда под ель: тут было можно
Дышать и веяньем небес
И освежительным куреньем

Янтарной, каплющей смолы.
Она смотрела с наслажденьем
На величавые скалы
С их чудной, дикой красотою...
Но вешний воздух, тишина,
Иль солнце кроткой теплотою
Ей дали сон. И вот она,
Всё глубже, глубже засыпая,
Светлела выраженьем дум —
Каких? Об них наш ум не зная,
Что может нам сказать наш ум?
Я видел: тихо исчезало
Страданье на ее челе,
И из нее и в ней сияло,
Казалось, небо, как в стекле:
Она чудесно обновлялась
И, жизнью свежею цветя,
Была чиста и улыбалась,
Как колыбельное дитя...
И вдруг заговорила: «...Поздно!
Не доживу я до зимы!
Но не грусти и верь... не розно —
Не вместе будем только мы!
Как явственно! — Всё, всё я знаю,
Всё вижу и читаю всё:
Отсрочено... пока мое
Дитя я грудью допитаю...»
Я кинулся к ее ногам:
Не знаю, что со мною сталось?
Мое всё сердце разрывалось
И, дав свободу я слезам,
Ее тронýл... Она мгновенно
Проснулась и, слегка дрожа,
Была покойна и свежа;
Лишь взор, как будто изумленный,
С неясной думою блуждал,
Чего-то будто бы искал...
«Как сладко я спала!» — сказала,
Но ни о чем не вспоминала,
И я о слышанном молчал!

5

Была, дитя, ты в колыбели,
Я без сохи, сам землю рыл,
Но вдруг я скучен... загрустил.
Оставил всё, к тебе спешил.
И что же? Над тобой, на ели,
Две страшных лесовых змеи!
Глаза открыла ты свои,
Но, их не зная, не пугалась!
Одна из змей еще ползла,
И та уж в колыбель спускалась;
Но ты, мой друг! была светла
И, чем-то тешась, улыбалась!..
Что сталось с бедным тут со мной?
Я вдруг застыл, вдруг распалился.
Туман в глазах! Кругом ложился
Какой-то мрак передо мной!
Дрожа, мои колени гнулись...
Но я дрожал не за себя —
Бог видит! — Я жалел тебя!..
Уж обе близки... Вдруг проснулись
Во мне и вера и любовь,
И я, как коршун, на врагов!
Схватил... Одну топчу ногами,
Другую рву в моих руках;
Они... но силу дал мне страх
И с ней победу над врагами.
Я кончил свой неравный бой,
Нечистых кровь на мне дымилась,
А ты, младенец тихий мой,
Ты на руки ко мне просилась...
Я взял и кинулся с тобой
Пред ясным небом на колени!..
Давно легли ночные тени,
Но грудь моя была светла:
Мое всё сердце изливалось
В молитве. Что со мною сталось?
Не знаю, где душа была?..»

6

Он говорил, она внимала
И, малодушья устыдясь,
Уж с воплем кинуться желала
К ногам отца. — Но вот, стеснясь
Над высью горной, туча с тучей
Вдруг вспыхнула... Сперва
Сверкает молньей. Вдруг зыбучий
Клубится воздух... Грянул гром,
И с грохотом задребезжали
Камней обломки и скалы;
И вздулись в озерах валы
И белым стадом побежали
На дикий наволок лесной, [11]
И хлещет на скалу волной...
Буравит вихорь берег зыбкий,
Растут в Онеге острова:
Всё выше... выше их глава! [12]
И гнется красный лес негибкий,
И ель, свидетель трех веков, [13]
Пустынь пира́мида, с бугров
Обрушилась с ужасным треском...
Стемнелось в небе и в лесах!...
И, ослепленный грозным блеском,
Боится леший... [14] В парусах
Куда-то чью-то сойму мчало, [15]
Под пеной шумною урчало...
То — кижане! Гроза сильна;
Они бледнеют, но ни слова:
Им кем-то сила придана!
Дика, сердита и сурова
Их молчаливость. Им беда!
Просос и щели меж пазами,
И в свищ журчит вода со дна!
Скорее кузов с муравами!..
Вот их на берег понесло,
Уперся каждый на весло
И режет пенистые груды;
Нет пользы: перед ними
Девятый вал — и челн вверх дном!
Все вплавь, за снасть, за борт схватятся,

И вот на берегу пустом
Один... Но всё сильнее гром...
И ярче молнии блистая
Как будто сеются дождем!
Тут стог сенной, там вспыхнул дом,
Пылал местами бурелом,
И даль горела золотая...
Пустынники — отец и дочь —
Без слов стихий дивились битве,
Доколь сошли: покой — в молитве
И освежительная ночь.

Часть 3

1

«Что сталось с прежними местами?
В них нет уж прежней пустоты!
Тут кто-то бродит. За кустами
То шум, то шорох... Вдруг кусты
Как будто шепчут... Знать, листы
Шелещут на ветвях осины?..
Не ручейки ль? Не ручейки:
Их не таков язык пустынный!..
Тот шум... не шум от струй реки!»
Так дева часто рассуждала
Одна, как призрак, на горе.
И уж нередко на заре
Она (но знала ль что?) слыхала:
Как будто песни, будто звон
Чудесный, сладкий... Что ж бы это?
То был всё ближе... ближе он,
То удалялся... Здесь ни летом,
Ни с утешительной весной
Нет птиц, которые б так пели!
И то не песни; то запели
И вторились в тиши ночной...
А что? Как ведать?.. И, порою,
Тут будто кто-то говорил,
И голосилось за горою...
Тут кто-то новый... Кто б он был?..

2

И вот, как дева раз глядела
На даль, озера, волны рек,
Она вдруг: «ах!» и онемела —
Пред нею новый человек! . .
Рост средний, грудь взвилась высоко,
Осанист, кудри на плечах,
Веселый, свежий, черноокий,
С огнем души в больших глазах;
С винтовкой, гусли за плечами,
Он деву будто как видал:
Быть может, он ее гуслями,
Незримый, часто изумлял.

3

Они друг на друга смотрели:
Она. . . но нет . . в ней не боязнь,
Ее глаза, как день, светлели,
В душе какая-то приязнь
Мгновенно вспыхнула, пылала, —
Она совсем людей не знала
(Возрос ее в пустыне век),
И мил ей новый человек!
Вот ближе, ближе их знакомство:
Друг с другом с лаской говорят.
В нем быть не может вероломство,
Его так тих и весел взгляд! . .
«Как звать тебя? . .» Она не знала,
Об этом гостю что сказать!
«Мою Еленой звали мать!
А меж собой, — она сказала, —
Я просто говорю: „Отец!",
А он мне: „Дочь!" Имен не знаем! —
Когда ж друг друга мы ласкаем,
То, в излиянии сердец,
Он говорит: „Мой ангел милый!"
А я: „Мой добрый, нежный друг!"
Поймешь ли ты, как весел слух
От этих слов в глуши унылой? . .»

4

«А этот лебедь? — он сказал
И на ручного показал. —
Как мил он в алом ожерелье
Из алой ягоды лесной! ..» —
«Мое пустынное веселье!
Со мной он дружен, как родной!
Нам бог послал его на счастье:
Он в нас, мы в нем берем участье,
Он, бедный, от своих отстал,
И мы ведь от своих отстали! ..
Он нашу чувствует любовь! ..
Когда озер над синей влагой,
Плывущих белою ватагой,
Или в выси услышим зов
Летящих лебедей куда-то,
Мне жалко друга! Он, с собратом,
Уж не увидит тех краев,
Где, может быть, и солнце краше
И воздух слаще! .. Но уж крик
Своих не слышит; житье он наше
Как будто полюбил, привык
Ко мне, к отцу, сроднился с нами:
Мы вместе с ним едим и пьем,
И ласковыми именами
Мы друга белого зовем! ..»

5

И на вопрос: «Когда? как долго
В пустыне здесь? .. И с кем зашла? ..»
(Но что она сказать могла? ..) —
«Я здесь одна с отцом, да с богом! ..
Уж мой отец в пустыне жил,
Себя как только помнить стала!
Меня ж он повил и крестил:
Я христианка! — Подавала
Мне всё родимого рука,
Лишь не могла, хоть раз желала,
Мне в детстве проколоть ушка,
А то ведь надо! — так сказала, —

Ведь то у всех... Там... далеко!»
И милой ручкой показала
На милое свое ушко...
«Мы жили над большой рекой,
Простой, лесной питаясь пищей;
Как домик ласточки, жилище
Отец мой сильною рукой
Примкнул в глуши к скале отвесной.
Его забором окружил
И будто клад заветный скрыл
Под шаткой купою древесной...
Однажды, с полночи, завыл,
То было, помню я, весною,
Ужасный вихорь. Он стеною
Леса со треском наклонил,
Иль в зыбкие согнул их своды...
И вот растут, растут вдруг воды;
Отец мой спал, но вижу я,
Обитель наша отклеилась
И, как под парусом ладья,
По бурной воле устремилась...
Я помню, как летели мы,
Волной свирепою влекомы,
И скоро, из пустынной тьмы,
В поля... Везде светлели домы,
Среди садов и пышных нив;
Как мне заманчив и счастлив
Казался край! Из тайн груди
Душа рвалась, и часто люди,
Спеша радушно к берегам,
Кричали нам, махали нам!
Но мой отец людей боялся;
А между тем наш домик мчался
И, миновавши чудеса
Людского быта, вновь в леса
Вбежал. Смягчились небеса,
Клубиться воды перестали,
Луна зарделась в их стекле,
И мы, спасенные, к скале,
У тихой заводи пристали...
С тех пор по ветру, по звездам
Мы в лес знакомый пробирались...

С людьми порой хоть и встречались,
Но страшны были люди нам! ..
Теперь же, в очередь свою,
Мой добрый гость! Скажи мне: кто ты?
Мне мило знать про жизнь твою.
Сюда случайно, для охоты
Зашел с винтовкой ты своей,
Или как мы? .. Где край родимый?
Зверей гонитель, иль гонимый
Пришел ты скрыться от людей?
Здесь безопасно... Я слыхала».

6

«Я вижу, дева, ты земли
С ее красами не видала;
Страна людей тебе вдали,
Как сновидение, мелькала,
Быть может, ты по ней вздыхала! ..
Своих градов и алтарей,
Жилищ и роскоши царей,
Чужих народов, их богатства,
Ни реющих лазурь морей,
Под бурей распустивши крылья,
Домов пловучих — кораблей,
Ни юга с роскошью полей,
Страны счастливой винограда,
Отчизны роз и соловья, [16]
Красот пленительного сада
С душистой зеленью лесов;
Ни наших теплых вечеров,
Ни нашей летней ночи долгой,
Ни красных сел в Руси родной,
Цветущих над Окой и Волгой, —
Ты не видала... И одной
Тебе судьба здесь жить велела.
Но не грусти! Ты не болела
Враждебным недугом страстей;
Не испытала ты томленья
От жажды злата и честей,
Ни злой обиды и гоненья.

О дева! дева! Ты напрасно
Грустишь... Когда б ты знала их,
Сынов разврата и коварства,
Тоскливых, бурных в их страстях!
Я был в далеких сторонах,
И дивные я видел царства;
Не здесь, не в сей стране пустынной,
Моя качалась колыбель.
А я» .

7

Отец на труд лесной выходит,
Вдруг: кто-то новый — дева с ним!
Он стал, смутился — и подходит,
С волненьем чувства, к обойм:
«Кто ты, пришелец дерзновенный? —
И засверкал отцовский взор. —
Зачем в приют сей сокровенный?»
Рука хватилась за топор, —
Великорослый и могучий,
Хоть уж и в поздних летах был,
Он верно б череп раздробил,
И скрыл бы тайну лес дремучий.
Но дочь меж них, она с мольбой;
У них неравный будет бой!
Слабее в силах тот, но ловкий,
Он мог спустить курок винтовки...
И... но, подумав, он сказал:
«На что гроза, пустынный житель!
И я несчастный человек!
Меня сюда мой рок загнал,
Когда ты зол... будь мой губитель!»

8

Они под сосну удалились,
И уж не на враждебный бой:
Друг с другом скоро объяснились
И сблизились одной судьбой...
И дева слышала неясно,
Что говорили... «Безопасно... —

И тот и тот в одно сказал. —
Я чист! Я кровь не проливал,
Невинен пред царем и богом!
Я. . . . . (строгим
Был. . . . .)». Каждый замолчал.
И вот несчастные — уж братья!
Друг другу руки — и обет,
Друг друга поняли — объятья!
И тихо вымолвлен завет.

9

Круглей катится время; вдвое
Им милость явственней небес:
Не так уж пуст пустынный лес,
Уж не вдвоем, грусть делят — трое! . .
И близ былого шалаша
Другая хижина явилась:
Все жили розно, но душа
Трех несчастливцев не делилась.
Уж гусли шведские звенят
И часто извлекают слезы.
Он с девою живет как брат:
То из карельския березы
С резьбой дарит подарки ей,
То ожерелья милой нижет;
Пять-шесть имел с собой он книжек
И, в пасмурной пустыне сей,
Развеселял досуги чтеньем.
Он был с Европою знаком,
И вот, увлекшись раз движеньем,
Он иностранным языком
С отцом заговорил... Но долго ль
Им в сей глуши безлюдной жить?
Все трое были близки с богом —
Молились... Если б умолить! . .

10

«Я далеко на полночь заходил:
У города Архангельска я был,
Сидел на мхах у Кемского острога,

Следил гагар у Кольских берегов,
И видел я бегучий лес рогов
Вспугнутого оленей резвых стада...
О, много увидит чудес,
Кто по свету много походит!..
Я видел принизистый лес:
Из тундры он робко выходит
И, встретивши в воздухе хлад,
Рад, бедный, под землю назад...
Я видел страшную лавину,
Летевшую по пустырям,
И с шумом плававшую льдину
С медведем белым по морям!..
Я видел край, где спит природа
В полугодичной тишине;
Там много звездного народа
На темно-синей вышине;
Но солнце — пышный царь светильный —
Не освещает край могильный,
И лишь мгновенная заря
Глядит в застылые моря...
Но в той стране — на тихой влаге —
Гостит роскошно летний день:
Как на развернутой бумаге
Лежит узорчатая тень
Брегов, и купол неба синий,
С оттенком роз на вышинах,
Живописуется в волнах
Бездонной зеркальной пустыни
И весь передается ей...
Я помню... море закипело
И стихло, сселось, огустело
И странной чешуей своей
Засеребрилось, засверкало,
Как будто длинной рыбой стало:
То войско двигалось сельдей,
То густо шли их легионы...
Какие тайные законы
Вели их? В памяти моей
Я сохранил... Как вижу, други,
Явился круг, растет... растет...

Двоятся, множатся всё круги
И кто-то под морем идет.
Пред ним несутся шум и плески,
За ним — глубокая тропа,
И, с рокотом глухим и резким,
Два белоглавые столпа,
Две башни, две реки кристальных
Из чьих-то мечутся ноздрей:
То он, то пенитель морей,
То кит в своих набегах дальных,
В угоду алчности своей,
Надежды губит рыбарей!
Я помню — так не раз бывало! —
Спустился вечер — запылало
На поднебесной высоте,
Кругами пламя выступало;
Полнеба, в чудной пестроте
Горя и рдеясь, не сгорало! ..
Но ярко меж ночных теней
То реки молний без ударов,
То невещественных пожаров,
Бездымных неземных огней
Сияли пылкие разливы,
И сыпались лучи в тиши;
Порою ж — роскошь для души —
То светлых радуг переливы,
То чудный бархатов отлив,
И с яхонтом смарагды в споре
Хрустальное браздили море. . .
И в этой же картине див,
По тем водам и злато нив,
И цвет фиялы и шафрана,
И черный лоск, как перья врана,
И отблеск вишневый горит! .
И тут-то, в празднестве природы,
Как степь распахивая воды,
Убийства совершает кит. . .
Как страшно, жадный, он теснит
Реброчешуйные народы,
Воюя в их немых толпах!
На брызжущих над ним столпах
Заря холодная играет:

И вниз и вверх перебегает,
Как луч, как яркая струя,
Волнообразная змия!
Печальна участь мелких рыб,
Как участь мелкого народа!
Под страхом жизнь... И их свобода
Как шаткая морская зыбь.
Насилье губит ихню хитрость!
Вот вынырнул тюленей ряд!
В них видны замысел и скрытность;
Друг с другом сжались — знать, хотят
Линейную составить битву?
Они устроили ловитву:
К заливу их полки плывут
Большим вогнутым полукругом
И всё живое в плен берут!
И, уживаясь все друг с другом,
Живую сеть свою ведут;
И сельдь и лох, добыча жадных,
Бегут они от беспощадных
И мечутся на берега,
Или толпой теснятся в реки:
К врагу в добычу от врага —
Там ждут их сеть и человеки!»

11

Темнее становились ночи,
Коснулась осень до лесов,
И чаще слышен клич волков;
Как свечи, теплятся их очи...
Вблизи ж порой рассеет мрак
В своем приюте молчаливом
Живой алмаз с златым отливом
На мшистом камени — светляк!
Но уж в лесу не так безмолвно:
Пустынники втроем сидят,
И струны правильно звенят!
Чье сердце чувствами так полно?
Он в звуках их передает,
Он песню сельскую поет:

«Бывало, мы толпой глядели
Сквозь наши темные леса,
Когда на озере белели
Карельских лодок паруса.
Однажды озеро яснело,
А берег был угрюм и дик,
И вдруг с подножья закипело,
И встал какой-то чудный лик!
В его глазах светлело пламень,
Он плыл на наволок пустой,
И смело сел на серый камень,
И вынул гребень золотой.
Я испугалась, убежала,
Но все смеялись надо мной:
«Как ты проста: ты не узнала:
То наш хозяин водяной!»
Он говорил им о Кареле,
О финнах горной стороны,
Где, в их глуши, на самом деле
Поверишь басням старины.
Там часто сам, как дух в туманах,
Пастух иль рыбарь на скалах
Поет таинственные руны,
Уж непонятные для нас!
И часто в полуночный час
Звучат под шум дубравный струны,
И движется в его руках
Созданье бога Вейнамены,
Преданья рун его бесценных:
Убереглись они в веках...
«Я затвердил сии напевы!» —
Наш гость хозяевам сказал,
И, преклонясь на просьбу девы,
Он руны древние читал.
Так длинный вечер их пустынный
Весь посвящен был старине;
И повторял им гость, что люди
В их Саволакской стороне,
Для слуха ласковым языком,
Поют о давнем, о былом,
Беспечно, сидя над стеклом
Своих озер, в приюте диком...

Но он певал и об ином:
О юноше, о горькой доле,
О чем-то грустном: о неволе
В каком-то месте потайном.
Когда ж то было? — Чьи страданья? . .
Как знать? — то в давних временах!
Но вот, что занял от преданья,
Поет он, вторя на струнах:
«Не слышно шуму городского,
В далеких башнях тишина,
И на копье у часового
Горит янтарная луна. . .
А бедный юноша, ровесник
Младым цветущим деревам,
В глухой тюрьме заводит песни
И отдает тоску волнам:
«Прости отчизна, край любезный,
Прости мой дом, моя семья;
Я за оградою железной,
И уж не свой вам больше я!
Не жди отец меня с невестой,
Сломись венчальное кольцо;
Застынь мое на свете место,
Не быть мне мужем и отцом.
Сосватал я себе неволю,
Мне дети — слезы и тоска;
Но я молчу. . . Такую долю
Взяла сама моя рука».
Уж ночь прошла; в лазурном поле
Давно день новый засиял;
А бедный юноша в неволе
Всё так же жалобно стенал,
Всё ту же песню напевал».
Как песни слушала слова!
Как ими дева любовалась!
Но отчего на грудь склонялась
Ее прелестная глава?
О чем так тихо ты мечтала?
И слезы искрились о ком?
Она кого-то узнавала
В том бедном узнике младом!
О нем душа тоской болела,

И кинуться к нему она,
Как к брату милому, хотела,
Но, страха тайного полна,
Раскрыть души своей не смела,
И чувство скрыла в первый раз,
И вот впервые покраснела! ..
Молчит. . . поднять не смеет глаз.
Так встречи друга и напевы
Околдовали душу девы,
И новый мир открылся ей,
Но уж не стало мирных дней.
«Я знаю, только не одно
Здесь место мы переменяли;
Когда-то, было то давно,
Мы в том улусе обитали,
Где бор расчищен был как сад,
Где жатвой красовались горы,
Где были тихие озеры
И шумный, шумный водопад;
Мы от людей там были ближе,
Как милых братьев их любя;
Но почему — как знать? — они же
Нас удалили от себя!
Бывало, как я веселилась,
Когда придут они в леса;
Людские слыша голоса,
Я где-нибудь в глуши таилась
И слушала. — Вдали весной
Так сладко раздавались песни.
Однажды к нам в приют лесной
Зашел ребенок, мой ровесник;
Как рада я ему была.
Я всё играла с ним, играла,
Отстать от гостя не могла:
То ягоды ему сбирала,
То для него венки плела;
Но мать его за ним пришла,
И долго я по нем скучала. . .
Так мы гостили в тех горах,
Но с ними свыклися напрасно:
Отец сказал раз: тут опасно!
И в эту глушь нас загнал страх».

И нашим гость их говорил:
«Друзья! я видел Север дальний,
Невольный странник, посетил
Я край изгнанья, край печальный,
За коим больше нет земли;
Тех диких скал к гранитной груди
Прильнуть не смеют корабли;
Не смеют поселиться люди
На тех гранитных вышинах,
При тех бунтующих волнах;
Над Беломорскими водами
Я в думах пасмурных сидел
И с изумлением глядел,
Как волны мутными рядами,
С кипящей пеной на хребтах,
Влача грохочущие льдины,
Как чада ночи — исполины
В народных сказках и в мечтах,
Несутся бурею прилива;
Гора сшибается с горой,
И новых льдов находит строй,
Как рать в походе горделиво.
Так, днем и ночью в тишине,
Меж скал, где всё безлесный камень,
Громады льдистые в огне:
Из ребр их брызжет звонкий пламень. . .
Там не браздит резец сохи
Оцепенелые равнины,
Одни лишь поросты и мхи
Узорят дикие картины».

12

Не все могильной тишиною
Пустыни Севера полны:
Здесь часто бор кипит войною;
Враждой взаимной созваны,
Устроясь дружными толпами,
Выходят векшей племена
Лесными, тайными тропами:
У них объявлена война!
И смельчаки из-за Онеги,

От Киж до Ялгубских боров,
Несутся в быстрые набеги
И чутко ищут след врагов.
Не спрячет робкого дубрава!
По соснам рыщут летуны...
Ужель и им знакома слава?
Какой мечтой упоены?
Нашли... под корбой на поляне
Беспечен враг в надежном стане —
И кинулись... и бой кипит...
Они визжат... они схватились,
Грызутся... кровью обагрились,
И берег мертвыми покрыт.
Ужасен грозный победитель,
И мчится побежденный в бег:
Шумит ордой Онеги брег,
И часто изумленный зритель
Глядит, как серые полки
Чрез зыбь волнистую реки,
Или отважно, над заливом,
На ветвях, корках и щепах,
Несутся, флотом, торопливо;
Хвосты — им парус; на хребтах
Они распущены и веют...
Верна лесная им кора:
Она несет их... и пестреют
Сей чудной ратью озера!
То векши с дальнего набега
Спешат в леса родного брега...

13

Как будто чуя зов войны
И близость тяжкия годины,
Карелы дикой исполины
Идут из северных лесов;
И страшны лютых орд походы,
Тропы под их стопой трещат,
Их очи заревом горят,
И, в гневе, тяжкие колоды
Они ворочают... Беда,
Кто хоть случайно иногда

У алчущих оспорит снеди,
То дивы Севера — медведи!
Напрасно длинногривый конь,
Как ветер вольный и игривый,
Летит, как вспыхнувший огонь,
В степи чрез пожити и нивы, —
Погубит смелого обман:
Медведь нейдет с ним в бой открытый,
Он чует меткие копыты;
Но из-за сосен <великан>
Взмахнул своей косматой дланью,
И нет коня! .. Свиреп и дик,
Один идет, открытой бранью
На страшного карельского быка!
Объят великодушным гневом,
Сей пастырь стад громит врага.
Леса полны их диким ревом,
И часто, крепкие рога
Могуче в чрево исполина
Вонзив, его, как в башню, прет,
Доколе пастыря дубина
Или топор его добьет.
Как часто пастыри толпой
Бегут в тревоге с страшным криком,
Когда медведь лесной тропой
Под стадо крадется... И кликом,
И звуком их витых рогов
Суземских, длинных, из березы,
Махая кольем в знак угрозы
И клича свистом к драке псов,
Они пугают великана,
Боясь за стадо. Он упрям,
Он сел на корты, дик и прям,
Как черный пень из-за тумана;
Они — его, он их страшит;
Напрасно врассыпь, справа, слева
Бегут. Дикарь наш, полный гнева,
Чего коснется — всё крушит.
И вот камней и сосн обломки
Швыряет метко в них силач,
И рев его густой и звонкий
Шумит по дебрям, как Кивач! ..

Но хитрость пагуба для силы;
В заман сокрытой западни
Силач уловлен, и унылый,
С кольцом в ноздрях, он грустно дни
Ведет, и, вспомня лес и степи,
Порой грызет напрасно цепи...

14

Где наш медведь? Он домоводец.
И какова его судьба?
В смиренном звании раба
Он чей-то сторожит колодец,
И, должность ведая свою
И опытом узнав сноровку,
Вертит на колею веревку
И тянет вверх с водой бадью.
Он поумнел в своей неволе,
Смирённый цепию медведь!
И вот, хотите ль посмотреть,
Как в замшевом своем камзоле
Силач трудится с кузнецом!
На дыбях стоя молодцом,
Он страшный подымает молот,
Взмахнул (увидим чудеса!..),
И ком железный им расколот,
И лентой вьется полоса!..
Силач усталости не знает,
Его ничто не истомит.
Одно, порой, его пугает:
Он головою завертит
И взвоет вдруг, когда огарки
Летят в звездистых брызгах ярких,
Вопьются в морду... Он грустит:
Где прежняя его отвага?
Где удаль жизни лесовой?
Поникнув в скуке головой,
Он подряхлел. Но всё, бедняга,
Холодный ко всему как лед,
Еще он страстно любит... мед!
И шаловливые мальчишки
И взрослые, туда ж под стать!

(Знать, детские у них умишки)
Бегут без жалости пытать
Седого лакомку. Краснеет
Под медом сковрода, шипя,
В глазах у старца что-то рдеет:
Почуял запах... и, кипя,
Нетерпеливо мед хватает.
Ожегся... скóвороду вдаль,
Мурлыча, с яростью швыряет,
И тяжкую свою печаль
Он тяжким стоном выражает...
Медведь ослеп, он без зубов,
Он дряхл, и когти притупились;
И вот бездушники столпились
И вывели на сворах псов.
Он окружен... Его терзают...
Но свирепеет наш Сампсон,
На миг в нем силы воскресают,
И бьет врагов лукавых он!
Громит, коверкает, увечит
И далеко визгливых мечет...
Но пагубный стрелка свинец
Его, громящего, пронзает,
Он лапой морду закрывает —
И ниц (он чует свой конец!).
И вот (меж тем как стая лает)
Вздохнул и умер. — Человек...
Тиран! Природы оскорбитель!
Так ты земной проводишь век!
Созданий божиих губитель,
Презренный ловчий! Ты в борьбу
С лесным не смеешь великаном:
Ты ловишь грозного — обманом,
Ты зол и хитр. А ты судьбу
Возвысить должен земнородных!
Вся тварь давно с тоскою ждет,
Когда Адамов сын пойдет,
В высоких думах благородных,
К давно забытым небесам,
К своим утраченным правам.
И что же он?.. Мне раз приснилось,
Что вихорь землю возмутил —

От молний небо раскалилось,
И страшный ангел затрубил...
Я ждал, что буря вскроет гробы, —
Могил не тронулась печать;
Но с шумом из земной утробы
Скелетов высыпала рать...
То были звери. Пред толпами
Верблюд двугорбый выступал,
И, движась мерными стопами,
Остатком хобота махал
Слон-остов. Некогда красивый,
Как призрак брел высокий конь;
Потух очей его огонь,
И ветры не трепали гривы...
Стада оленей, серн, слонов,
Погибших от ножа и псов,
Шли медленно... Покрылось поле
Зверьми, убитыми в лесах
И заморенными в неволе,
И загремело в небесах:
«Где он, губитель их хвастливый,
Он всю природу захватил,
И род лесных жильцов игривый,
И род пернатых погубил.
Леса — власы земли прекрасной —
Он прихотливо исторгал...
Где ж он?» И видел я, несчастный,
Как хищник схваченный дрожал.
Всё человека упрекало,
И всё звало его на суд:
Ему в ответ дан мир и труд,
А, буйный, он? .. Мне страшно стало,
И я проснулся...

15

Война еще другая есть.
Не знаем: мщения ль порывы
Или обиженная честь
Влекут граждан трудолюбивых,
Разумных (бросив тишину
И труд) на бой метаться ярый,

Платить ударом за удары
И страшную вести войну:
То муравьи! Кто знает повод
К их ссорам, к распре роковой?
Но стар и млад (уж пуст их город!)
Стремятся к битве полевой.
За Трою ль распря? за Елену?
Иль тесен стал родной удел?
Иль мстят за горькую измену?
Иль мчит их в бурю жажда дел?
Теснятся, строятся в уступы;
Рать черных с красными сошлась,
И битва злобная зажглась:
Сцепились, жалят... падших трупы
(В грозе, в бою передовом)
Краснеют в поле боевом,
И стройно черных рать подходит,
Стоит... и правильно крылом
Крыло противника обходит
И мчит на тыл за взводом взвод.
Воскресла, мнится, Мантинея,
И их ведет Эпаминонд!
Всё больше, больше пламенея,
Без устали отважных рать
(Их поприща как тесны рамки!)
Спешит разбитых добивать
И приступом берет их замки...

16

«Гремит!.. а тучи не видать!
Откуда этот гул несется,
От гор горам передается...
Как сходно! Хочешь вспоминать
Военное... в былом походе...
Послушайте!.. Еще звучит!»
— «Мой друг! то, верно, на заводе
Орудий проба!» [17] — «Нет! гремит
Не так, не так!.. То звук знакомый,
То боевой!.. Вот раз и раз!
Вот залп!.. Как славно!» — И, влекомый
Кипучим чувством, пылких глаз

От синей дали не отводит,
То стоя руки ломит он,
То скорыми шагами ходит:
Тоскует... А в долинах стон
Бегущих звуков над водою
Слышен, шумнее по лесам...
«Ужель война? Ужели к нам
Опять француз пришел с бедою?
Француз далек: тут ближе швед!
Кто б ни был! — В путь! Увижусь с братом:
Он при царе! — Мне дела нет!
Скажу: хочу служить солдатом!
Солдатом заслужить вину...
Я душу им мою открою!
Я кровью прежнее омою:
Я знал... Любил... Люблю войну!»

(Поспешно уходит.)

17

Его уж нет! Уж в одинокий
Приют страдальцев ночь сошла;
Но полоса была светла
Над городом, в выси далекой.
Ужель война?.. Скорей пожар! —
Объяты смутою невольной,
То звон внимают колокольный,
То в сумерках им виден шар,
И разноцветными огнями,
Как бисером, унизан он!
Уж ночь, а с ней не сходит сон!
Пестры озера челноками,
И на конях кареляки,
В какой-то, кажется, тревоге,
Спускаются к большой дороге.
Отец и дочь полны тоски...

18

Проходит день... другой... опять
Всё тот же гром и мнятся клики;
Но ожил чем-то край сей дикий...

«Но что там? .. От кого узнать? ..
Неужель битва в самом деле?
Сие движенье? Этот гром? ...»
Так рассуждали и глядели
На дальний дым, на даль с огнем.
Прошли пустынных две недели;
Затихло всё в бору глухом.
Томится дева молодая,
Ей стал постыл сей край лесной;
Душой больна, душой страдая,
Грустит. Серебряной луной
Блестят и бор, и лесосеки,
И безволосая гора.*
Как ленты развивались реки,
И длинным рядом озера
Лежат, как стекла в пестрых рамах.
Но, позабыв и чары сна
И пищу, всё одним полна,
Как образ истукана в храмах,
Она, недвижная, стоит
И в даль туманную глядит...
Уже покинут клест игривый,
И лебедь ходит одинок:
Не водит розовый шнурок
Его за девой молчаливой...
Заря зажглась над синевой,
Душа согрелася надеждой,
И ранний ветер боровой
Играет с синею одеждой...
Но тщетно! Гаснет день... Туман
Слоями кутает долину,
Была надежда та — обман:
Она удвоила кручину!
«Его забыть я не могу! —
Родному дева говорила. —
На этом диком берегу
Еще оденется могила...
Страдать теперь... Нет больше сил! ..
Зачем заботливой рукою
Ты дочь пустыни воскресил!

---

* Гора с открытой вершиной — лысая гора.

Я расцвела! Душа играла,
Мне сносен был сей мир лесной,
Но он взглянул — я запылала
И раздружилась с тишиной,
Я с ним, как с братом, подружилась,
К нему привыкла; с ним душа
В тиши лесного шалаша
Как божьим небом веселилась,
И он... Что так мертво и жмет
Меня болезненной тоскою? ..
Придет ли друг? ..» Идет! Идет!
Бежит и машет им рукою,
В другой — он хартию несет...
«Молитесь, милые! .. Свобода!
Скорей из сих несчастных мест!
Друзья! читайте... Манифест! ..
Слезами русского народа
Омочен Александров прах,
Он опочил, монарх великий!
Но царство больше не в слезах!
Всё праздник! Всюду пир и клики...
Я расскажу: оставя вас,
Бегу, тревожный, беспокойный,
Вдруг парус! .. Я кричу, то соймы!
Я к ним. Помчал шелойник [18] нас...
Уж ночь; но город, всё пылая
(И мне он был как новый мир!),
Пирует свой трехдневный пир,
Шумит и славит Николая...»

(Отдает им читать печатный лист.)

19

Они прочли, они узнали...
В тревоге, в радости, в слезах
Они всю душу изливали
То в восклицаньях, то в мольбах.
И вот отец: «О час любезный!
Как я тебя тоскливо ждал!
Я мыслью сон тот лобызал,
Когда ты снился... Край железный,
Прощай! Прощай, отчизна скал!

Всё это томно-водяное,
Где жизнь в тоске, без смерти мрет!
Увижу скоро я — родное:
Там вишня весело цветет!
Пленительны там в рощах песни,
Там долго соловей поет...
Наш дым... мой дом — он мне ровесник!
Мое Никольское село,
Увижу всё... В душе светло!
Кипит молитва над устами:
«Миры вращая и творя,
Владеющий над высотами,
О боже сил! храни царя!
И будь наш русский царь спокоен,
Цвети твой дом, твоя семья!
В войне по славе первый воин,
И в мире первый будь судья!
Молитесь, дети! — (на колени!) —
За счастье доброго царя!..»
Уж сизые ночные тени
Сошли... Уж гаснет в них заря...
Но что ж в пустыне?.. Всё молчало
Как гроб... Там никого не стало!..

Эпилог

1

На Александровском заводе
Заказан камень гробовой;
И разнеслась молва в народе,
Что в глушь, дорогой боровой,[19]
Везти тот камень, там поставить
Часовню, склеп с большим крестом
И часто панихиды править:
Над кем же это, то по ком?
Чета несчастная скрывалась
В дичи тех недоступных мест:
Она с тоски в земле осталась,
Его избавил — манифест...

2

Вдали, в России, где родное,
Где всё в тепле живей живет,
Где уж не томно-водяное,
Где долго соловей поет!
Где есть дворянство и соседство, —
Недавно разнеслась молва
Про свадьбу чью-то, про наследство...
И повторялися слова
Неясные... (и стороною),
Что кто-то возвратился к ним
С страдальцем тестем и с женою —
И все знакомилися с ним...
И шла молва о манифесте,
И у святого алтаря
С крестьянами помещик вместе
Молебны правил за царя...

3

В старинном англицком саду,
На светлом зеркальном пруду,
Видали, плавает, и смелый,
И стройный, тихий и ручной,
Туда привозный, лебедь белый;
И с молодой своей женой
Пловца-знакомца закликает
(Когда на том пруду гуляет,
Вечерней тешась тишиной)
Веселый барин. Разговоры
В светелках слуг и у господ:
О той стране, где много вод,
И где с колючим лесом горы,
И редко заселен народ.
Как мило барыня одета:
На ней вуаль струей и шаль,
И скоро молодые лета
Былую сгладили печаль.
Она живет душой одною
С своим супругом и отцом;
Сдружилась с стороной родною;

Но при гостях, в кругу большом,
Ей будто душно и неловко...
И часто, к плечику головкой
Склоняясь, с думою в очах,
Она мечтает... о лесах...
И в ней дивятся стройной ножке,
Блестят и кольца на руке;
Лишь в непроколотом ушке
Алмаз не искрится в сережке...

Примечания

[1] Валунами называются камни, часто огромной величины: это обломки первосозданных гранитных гор, принесенные сюда каким-то великим движением вод.

[2] В окрестностях высот г. Петрозаводска, как, например, из деревни Сельга (сельга — на языке туземцев значит: распаханная гора) и с других возвышений, видны места лесистые, пустые, никем не обитаемые, которые синеют на горизонте длинном; ибо он, всегда почти бестуманный, открыт на большое пространство. Насчет крайней уединенности таких лесных пустыней рассказывают следующий забавный анекдот. Обыватели лесной деревеньки, живущие, как здесь говорится, наедине, удалены будучи от приходской церкви и всякого сношения с местным населением, ведут свой расчет без святцев и календаря и однажды ошиблись весьма неловко.

Один из них приехал в город закупать провизию для масляной недели. Горожане, изумясь, спрашивали: «Да для чего закупаешь ты скоромное?» — «Для масляной», — отвечал тот. «Какая теперь масленица? Ты слышишь, звонят по великому посту: уж первая неделя!» Покупщик, разумеется, возвратился к своим и объявил, что они масленицу просчитали!

[3] «И звери вьются близко хижин». Здесь замечено, что звери охотнее сбираются там, где больше засеянных полей и домашнего обзаведения. Из пустынь выгоняет их, вероятно, недостаток в прокормлении.

[4] Урками называется повинность в натуре, которую отправляют крестьяне Петрозаводского уезда, приписанные к казенным заводам. Под названием урков (или уроков) возят уголь (который жгут в лесах) и руду, добываемую со дна озер.

[5] «Он крыльями примерз ко льдам». Один из здешних чиновников сам таким образом поймал лебедя; обеспечась красным осенним днем, лебедь расположился плавать на одном из пустынных озер, которое при внезапно переменившейся температуре (что здесь случается очень часто) вдруг начало мерзнуть, и крылатый плаватель захвачен леденеющей поверхностью воды. В Повенецкую и Беломорскую Карелию налетает много лебедей; есть даже в Лекшморецком приходе одно озеро, названное Лебяжьим. В той стороне открыт ныне богатейший запас лиственницы.

[6] С наступлением летних жаров здешние скалы сильно нагреваются, так сказать натапливаются. От сего и розы растут на здешних скалах (как говорится: на припеке) во множестве. По долговременному наблюдению бывшего управляющего Олонецкими заводами г-на Бутенева, большая часть полей северо-восточной сей губернии лежит на каменистом грунте, и земля во множестве перемешана с гальками, и вот почему лучший посев ярового хлеба бывает поздний, ибо каменистая почва, будучи нагрета дневным зноем, сохраняет теплоту и по ночам, от чего растительность ускоряется; иначе зерно могло бы зазябнуть в земле, еще не довольно нагретой.

[7] «И был лишь вечер без ночей». С конца апреля и в мае наступают здесь, так сказать, ночи бесконечные. Солнце почти не заходит; одна заря, как говорит народ, сменяет другую. В воздухе бывает ни темнота, ни свет, — нечто среднее. Звезд не видно, высокое небо цветом как полинялая голубая тафта; иногда является луна в виде плоского бледно-золотистого кружка. Этот полусвет, нерешительный, томный, как и в нравственном смысле всякая нерешительность, наводит уныние. Глаза, привыкшие к темноте, боятся сомкнуться. Что-то как будто потеряно, чего-то ожидаешь. Альфьери, известный трагик, в путешествии своем на Севере испугался сих странных ночей.

[8] Приметная желтоватость есть общий оттенок лица здешних жителей.

[9] Весною здешние ели покрываются множеством ярких глянцевито-розовых шишек, на других же они зеленые. В последних созревает желтовидная пыль, которая, разносясь ветром, оплодотворяет первые; от сего зарождаются семена, снабженные тонкими крылышками. В свое время бури разносят сии запасы крылатых семян, и таким образом производятся посевы красных лесов. В продолжение холодных зим семена сии, добываемые из еловых шишек, составляют любимую пищу клеста и других мелких птиц, как, например, чижей, поселяющихся в затишных приютах карельских корб.

[10] Здешние скалы служат убежищем змей. Особливо их главным местопребыванием почитаются Ивановские острова, в виду г. Петрозаводска, на озере Онеге. Там, как рассказывают, змеи встречаются во множестве. В ясные дни они лежат на скалах, растянутые как ленты, и лоснятся, греясь на солнце. По молве народной, там находится змей с двумя головами!

[11] Наволоком называется здесь мыс. Сие название показывает, что здешние мысы намыты, или навлечены водою.

[12] «Растут в Онеге острова: все выше... выше их глава!»

На озере Онеге приметно одно любопытное явление воздушной оптики. Ивановские острова, в обыкновенное время равные с горизонтом воды, начинают возвышаться и расти (так кажется глазам!) перед наступлением непогоды и северо-восточного ветра. По этому явлению без ошибки узнают скорую перемену в погоде.

[13] «И ель, свидетель трех веков». Здешний оберфорштмейстер Кирсанов при делании опытов, по случаю открывшейся новой комиссии по заготовлению лиственных лесов, под ведением флигель-адъютанта Лазарева, нашел, по перечету слоев, что многие ели выстаивали по два с половиной века и могли бы простоять еще долее.

[14] «Боится леший...» Есть преданье, что лешие, духи лесные, чрезвычайно боятся грома!

[15] «Куда-то чью-то сойму мчало». Один из здешних граждан М. рассказывал, что подобный вихорь опрокинул его сойму. Он плыл с братом. Выкинутые из судна, они схватились за борт и снасти и таким образом, под бурею, в 10-ти верстах от берега, носились между жизнью и смертью, пока стихло и жители прибрежных деревень, выехав на лодках в свой приход к обедне, услышали крик терпевших погибель и подали им помощь.

[16] В здешних местах нет ни пчел (домашних), ни перепелок, ни соловьев.

[17] По отлитии пушек на здешнем Александровском заводе производится проба оным. Тогда поднимают извещательный флаг для плавающих по Онеге, ибо орудия заряжают сильными зарядами и выстрелы делают ядрами, которые иногда, минуя вал, улетают далеко на Онегу.

[18] Шелойник — значит юго-западный ветер.

[19] Боровыми дорогами называются здесь тропы, нарочно проложенные в самых диких местах для возки угля, дров и руды.

[20] В Олонецкой губернии почти вовсе нет дворян, оттого нет ни съезда в городах, ни выборов. Все чиновники от короны. Недостаток дворянского сословия весьма ощутителен по многим отношениям. Кажется, недостает чего-то в быту гражданского общества. Нет сомнения, что будь здесь дворянство, многие из здешних скал украсились бы приятными усадьбами, развели бы сады, может быть и пчел домашних, ибо дикие (если так можно назвать шмелей) водятся сами. Все здешние жители (из служащих) только на время: никто ничем не обзаводится.

Для населения сего края, бедного (только) людьми, по изучении местности, сами собою представляются три способа:

а) водворение дворянства; б) поселение колоний. На берегах Онеги переселенцы из трех краев Германии, где уж тесно жить, нашли себе простор и большие угодья: в подручных водах — рыбные ловли, в лесах — дичь и звери, и самая почва, удабриваемая естественным наземом гниющих листов и ветвей и торфом осушенных болот, доставляла бы урожай, которому едва ли найдется равный в лучших краях России и в самой Германии. В пример такого урожая довольно упомянуть о нижеследующем: Петрозаводского уезда, Салменижской вотчины, деревни Лахты, крестьяне Федор Иванов Трухпоев и Козьма Петров посеяли (в 1826 году) на выгоревшем болотном сенокосе ржи шестнадцать четвериков, а вымолотили четыреста четвериков! — в том месте торфяной грунт горел почти на аршин в глубину. Воздух в сих возвышенных странах отменно чист; многие источники имеют свойство железистых вод. И дозволение свободной разработки железных и медных руд (таящихся по диким местам сих уединенных пустынь) могло бы также привлечь многих охотников к устроению частных заводов рудоплавительных, для выкурки дегтя и смолы, для гонки скипидара и добывания купороса; проложились бы дороги от одного заведения к другому, и движение людей скрасило бы пустынность. К сему уже есть некоторое начало в дозволении вольных приисков и выработки золота на Воицком руднике, которого поддержание оказывается небесполезным для казны. Но частные люди могут иметь и так свои расчеты.

1828

КАРЕЛИЯ, ИЛИ ЗАТОЧЕНИЕ МАРФЫ ИОАННОВНЫ РОМАНОВОЙ

Описательное стихотворение

Введение

Предлагаемое описательное стихотворение основано на событии историческом, засвидетельствованном преданием и грамотами царя Михаила Федоровича. Содержание рассказа весьма просто. Знаменитая затворница в Выгозерском стане обращает на себя внимание окрестных поселян. Один из них проникает в ее уединение. Добрый крестьянин, стараясь рассеять тоску одиночества заключенной, предлагает ввести к ней для собеседования монаха. Вводит. Повествование есть лучшее занятие в уединении, и монах (или отшельник) повествует. Его жизнь, его характер в его повествовании. Между тем крестьянин Никанор отправляется на Русь с тайным посланием. Монах является в другой раз, доканчивает рассказ свой, заключает оный какою-то духовной аллегорией и опять удаляется, уже надолго. Тут в тереме (в храмине заточения Марфы) появляется новое лицо — Маша, дочь Никанора. Она также, частью думая развеселить уединенную, а более из желания поговорить о своем крае, пересказывает, так сказать, всю мифологию Карелии. Монах является в третий раз, и уже не таковым, как был! Теперь из речей и поступков его видно, что он проходил то состояние души, в котором борение внутреннего со внешним, или, как говорят, ветхого с новым, означается яркими чертами. В его понятии протекшее, настоящее и будущее как будто слилися в какое-то одно неопределенное время. В речах его, несвязных, отрывистых, виден, кажется, лиризм: иначе и быть не может, ибо вдохновение его (следствие развития духовной жизни, со всеми ее принадлежностями)

непритворное. Кроме дикой пустыни, самое размышление о тогдашнем настоящем могло привести нашего монаха в некоторую тоскливую тревогу за человечество. Раскрывая «Историю» Карамзина (в XI части) под годами от 1601 до 1605, мы встречаем (на стр. 108, 112, 114, 119 и 120) резкие черты в мрачной картине того времени. На сей раз выпишем только рассказанное на 108 и 112 страницах: «И в самых диких ордах (прибавляет летописец) не бывает столь великого зла: господа не смели глядеть на рабов своих, ни ближние искренно говорить между собою; а когда говорили, то взаимно обязывались страшною клятвою не изменять скромности» (стр. 108). «Свидетельствуюсь истиной и богом, — пишет один из них, — что я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту, щипали траву и питались ею; у мертвых находили во рту сено», — и проч.

В такое время и при некоей внутренней распре, доказывающей двойственность человека, толвуозерский монах, особливо после случившегося с ним в пустыне, может быть, и мог говорить так, как он говорит в нашем повествовании при своем появлении в третий раз.

После этого третьего и последнего появления монах уходит опять в свои леса. Мы уже не услышим о нем более! Спустя три дня и Никанор возвращается из дальнего пути. Привезенный ответ решает судьбу матери Михаила, и заточение кончится. Сим оканчивается повествование.

Если небольшое число стихов, помещенных в прологе для изображения безлюдия и пустынности Карелии (страны, и *поныне* погруженной в лесах, идущих к Белому морю), успевают, так сказать, навеять некоторую унылость на душу читателя, то это будет близким подобием того ощущения, которое внушают, думаю, всякому сии малолюдные стороны при первом на них воззрении.

Наконец, по прочтении всего стихотворения может возникнуть вопрос: отчего так мало действует, особливо мало разговаривает, сама Марфа Иоанновна. Я размышлял о сем и нахожу, что по важности ее сана ей нельзя было дать разговора о предметах неважных; о важном же, собственно до нее касающемся, ей говорить было не с кем. Подле нее не было своего человека, которому бы она могла раскрыть душу, поверить тайны сердца. Никанору делала поручения; монаха слушала она как человека любопытного; молодой карелке дозволяла рассказывать. Но самой ей, и по званию инокини и по положению своему, следовало оставаться более в безмолвии. Истинная скорбь чем глубже, тем молчаливее. История вовсе ничего не передала нам о Марфе Иоанновне во время ее заточения; осмелится ли поэзия влагать ей в уста, без крайней надобности, речи вымышленные, которые могли

бы, может быть, уронить или показать не в настоящем свете характер столь высокой особы? Но из хода повествования видно, что она есть средоточие всего действия; к ней приходят; ее стараются занять повествованием; к ней относятся и мысли и действия всех и каждого. Итак, она есть, без сомнения, первое лицо в рассказе, и если не всегда действующее, то всегда владычествующее над действиями других.

Пуста в Кареле сторона,[1]
Безмолвны Севера поляны;
В тиши ночной, как великаны,
Восстав озер своих со дна,
В выси рисуются обломки —
Чуть уцелевшие потомки
Былых, первоначальных гор.
Но редко человека взор
Скользит, заходит в их изгибы.
Одни, встревожась, плещут рыбы,
Иль крики чаек на водах
Пустынный отзыв оживляют.
Порою на пустых брегах,
Сквозь млечновидные туманы,
Мелькает тень перед огнем,
Иль в челноке, златым столпом,
Огонь. И в сумерках, румяный,
Он стелет ленты под водой:
То сын Карелы молчаливый
Беспечных лохов[2] стан сонливый
Тревожит меткой острогой.
Зачем лукавый рой порхает
Огней на зыбких персях блат
И легковерных обольщает
Искать, где спит заветный клад?
Зачем стекло озер сияет,
И яркий радужный наряд,
И льдистые лесов алмазы?
В сих дебрях, диких и пустых,
Никто картин не видит сих!..
Ночное небо — тут бывает —
Вдруг разгорится, всё в лучах,
Зажжется Север и пылает.[3]
Огни, то в пламенных столпах,

То колосистыми снопами,
Или кудрявыми дугами,
Яснея в хладной высоте,
Выходят, строятся рядами,
Как рати в грозной красоте...
Ночную даль пожар узорит,
И золото с румянцем спорит
В выси и в зеркале озер.
Всё пышно: край небес обвешан
Парчой и тканьми, как шатер.
Но для кого сей блеск утешен?
В глуши безлюдья своего
Сей край порадует кого?..

Пустынь карельских озера́
Приемлют, стихнув, ясность стали
Иль вид литого серебра;
Но никогда в них не блистали
Ни пышность древняя палат,
Ни пестрота и роскошь сада.[4]
С зубцами башни и аркада,
Столпов кудрявых легких ряд
В них никогда не повторялись.
Тут не шумели, не сливались
Гостей веселых голоса
С прелестной музыкой Россини,
И европейская краса
В сих спящих зеркалах пустыни
Не тешилась на свой убор,
Созданье моды прихотливой.
Пусть пролетит смолистый бор
И благовонный и игривый,
Порой и теплый, ветерок;
Он не сорвет вуаль волнистый
И не наморщит модный клок.
И, под навесом сих тенистых,
Под мохом пурпуровым скал,[5]
Бывало ли... и кто видал,
Чтоб с томным взором, с стройным станом
Грустила дева за романом?
Чтоб увлекали вечера
Ее в безвестность сизой дали?

И чтоб Жуковского читали
В тиши нагорных сих лесов?
Еще не затвердило эхо
Здесь звонких Пушкина стихов,
И не был Батюшков утехой
Ума, возвышенной души...
Когда листок карельской розы
Лежал в листах чудесной прозы
Карамзина?.. В лесной глуши,
Над рудяными озерами
(В стране пустынь, духов и чар)
Тут только слышен крик гагар,
Да чей-то голос вечерами
Выходит гулом из лесов.
В народе говорят: «То леший!..»[6]
И стая филинов и сов
Перекликается... И пеший,
Тропой, изрытой меж стремнин,
Мелькнет порой Карелы сын
В своей погоне за лисицей,
Следя волков и россомах,
Или встречаяся на мхах
С ветвисторогою станицей...
Груба лесных карелов пища,
Их хлеб с сосновою корой;
Зимой им нравятся игрища:
Там сельской тешатся игрой,
Без музыки, под песнью длинной
Свой хоровод разводят чинной.
Им милы яркие цветы:
И желтый, красный, густо-синий
В одеждах праздничных горит
На девах и сынах пустыни.
И часто жемчуг им дарит
Поток гремучей Повенчанки,*
Где легковерная форель
Хватает с жадностью приманки
И, скрывшись под густую ель,

* В речке Повенчанке находится жемчуг, иногда довольно крупный.

Карелец сметливый и ловкий
Стреляет белок из винтовки.[7]

Нема, глуха[8] страна сия!
Здесь нет Орфея-соловья,
Не свищет перепел под нивой;
Тут нет янтарного сота,
И не кружится рой игривой
Домашних пчел; нема, пуста
Сия страна в дичи лесистой:
На ели только лишь смолистой
Порой услышишь крик клеста...

Часть первая

Выгозерский стан на северо-восточном береге озера Онеги;
между 1601 и 1605 годами.

Карельцы бродят боязливо
У терема с большим крыльцом.
Он, новый, выстроен красиво,
И тын кругом его кольцом.
Стрельцы с пищалями на страже.
А кто ж под стражей? как узнать?
И кто бы столько был отважен,
Чтоб о затворнике пытать?..
Однако ж знали, что кого-то
Из дальней русския земли
В покрытой сойме привезли
И в терем заперли — за что-то!..

Не все не знают: кто в затворе?
В Карельский-Выгозерский стан
Из красных замосковских стран
Переселялись люди... Вскоре
Узнали... судят, говорят
И сетуют на Годунова,
И за Романовых творят
Молитву. Их душа готова[9]
Страдальцев славных оправдать
И защитить. «Она ведь мать
Царя родного Михаила:

Что ж делать! Годунова сила!..
Она Романовых почтенныя семьи;
Самоохотный царь * их гонит без причины.
Знать, чернокнижник он! Знать, Русь околдовал!..
Весь род Романовых по ссылкам разослал,
И Марфе Иоанновне пришлось у нас с кручины
Свой век окоротать, тоскуя сиротой!» —
Так молвили промеж собой,
Так голос русский отзывался!
Но кто-то больше всех судьбой
Печальной Марфы занимался...

Крестьянин, честный Никанор,
Житьем карел, душою русской,
Был житель прионежских гор,
У Чолмузи, в долине узкой.
Он скоро обо всем узнал,
С стрельцами братски подружился:
На сойме часто их катал
И водкой добытой делился;
Не раз калитками [10] кормил
И репным квасом [11] их поил.
И был уж он допущен в терем,
У ног затворницы лежал,
И образ со стены снимал,
И говорил: «Тебе я верен:
Романовых люблю я дом!»
Наш Никанор был тверд душою,
С холодной, умной головою
И с сократическим челом! [12]

И вот однажды он пред ней,
И видит, что она грустила:
«Родная! С нами божья сила!
Кто знает? И в судьбе твоей
Случиться может перемена!
Но чтоб ты не грустила так
Во дни затворничьего плена,
Чтоб не слезила ты свой зрак,
Дозволь, я приведу монаха:

* Самоохотный царь — есть выражение подлинника.

Жилец недавний наших скал,
Он много видел и слыхал;
И безоружный, но без страха,
Он ходит по лесам один;
Его и зверь не обижает!..
И он, как словно господин,
Душами здесь распоряжает,
И любит нас, и мы его!
Разгонит он твою кручину
И в будущем прочтет судьбину:
Послушай и прими его!..»
Они уж виделись!.. Он был!..
Она нашла в нем пылкость чувства;
Высокий ум в глазах светил,
И речь лилася без искусства.
И очень нравился он ей
Беседой сладкою своей.
Душой, с земным расставшись прахом,
Он небом зван. Он жил в лесах
Близ Толвуи и на скалах
У Кивача,[13] не знаясь с страхом.
У поселян он слыл монахом, —
То будь он и у нас монах!
Кто ж он?.. Какой он уроженец?
Наставник мирных поселян —
Зачем? И из каких он стран,
В сей край недавний преселенец?
И что с ним деялось?.. Где был?..
Он родом грек, был житель Смирны.*
Отец его вел торг свой мирный;
Но он?.. Войну он полюбил,
И уж в рассветных жизни годах
Бывал и в битвах и в походах,
И (сам о том он вспоминал)
Дамасской саблею играл
В кровавых играх жизни ратной,
Крутил коня, младой и статный,
И этот конь под ним кипел —
Огонь в глазах, с летящей гривой,

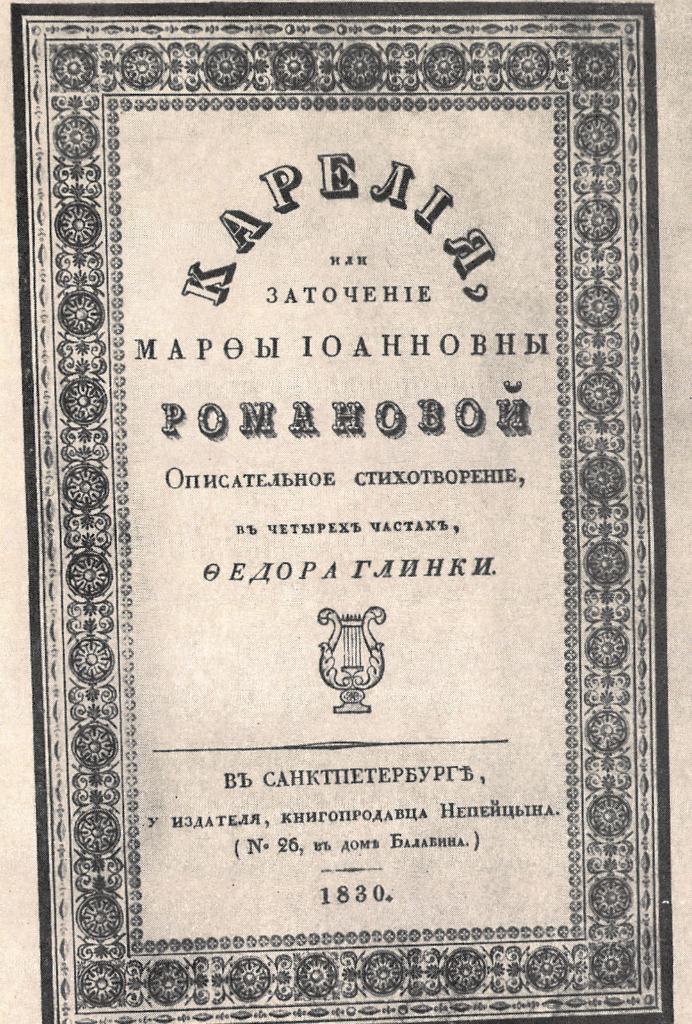
---

* Рассказ об отшельнике, о его переселении с востока на север не есть просто вымысел: но здесь не место о сем распространяться.

Как будто обогнать хотел
И ветер Иемии счастливой...
Но бросил скоро он войну
На зов семьи. С душою гладной
От славы, часто безотрадной,
Он возвратился в тишину,
На родину. Богат и молод,
Искал он пищу для души,
Искал, желал; один в тиши
Любил мечтать. Но чувства холод
Ему, как смерть, был нестерпим;
Он раз увидел... и пленился:
Душой к прекрасной прилепился,
Любил... и скоро стал любим!..
О Лейла, дева молодая!
Ты вся любовь и красота!
Но ты турчанка! А святая
Любовь и вера во Христа
От детства в юноше горели,
И что-то, что-то было в нем,
Чего мы не поймем умом.
И он решился... Всё светлели
Его прекрасные мечты,
Желанье тайное лелея...
Как пламенно и чисто ты,
О дева, любишь!.. Что святее
Неясных, сладких чувств твоих?
Ты стóишь... Будешь ты невеста
Распятого! Им от своих
Скрываться должно... Выбор места,
Часа к свиданьям — труден был;
Но всякий знает: кто любил,
Тот всё одолевать умеет.
Они видались, и из слов
(Была то ангелов любовь!)
Она уж много разумеет
О том, что мило небесам.
А что? — он перескажет сам.
И говорит он: «С ней, прекрасной,
Мне не страшна была гроза:
Синел над нами купол ясный,
Как Лейлы синие глаза,

И глохнул дальний говор града
При близком шуме водопада.
Моя любовь была чиста!
И вот, душой уж христианка,
Моя прекрасная турчанка
Внимала повесть про Христа.
С святою радостью Едема,
В своем радушии простом,
От бедных ясель Вифлеема
Она следила за Христом
В его изгнаньи к пальмам Нила;
И скоро дева затвердила
Дела, места и имена...
Бывало, кроткая, она,
Любовью к господу сгорая,
Казалась ангелом из рая:
Сидела, слушала... уста
Порой, в забвеньи, раскрывала:
О многом высказать желала
И... имя сладкое Христа
Одно с любовью повторяла!..
То вдруг — с вопросами ко мне,
И любопытством вся пылала...
Так дева, в дальней стороне
Тоскуя, в сиротстве унылом,
От путника, наедине,
Душою ловит весть о милом
Отцовском доме, где был рай
Златого детства. Вопрошает:
«Что наш ручей?.. Что милый край?
Что рощи?..» Всё припоминает,
О всем спросить, узнать желает,
И всё в ней жизнь, всё говорит...
Но вдруг затихнет — и мечтает,
Как белый истукан, стоит
И, слушая, без слов, пленяет!..
Так в храмах на холсте внимает
Младая Лазаря сестра
Благому господу — Мария!..
Так часто с девой вечера
Мы проводили неземные:
Летели райские часы!..

Милостивому Государю Александру Сергеевичу Пушкину въ знакъ отличнаго уваженія и преданности, отъ сочинителя. —



КАРЕЛІЯ

или

ЗАТОЧЕНІЕ

МАРѲЫ ІОАННОВНЫ

РОМАНОВОЙ

Описательное стихотвореніе,

въ четырехъ частяхъ,

ѲЕДОРА ГЛИНКИ.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

у издателя, книгопродавца Непейцына.

(№ 26, въ домѣ Балабина.)

1830.

Когда ж из роз и перламутра
На нас звезда блистала утра
И Лейлы в мягкие власы
С любовью веял ветер ранний, —
Мы, в облаке благоуханий,
Рука с рукой, с душой душа
Молились молча, чуть дыша,
Я счастлив был; моя турчанка
За мной с покорностию шла,
И уж давно, давно была
Умом и сердцем — христианка!

Узнал отец... В семействе плач,
Зовут меня, ее приводят,
Родные с шумным гневом входят:
Отец — уж не отец, палач!
Беснуясь, саблею кривою
С проклятьем в воздухе чертит,
И чалмоносцев ряд сидит,
Склонясь к коленам головою,
Кричат: «Пророк! Коран! Алла!»
На сына божьего хула
В устах, от злобы опененных,
Гремит, и изувер-мулла
Их подстрекает, распаленных...
И вот уж рвут с себя чалмы!
И вот уж руки на кинжалах!
Кипят, как гроздий сок в пиалах...
И перед них предстали мы.
Они замолкли, мы молчали,
Друг другу руку пожимали:
Ничто не ужасало нас.
И вот отца дрожащий глас:
«Позор великому пророку!
О Лейла! Лейла! Ты мне дочь!
Была мне дочерью!.. Но року
Свою явить угодно мочь
И, заклеймив печатью срама,
Тебя от светлости ислама
Отбросить в гибельную ночь...
Но что, и как? За что карая,
Мое дитя влекут из рая,

Из жизни в смерть, на стыд, на смех?
Нет, нет! Быть может...» Тут на всех
Взглянул он смутными очами,
Притиснул дочь, ее слезами
Любви воскресшей омочил —
Мне, признаюсь, он жалок был! —
И, зарыдав: «О Лейла, Лейла!
Ты так душой чиста была
И к вере... Что ж ты побледнела?
Молва, быть может, солгала?..
Скажи мне: ты не совратилась?..»
Но Лейла руку подняла
И — молча раз перекрестилась...[14]

Я пробудился в кандалах,
В темнице где-то, смрадной, душной;
Я вспоминал в больных мечтах
Тот миг, тот крест великодушный...
Я помнил сабли страшный мах,
Порыв родительского гнева...
И обезглавленная дева
Лежала на моих руках...
Но что потом и что со мною?
Расстался ль с жизнью я земною,
Еще дышал иль не дышал?..
Я ничего не понимал...

Я заживо в оковах тлел,
И скоро мною овладел
Какой-то недуг: ноги, руки
Хладели, и, полумертвец,
Я забывал и жизнь и муки
И думал, что всему конец:
Уж всё во мне оледенело,
По жилам гасло и пустело...
Но голова была полна
И сердце ярко пламенело.
Непробужденный и без сна,
Мои болезненные очи
Я закрывал иль открывал,

Всё предо мной пылал, пылал
Огонь. Толпы, ряды видений —
Каких? .. Отколь? .. Не знаю сам, —
Всегда являлися очам:
Мне мнилось, сладко где-то пели,
И, от румяной высоты,
В оттенках радужных цветы
Душисты сыпались; яснели
Гряды летящих облаков;
Какая-то страна и воды:
Сребро, хрусталь в шелку брегов!
Лазурно-купольные своды
И воздух сладкий, как любовь,
И ясный, как святое чувство
Самодовольственной души...
И к той таинственной тиши
Земное не дошло искусство.
Но он прекрасен был, тот мир,
Как с златом смешанный эфир.
Ни лиц, ни образов, ни теней
В том мире света я не зрел;
Но слышал много слов и пений,
Но мало что уразумел...
Однако ж я не прилепился
К сим дивам. Я душой стремился
К чему-то... сам не знал... к земле...
И вот однажды, как в стекле,
Нарисовалася мне живо
Дикообразная страна:
В ней пусто, пусто, молчаливо!
Уединенная, полна
Была высокими горами;
Ее колючие леса
Торчали дико над буграми,
И над большими озерами,
Как дым, висели небеса...
И некий глас мне рек с приветом:
«Ты мой! Ты заслужил венец!
Там! Там! ..» И ярким, ярким светом
Я весь был облит. «Где ж конец? ..
Когда, — сказал я, — заточенье
Минует? ..» И... я впал в забвенье...»

Часть вторая

Над Выгом зарево горит!
То, знать, пожар?.. Иль блеск зарницы?..
Подъедем ближе — всё шумит.
Там плавят медь, варганят крицы;[15]
И горен день и ночь кипит;
И мех вздувает надувальный;
И, раз под раз подъемлясь в лад,
Стучит и бьет за млатом млат
По ребрам звонкой наковальни...
Там много их... То кузнецы,
Потомки белоглазой чуди.[16]
Они не злобны — эти люди,
Великорослые жильцы
Пустынь, Европе неизвестных;
Они, в своих ущельях тесных,
Умеют жить своим трудом:
И сыродутный горн поставить
И добытую руду сплавить...
Но не спознаться б им с судом!
Об них не знают на Олонце:[17]
Чтоб не нашли, скрыть стук и клич.
Не беспокойтесь! В вашу дичь
Едва заходят день и солнце!
Однако ж звонкий свой товар,
Добытый в долгие досуги,
Они отвозят на базар,
Лесным путем, к погостам Шунги:
Там ярмарка. Там всё пестро
И всё живет: там торг богатый
Берет уклад за серебро;
И мчит туда олень рогатый
Лапландца с ношею мехов;
На ленты, зеркальцы, монисты
У жен лесных кареляков
Меняют жемчуг их зернистый
Новогородцы-торгаши;
И в их лубочны шалаши
Несут и выдру, и куницу,
И чернобурую лисицу.
И хвалятся промеж собой

Карельцы ловкою борьбой
(Как некогда Мстислав с Редедей).
И пляска дикая медведей
Мила для их простой души:
Так всё идет у них в глуши!..
Туда к знакомым забегает
Наш добродушный Никанор,
Берет винтовку и топор
И что-то в лыжах поправляет.
Куда ж помчится он отсель?
Ему везде простор и гладко:
Под сосной ждет его постель,
Но на душе тепло и сладко —
Он дело доброе творит:
Он послан!.. Вот он и, со мхами,
С древами, с ветрами, с звездами
Советуясь, бежит, бежит
И думает про Годунова
И про Романовых... За них,
Вздохнув, помолится — и снова
Бежит... Но вот не так уж тих,
Не так уж темен лес смолистый:
Людские слышны голоса,
Вдали темнеет полоса,
Над нею вьется дым струистый,
Кресты и церкви... В добрый час!
Беги на Русь, в свой путь далекой!
Нас ждет наш терем одинокой
И недоконченный рассказ
Тулвоозерского монаха:
Полны надежды мы и страха...
Как странно жизнь его текла!
Мне то молва передала:
Он знал любовь, мечты и славу,
Желаний прелесть и отраву...
Он видел мир, боренье зла
И битвы дерзкого порока
С смиренной правдой. Но была
Его душа превыше рока.
И пусть земные, как рабы,
Влачили радостно оковы
Земной униженной судьбы, —

Он сердцем кроткий, но суровый
К лукавым прелестям забав,
К затеям суеты ничтожной,
Давно с очей своих сорвав
Повязку, он узрел сей ложный,
Сей странный, коловратный свет,
Где с самых давних, давних лет
Всё та же, в разных лицах, повесть!..
Он не хотел души губить;
Лукавства враг, свою он совесть
Берег, как шелковую нить —
Путеводительницу. Что же?
Он был страстнее и моложе,
Но меж людьми всё одинок.
И, возвышаясь силой воли,
Глядел, как в душной их юдоли
Играл слепой — слепцами — рок,
Казнитель, им от бога данный...
Но, житель сих пустынь случайный,
Он гнев на слабых укротил
И за людей уже молил,
И высшие познал он тайны...
Так говорили про него.
Но мы послушаем его.

В Кареле рано над лесами
Сребро и бисеры блестят,
И с желтым златом, полосами,
Оттенки алые горят,
И тихо озерá лежат
На рудяных своих постелях.[18]
Уж сосны золотятся днем,
И с красногрудым снегирем
Клесты кричат на острых елях...
Но пусто всё на сих брегах,
И грустно в пасмурном затворе!..
Одна, одна!.. О разговоре
Былом мечтает... Где ж монах?
Он обещал прийти!.. — Придет!..
Он здесь... вздохнул и помолился,
И взор от грусти прояснился,
И он о прежнем речь ведет:

«Не помню, долго ль я был болен...
Но раз... — на мне уж нет желез! —
Мне говорят: «Иди: ты волен!»
Под вышиной родных небес
Стоял я долго, как бездушный...
Ах! Кто неволю испытал,
Кто знал затвор неволи душный, —
Как жадно воздух он глотал,
Как порывался разделиться —
Рассыпаться... чтоб вдруг с землей
И с воздухом, с водами слиться —
И всё с собою слить!.. Что с ней,
С душою деялось моей,
Когда тепло и блеск эфира
И голос из живого мира
Ко мне, воскресшему, дошли?
Я мыслил, я дышал, как новый...
Кипел, шумел народ торговый,
И мчались в пристань корабли,
Но человек — таков с природы! —
Привыкнет скоро ко всему,
И даже к прелестям свободы!..
Зачем подробно всё, к чему
Рассказывать: как, что там было?..
Мне стало душно и уныло...
Отца, родных я потерял —
И скоро одинок стоял,
Как запоздалый в поле колос!
Притом — то было ль дум игрой? —
Мне где-то слышался порой
Таинственный, отзывный голос...»

Что в вас, родные небеса?
Как трудно расставаться с вами!
Но уж полнеют паруса,
И флаг играет с облаками,
И Смирна ниже, ниже... и —
В зеленой влаге потонула...
На чьих глазах роса блеснула?
Но очи он отер свои —
Ему понравилося море
И увлекательная даль:

Он в ней топил свою печаль!..
Корабль летел, летел... И вскоре
Уж к ним повеет с берегов,
Где, небом и страной счастливый,
Неаполь смотрит горделивый
На даль с покатистых холмов.

И был он там, где тихо Байя
Ночные вторит небеса;
И зрел искусства чудеса
И древний край — подобье рая.
И часто долго он глядел
На величавую картину,
Когда Везувий пламенел
И на кипящую вершину
Из тучей сизых и густых,
В изломах молний золотых,
Дождились искры — вихорь звездный,
И из недознанныя бездны
Летели камни и, взлетев,
Кололись в выстрелах кусками;
Вздыхало, выло и — вдруг рев
И лава красными реками...
Наш друг поэзию любил:
Он гроб Марона посетил
И прочитал на нем Гомера...
И быть любил он там, в тиши,
И с ним сокровища души:
Любовь, поэзия и вера!..

И было — так он вспоминал —
В его прогулках молчаливых,
Когда алмаз звезды играл
На стекловидных переливах
Чуть колыхавшихся зыбей,
С зеленым блеском изумруда:
«Не знаю, — говорил он, — чей,
И как он взялся, и откуда?
Мелькнул мне образ молодой:
Власы... и стан... и те ж блистали
Глаза!.. Но то была она ли?..

И он не отражен водой,
Тот образ, не мелькнуло тени...
И я ее не осязал;
Но видел, мнилось, и узнал
Ее в мгновенном сем виденьи...
И грусть проснулась!.. Но она
На что-то кротко указала,
Без слов мне весть одну сказала
И скрылась. Как виденье сна,
Мне это памятно. И что же?
С тех пор тоска и мысль о ней
Исчезли... менее тревожен,
Я отдался судьбе своей!..»

Италия! Страна гробов
Неумирающих героев!
В тебе так блещет след веков,
Былых людей, чудесных боев
Сквозь тягостный забвенья прах!..
Но где твои златые годы
В своих негаснущих лучах?..
Твои и храмы и народы —
Всё стало басню... Всё мечта!
Лишь неизменна красота
Твоей пленительной природы!
Синеет ясно высота
Над бесконечным вертоградом:
И лавр и, в зелени густой,
Лимон дружится золотой
С янтарным, спелым виноградом...
Там был наш друг! Но, увлечен
Тревогой непонятной чувства,
Недолго жил в стране искусства,
Развалин и чудес... И он —

Он всю Германию прошел,
Искал чего-то... и случайно
Людей с неузнанною тайной [19]
Вдали от общества нашел;
Их, в храминах уединенных,
Не знали слава и молва,

И в их работах сокровенных
Был светоч — мертвая глава,
Но жизнь из-за нее светлела!..
Глубоко вникнув в естество,
Они дробили вещество,
И влага в их стекле тучнела;
Они влияние небес
В скудель земную заключали
И с твердой верой ожидали
Для вас неведомых чудес.
И далее — былое он
Передает, как давний сон:

«Я вёсну проводил над Рейном,
И было там отрадно мне!
Любил бродить я в тиховейном
Дыханьи гор. И в той стране
В глазах моих мелькали замки
И разрисованная даль;
И, стихнув, Реин — был хрусталь,
Уложенный в цветные рамки!
Там люди счастливо живут!
Их здравый ум, их терпеливость
И не пугающий их труд
Дают избыток. Всюду живость,
Изделия прилежных рук,
И верный торг и ход наук
У них, при нраве их степенном,
Полезен сердцу и уму,
И, развиваясь постепенно,
Он гонит осторожно тьму
Невежества и предрассудка.
Бывает от страстей пожар!
И трудно, трудно сердца жар
Подвесть под правила рассудка!
Но разве только между них
Найдем мы этому примеры!
Простой, живой, но теплой веры
Они полны. Мне быт у них
Патриархальный — был по нраву:
Охотно тут забудешь славу
И не полюбишь суеты!..

В семьях, в домах, где так опрятно,
Как было мне гостить приятно!..
Но тайной сердца пустоты
И то житье не наполняло...
Не знаю, что мой ду́х стесняло...

И было раз, порой ночной,
Когда, меж сна и пробужденья,
Мелькают думы и виденья...
И свежей памятью дневной
И томной памятью былого
Глава усталая полна —
Мне, вдруг... раскрылась вышина,
Как лик младой из-под покрова!
Не знаю, оставался ль я
Всё на земле, иль был возвышен,
И с телом, иль одна моя
Душа летела?.. Был мне слышен,
Был виден, близок мир иной,
Как солнце из-за синей тучи...
И вот, как помню, надо мной,
В средине звезд, путем зыбучим,
Белея, стлалась полоса;
И мне казались небеса
Торжественны и величавы —
Как празднество!.. Вдруг клики славы
И песни песней пронеслись:
Дружины светлых и дружины
Крылатых ангелов сошлись
И стройно заняли вершины:
Не стало в небе пустоты.
И се! является царица
Неизъяснимой красоты;
На ней венец и багряница,
И власти скиптр в ее десной.
Идет... и стала над луной!
И, в радостном благоговенье,
Склоняется под осененье
Благословляющего... И,
Покорная, стопы свои
Направила к земле... Толпами
Кидались ангелы вослед,

Чтоб яркий под ее стопами
Сбирать, как влагу, чистый свет
Целительный!.. И вот склонилась
Она как будто и ко мне,
И ароматом заструилась
Небесность. «Нет! Не в сей стране
Витать — тебе определенье!
Ты знаешь... Вспомяни!.. Иди!..
С тобой мое благословенье!
На Север . . . .
. . . . Угоди!»
Я не дослышал слов, — знать, радость
Тревожила мой ум и слух!
Но весь я погрузился в сладость,
И, как рассвет, сиял мой дух!..»

Так он, к безвестному влекомый,
Всё шел на Север... Длинен путь!..
Но вот, как будто в край знакомый,
Пришел сюда. Тут отдохнуть
Желал и мог душой довольной:
Один, как божий воздух вольный,
Он изучил сии края...
Но пусть он сам!.. Замолкну я...
Пусть он опишет нам пожары,
Как их застал по сим лесам;
И как в глуши гигантом ярым
Блеснул Кивач его очам...
Так! Пусть же говорит он сам:

«В страну сию пришел я летом,
Тогда был небывалый жар,
И было дымом всё одето:
В лесах свирепствовал пожар,
В Кариоландии[20] горело!..
От блеска не было ночей,
И солнце грустно без лучей,
Как раскаленный уголь, тлело!

Огонь пылал, ходил стеной,
По ветвям бегал, развевался,

Как длинный стяг перед войной,
И страшный вид передавался
Озер пустынных зеркалам...
От знойной смерти убегали
И зверь и вод жильцы, и нам
Тогда казалось, уж настали
Кончина мира, гибель дней,
Давно на Патмосе в виденьи
Предсказанные. Всё в томленьи
Снедалось жадностью огней,
Порывом вихрей разнесенных,
И глыбы камней раскаленных
Трещали. Этот блеск, сей жар
И вид дымящегося мира —
Мне вспомянули песнь Омира:
В его стихах лесной пожар.
Но осень нам дала и тучи
И ток гасительных дождей;
И нивой пепел стал зыбучий,
И жатвой радовал людей!..

Дика Карелия, дика!
Надутый парус челнока
Меня промчал по сим озерам;
Я проходил по сим хребтам,
Зеленым дебрям и пещерам, —
Везде пустыня: здесь и там,
От Саломейского пролива
К семье Сюйсарских островов,
До речки с жемчугом игривой,
До дальних северных лесов, —
Нигде ни городов, ни башен
Пловец унылый не видал,
Лишь изредка отрывки пашен
Висят на тощих ребрах скал;
И мертво всё... пока шелойник [21]
В Онегу, с свистом, сквозь леса
И нагло к челнам, как разбойник,
И рвет на соймах [22] паруса
Под скрыпом набережных сосен.
Но живописна ваша осень,
Страны Карелии пустой;

С своей палитры дивной кистью,
Неизъяснимой пестротой
Она златит, малюет листья:
Янтарь, и яхонт, и рубин
Горят на сих древесных купах,
И кудри алые рябин
Висят на мраморных уступах.[23]
И вот меж каменных громад
Порой я слышу шорох стад,
Бродящих лесовой тропою,
И под рогатой головою
Привески звонкие бренчат...[24]

Край этот мне казался дик:
Малы, рассеяны в нем селы;
Но сладок у лесной Карелы
Ее бесписьменный язык.[25]
Казалось, я переселился
В края Авзонии опять,
И мне хотелось повторять
Их речь: в ней слух мой веселился
Игрою звонкой буквы Л.
Еще одним я был обманут:
Вдали для глаз повсюду ель
Да сосны, и под ней протянут
Нагих и серых камней ряд.
Тут, думал я, одни морозы,
Гнездо зимы. Иду... вдруг... розы!
Всё розы весело глядят!
И Север позабыл я снова.
Как девы милые в семье
Обсядут старика седого,
Так розы в этой стороне,
Собравшись рощей молодою,
Живут с громадою седою.[26]

Сии места я осмотрел
И поражен был. Тут сбывалось
Великое!.. Но кто б умел,
Кто б мог сказать, когда то сталось?,,

Везде приметы и следы
И вид премены чрезвычайной
От ниспадения воды,
С каких высот — осталось тайной...
Но Север некогда питал,
За твердью некоей плотины,
Запросы вод, доколь настал
Преображенья час! И длинный,
Кипучий, грозный, мощный вал
Сразился с древними горами;
Наземный череп растерзал,
И стали щели — озерами.
Их общий всем продольный вид
Внушал мне это заключенье,
Но ток, сорвавшись, всё кипит,
Забыв былое заточенье,
Бежит и сыплет валуны,[27]
И стал. Из страшного набега
Явилась — зеркало страны —
Новорожденная Онега![28]

Здесь поздно настает весна.
Глубоких долов, меж горами,
Карела дикая полна:
Там долго снег лежит буграми,
И долго лед над озерами
Упрямо жмется к берегам.
Уж часто видят: по лугам
Цветок синеется подснежный
И мох цветистый оживет
Над трещиной скалы прибрежной,
А серый безобразный лед
(Когда глядим на даль с высот)
Большими пятнами темнеет,
И от озер студеным веет...
И жизнь молчит, и по горам
Бедна карельская береза;
И в самом мае по утрам
Блистает серебро мороза...
Мертвеет долго всё... Но вдруг
Проснулось здесь и там движенье,
Дохнул какой-то теплый дух,

И вмиг свершилось возрожденье;
Помчались лебедей полки,
К приютам ведомым влекомых;
Снуют по соснам пауки;
И тучи, тучи насекомых
В веселом воздухе жужжат;
Взлетает жаворонок высоко,
И от черемух аромат
Лиется долго и далеко...
И в тайне диких сих лесов
Живут малиновки семьями:
В тиши бестенных вечеров
Луга, и бор, и дичь бугров
Полны кругом их голосами,
Поют... поют... поют оне
И только с утром замолкают;
Знать, в песне высказать желают,
Что̀ в теплой видели стране,
Где часто провождали зимы;
Или предчувствием томимы,
Что скоро из лесов густых
Дохнет, как смерть неотвратимый,
От беломорских стран пустых
Губитель роскоши и цвета.
Он вмиг, как недуг, всё сожмет,
И часто в самой неге лета
Природа смолкнет и замрет!

По Суне плыли наши челны,
Под нами стлались небеса,
И опрокинулися в волны
Уединенные леса.
Спокойно всё на влаге светлой,
Была окрестность в тишине,
И ясно на глубоком дне
Песок виднелся разноцветный.
И за грядою серых скал
Прибрежных нив желтело злато,
И с сенокосов ароматом
Я в летней роскоши дышал.
Но что шумит? .. В пустыне шепот
Растет, растет, звучит, и вдруг

Как будто конной рати топот
Дивит и ужасает слух!
Гул, стук! .. Знать, где-то строят грады!
Свист, визг! .. Знать, целый лес пилят!
Кружатся, блещут звезд громады,
И вихри влажные летят
Холодной, стекловидной пыли.
Кивач! Кивач! .. Ответствуй, ты ли? ..
И выслал бурю он в ответ! ..
Кипя над четырьмя скалами,
Он с незапамятных нам лет,
Могучий исполин, валами
Катит жемчуг и серебро;
Когда ж хрустальное ребро
Пронзится горними лучами,
Чудесной радуги цветы
Его опутают, как ленты;
Его зубристые хребты
Блестят — пустыни монументы.
Таков Кивач, таков он днем!
Но под зарею летней ночи
Вдвойне любуются им очи:
Как будто хочет небо в нем
На тысячи небес дробиться,
Чтоб после снова целым слиться
Внизу, на зеркале реки...
Тут буду я! Тут, жизнь, теки! ..
О счастье жизни сей волнистой!
Где ты — в чертоге ль богача,
В обетах роскоши нечистой,
Или в Карелии лесистой
Под вечным шумом Кивача? ..»

Так он рассказывал. Ему
Внимала матерь Михаила,
С ним рассуждала, говорила,
Дивясь порой его уму,
Его судьбине... Ей желалось
Узнать, как он владел собой
И как держал духовный бой,

И что в пустыне с ним сбывалось?
И на вопрос: «Покинув свет,
Не знал ли грусти сокровенной?»
Он дал неясный ей ответ.
Вот сей ответ необъясненный
(А что хотел он в нем сказать,
Могу ли я истолковать?):
«...На дальнем Севере есть птица.
Она, как слышно, иногда
Перелетает и сюда.
Как мысль, как пылкая зарница,
Она мелькает по лесам.
Ее, как сон, я видел сам.
Грудь — яхонт, и лазурны крылы
Отливом золота горят;
Напев и длинный, и унылый,
И сладостный, как первый взгляд
На жениха стыдливой девы.
Какие звуки!.. Те напевы
Так очаровывают нас,
Когда их слышим в первый раз!..
Заман души, так в душу льются!
Чудесным счастьем и тоской
Все струны сердца потрясутся
И растревожится покой,
Как только песню ту услышишь:
Едва живешь, с боязнью дышишь!..
И время нет... Исчезла даль!..
Как прах, как дым, земное мчится,
И мчится всё с ним, что печаль.
Душа, юнея, веселится,
Как после недугов дитя,
Куда-то всё летя, летя...
Но из карельцев чудной птицы
Еще никто сей не видал.
Пусть ставят сети и пленицы!
Кто б был он, чтоб ее поймал?
Ее не видят здешних взоры,
Но мне порой видна она,
И с ней мне милы эти горы
И эта дикая страна!..»

Кто всходит резво на крыльцо
И в терем? В тереме ей рады:
Вот новое для нас лицо!
На ней карельские наряды.
То девушка в семнадцать лет,
То Маша, дочка Никанора!
Она умна, добра и скоро
Нашла и милость и привет,
И ей оказывали ласки
И для нее и за отца.
А наша Маша знала сказки!
Она у сельского чтеца
Училась многому, читала,
Наслушалась от стариков;
Да уж и свет-таки видала:
На Шунге в ярмарку бывала,
На лове чолмужских сигов, [30]
Была на берегах Неглинки
И воду, верно, там пила, [31]
И по изгибам Лососинки [32]
До Машеозера дошла,
И там в монастыре была, [33]
За здравье части вынимала
От человеческих грехов.
...И в поминальник записала
Свою родню. Там, в житии
И в старописьменном сказаньи,
Узнала, как гласят преданьи,
Что лик пречестный Илии
Пророка — а отколь, не знаем! —
Плыл, плыл и стал. И уважаем
Он там от русских и лопян,
Сей лик с какой-то грозной славой!
Святый пророк казнит обман,
И горе, кто с душой лукавой
Придет с поклоном и свечей:
Сожжет огонь его очей!..
Теперь, разграбленный Литвою,
Давно уж пуст, зарос травою
Старинный этот монастырь,

И Машеозеро — пустырь!
Однако ж есть в народе слухи,
Что там не пусто! .. В тех горах
Живут селениями духи.
Точь-в-точь как мы! В больших домах,
Лишь треугольником их кровли;
Они охотники до ловли,
И всё у них как и у нас:
Есть чернь и титул благородных,
Суды, расправы и приказ.
Но нет балов, торговок модных,
Карет, визитов, суеты
И бестолкового круженья;
Нет мотовства и разоренья —
Так, стало, нет и нищеты!
Счет, вес и мера без обмана,
И у судейского кафтана
У них не делают кармана.
Я не могу уверить вас,
Имеют ли они Парнас,
Собранья авторов и залы
Для чтения. — «А есть журналы?»
Нет-с! Ну, и ссоры меньше там:
Литературные нахалы
Не назовут по именам
И по отечествам, чтоб гласно,
Под видом критики, ругать:
То с здравым смыслом несогласно!
И где, кто б мог закон сыскать,
Который бы людей уволил
От уз приличия? И им,
Как будто должное, дозволил
По личным прихотям своим,
Порою ж и по ссоре личной,
Кричать, писать, ругать публично? . .
Зато уж в обществе духов —
Вон там, на тех скалах огромных —
Все так приязненны! Так скромны! . .
Подчас им. . . бедным, очень душно!
И если станет уж и скучно
Смотреть на глупости земных,
На наши шашни и проказы,

То псов с собой четвероглазых [34] —
И в лес! И вот, лесов чесных
Принявши образ, часто странный —
То выше ели, великаны,
То наравне, в траве, с травой! —
Проказят, резвятся, хохочут,
Зовут, обходят и морочат...
Иди к ним с умной головой,
Начитанный теорик, — что же?
Тебе ученость не поможет.
Ты говоришь: всё глушь да мрак.
А духи шепчут: «Ты дурак!
Сюда, мудрец, вот омут грязный!..»
Не так ли иногда приказный,
Раскинув практику свою,
Из справки в справку ходит, ходит
И часто в бестолочь заводит
И толковитого судью?..
Но мы о Маше говорили
И, бедную, совсем забыли!
А Маша в стороне своей
Умом и разумом блистала,
Про Киев и Москву слыхала,
И — уж зато и слава ей! —
Бывала даже на Олонце,
Дивилась башням и стенам [35]
И книги покупала там:
Она купила книжку с солнцем,
А около него, в лучах,
Всё цифры, цифры... Что-то важно!
То солнце держит на плечах
Какой-то бородач отважно!
И подпись значит: «Книжка ся
Гадальная!» От Соломона
Начало мудрости ея!
Она читала про Сампсона
(Силач, вертел он всех и всё).
А этот лист? Тут колесо,
Оно в ходу... И человеки —
По их одежде как узнать:
То немцы, русские иль греки?

И видно, одному всползать
Наверх так весело, так сладко...
Но колесо в ходу и гладко:
Скользнул — и торчмя головой!
Внизу: бунтующее море,
На нем корабль в бою с волной:
Всё в буре, в суматохе, в споре...
А тут, пониже этой при,
Каких-то двое под картиной
Из мыла дуют пузыри —
И выпускают их пречинно!..
И что ж в заглавии листа?
«Бедный, бедный человек!
Суетится целый век!
Счастия сыскать желает,
А того не постигает,
Что судьба им управляет!..»
Не правда ли: ведь мысль проста?
И справедлива, воля ваша!
Итак... Итак, карелка наша
Рассказы сказочных затей
И про дела богатырей
В семьях читает рыбарей,
Когда зимою вьюга взвеет
И всё замрет и побелеет...
В избе бревенчатой, большой,
До половины задымленной,
Где лавки, сеть, ведро с ковшом,
В углу же, древностью почтенной, —
Карельский спас, — она была
Отрадой для толпы брадатой:
Все цепенели — лишь брала
Запас из кузова богатый...
То сказки!.. Сказки про Илью,
Про витязя Иеруслана
И про царевича Ивана.
И библиотеку свою
Она прекрасно сберегала.
Какая роскошь в ней блистала!
Картинки... Что ваш Уткин! — в них
Все лица — точно наши маски!..
Но тешили людей простых

Для глаз ударистые[36] краски
И позолота по местам.
Теперь рассказывает Маша
Всё больше про свою страну,
И говорила дева наша
Про то, что было в старину:
Про озеро свое Онегу
И про карельца Заонегу.
И кто же был он? — Богатырь!
И славный! .. Он, с дубиной, смелый,
Берег карельские пределы
И славил свой лесной пустырь...

Грустна затворница, скучает;
А Маша весело сидит
И про Карелу говорит.
Она преважно уверяет,
Что есть у них водяники,
Воздушники и лесовые.
Их часто видят старики
Или видали в дни былые —
И в этой мнимой пустоте
Всё полно. Духи и лесами,
И на воздушной высоте
Владеют, славясь чудесами! ..
Так нам карелка говорит
И в многое в пример приводит:
По берегам озер нас водит
И молча замечать велит
За молчаливыми горами.
«А больше, — говорит она, —
Дела творятся вечерами! ..»
Пускай всё станет тишина
И к островам причалят соймы,
Туман постелется холстом,
И рыба к берегу хвостом,[37]
И засинеются, как коймы,
Онеги гладкой берега, —
Тогда в поля! Тогда в луга!
И, познакомившись с лесами,
Мы кой-кого увидим сами,
Хоть их и трудно подсмотреть! ..

Они то, в виде великанов,
Кроят одежды из туманов;
То, мелкие, в рыбачью сеть
Закравшись, жадно крадут рыбу;
То шарят в гнездах у гагар;
То вдруг обрушат сверху глыбу;
То на кого нашлют угар,
Под час иной — на скот заразу;
И страшную всегда проказу,
Чрез знахарей-кареляков,
На свадьбе сочинят. В волков
(Да, да, в волков!) — гостей и свадьбу...
Невеста ищет жениха,
А он... Далеко ль до греха!..
Он, бедный, в чью-нибудь усадьбу
Охотой рвется на капкан!..
Так духи всем располагают:
Тузят ленивых поселян
И красных девушек пугают...
Так в тереме, наедине,
Карелка сказки говорила,
А мне молва их повторила,
И эти сказки — вот оне:

Сказка первая

«Зачем тут ели вдруг не стало?
Ее унес наш богатырь:
На Мурму шел он в монастырь;
Вдруг стадо на него напало,
Как войско целое, волков
(Конечно, посланных духами).
Но, вмиг управившись с волками,
Добрался он и до духов
И видимых своей дубиной
Громил и бил он, как пестом,
А невидимок гнал крестом,
Считал их козни — паутиной!..
И силой честного креста
Он их — воздушных скоморохов!
Их не спасла и высота!..
И он — правдива повесть та —

Из озера сонливых лохов
Пробил в Онегу ворота:
И стал пролив там Саламейский...
Пускай с насмешкою злодейской
Клевещут духи на него:
Он не боялся ничего!
Мы помним змея Тугарина:
Он триста сажен был длиной
И горы подымал спиной;
Но Заонегина дубина
Ему далась порядком, знать:
Мы помним, изо всей Карелы
Сошлась, как туча, наших рать:
Метали камни, копья, стрелы,
А змей бойцов и не слыхал!
И, лежа на скалах Онеги,
Им в уши бурею свистал
И пол-Онеги расплескал
Хвостом. Но всё от Заонеги
Он не ушел! Избитый чуть,
Чертя густою кровью путь,
Чуть сонный, в Укшу дотащился
И там у Косалмы свалился.
Он лежит там и теперь:
И с той поры огромным телом
Загородил на Кончу дверь[38]
И лег, как толстая плотина;
Его покрыла пыль и тина,
На нем скопилася земля —
И вырос лес. Теперь там пашня,
Два дома, мельница, поля...
Так наш силач — живая башня —
Свою отчизну сторожил;
Возвысил нас, себя прославил
И рати всех воздушных сил
(Он с ними крепко не дружил)
И страшных леших в грош не ставил;
Подчас щелчки давал горам;
Две сосны с корнем, вместо весел,
И сойму на плеча — и весел,
Не дует в ус водяникам!..

Сказка вторая

Шумит шелойником Онега,
Идет, нахмурясь, Заонега;
А лешие в своих лесах
Поют. В их хриплых голосах
Есть что-то дикое. Но что же
И про кого поют они?
Их что-то мрачное тревожит:
Они нам, говорят, сродни?..
Не знаю я, в котором веке
Бывали очень близки к нам,[39]
И вот теперь о человеке
Грустят, грустят, к его бедам
В их песнях слышно сожаленье.
Поют: «Зачем он, бедный, пал,
Оброс грехом и стал так мал —
Забыл свое предназначенье!..
Был век, когда его был рай!..
Теперь, возвышенного чуждый,
Зарылся он в земные нужды...
Родись, томись и умирай!
Что день, что час — всё ближе к гробу!»
Так лешие поют в лесах,
Но в бесковарных их сердцах
Они к нам не питают злобу.

Сказка третья

На сойме едет Заонега,
Сам надувает паруса.
А кто на камени у брега
Сидит и чешет волоса?
То водяник! И вдруг не стало!..
И не колыхнется вода!
Что ж под водою заблистало?
Сады, деревни, города,
Жемчуг, хрустальные дороги
И золоченые мосты.
И в этом царстве красоты
Сидел монарх, на троне, строгий.
Он строг, но светел он умом.

И, как вода, он чист. И духи
Долговолосые по нем —
Правдивы все, умны... Но сухи
И в обхождении своем
Страх как неласковы. Все честность
Да правоту при них храни.
Зато грядущего безвестность
Читают, как букварь, они!
Они не терпят в человеках
Жеманства, чванства, хвастовства,
Двусмыслия в полунамеках,
Притворства, лжи и удальства.
В лице — стыдливость, даже томность,
Будь в нраве тихость и, с умом
Большим, во всем большая скромность!..
Но где ж сыскать всё это? В ком?..

Сказка четвертая

Гладка, как зеркало, Онега;
Осенний воздух свеж и чист;
Ни синий, ни янтарный лист
Не шелохнется. Заонега
После обеденного сна
Идет путем к лесному Уру *
Сбирать душистую мамуру:
Она в то время новизна!
Всё тихо, тихо и сонливо;
Порой лишь под овсяной нивой
Взревет медведь; но вот жужжит
И вьется... Что такое!.. Мухи?..
Но Заонега говорит:
«Я знаю вас, воздушны духи!
Надоедать вы мастера:
У вас любимая игра,
Чтоб человека обморочить,
И осмеять, и опорочить,
Подслушать, сплетней наплести,
Кутить, мутить, болтать, ввести
В обман и потчевать ловушкой;
Что ж, человек вам дан — игрушкой?..»

* Ур — озеро.

Духи-насмешники
«Ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! —
И эхо вторит: «Ха! ха! ха!» —
Вот так-то судит сын греха!
Мы виноваты? .. Вот прекрасно!
У них и тяжбы и грабеж;
Язык — игла, и нрав — как еж;
В душе разврат, и в сердце страстном
На злое похоть, лесть и ложь!
Их судит думный дьяк из платы;
Они друг друга тянут в суд;
Друг друга лишь во сне не бьют!
А духи чем же виноваты? ..

. . . .

Смотри! Повсюду неизменность:
Всё так же ловит мух паук,
Ползет стезею грязной жук,
Всё та ж зимой в медведе леность,
Всё так же жаден тощий волк
И так увертлива лисица;
Задолго весну слышит птица:
И вот лебяжий белый полк
Летит в карельские озера,
А человек? .. Хоть для примера
Возьми себе любого сам
И вскрой: заметь, разметь, исчисли
Его желания и мысли! ..
Сегодня данник небесам,
И набожен и осторожен!
А завтра, смотришь, брат бесам
И вечно ложен, ложен, ложен...
Подьячий врет перед дьяком;
Дьяком лукавый пред царем
Перелукавлен воевода:
Им ложь — что соль! Мила свобода,
Все просят воли от судьбы,
А сами жалкие рабы —
Ковша, и штофного наряда,
И женщины лукавой взгляда...
И богу — свечку, а рублю
Закабалить готовы душу!»

Заонега

«Ну полно ж врать: я не люблю!
Вы знаете: я вас не трушу!» —
Так Заонега... Но кипит
Воздушников лихая сила!
Хохочет, дразнит и шумит —
Уж Заонегу рассердила...
Но Лазарь в Мурме[40] зазвонил
(Угодник с братией там жил) —
И духи тотчас присмирели,
И Заонега стал смирен.
Прогнал врагов вечерний звон:
То в Мурме повечерье пели...

Часть четвертая

Где наш пустынь карельских житель?
Где наш, знакомый нам, монах? ..
Его, как говорят, в мечтах
Ласкал дарами искуситель,
И что ж успел? .. В его очах
Негодование блеснуло,
И сердце с гневом оттолкнуло
Нечистый дар и злой совет;
И он не возвратился в свет,
Где всё развратом накипело:
Остался он с своей Карелой.
Но уж с тех пор он стал не тем!
Он созерцания путем
Взошел на высшие ступени
Духовности. Он видел: тени
Лежали густо на земле,
И люди, в диком пьянстве страсти,
На ветхом, ветхом корабле,
Без путеводных звезд, без снасти,
Неслись безумно по морям
К каким-то дальним берегам...
И он беседовал, как с книгой

Разогнутой, с природой... и
Пленил он прихоти свои,
И тело укротил — веригой...

Теперь опять он в терем входит:
В лохмотьях риза, дыбом влас,
И взор его так мутно бродит,
Порою из туманных глаз
Как будто молнии сверкают,
Уста померкшие дрожат,
Вериги из-под риз звенят,
И содроганья обличают
Какой-то исступленный ум...
Под шумной Кивача стремниной,
В стране лесной, в глуши пустынной
Не одичал ли?.. Бурю дум
Он без порядка, без искусства,
Порой младенческие чувства
С любовью детской выражал.
Ему всё что-то как мечталось,
Он видел: бог свой суд держал —
И всё земное распадалось...
Так, под защитой горних сил,
Являлись в грешный мир пророки,
Или вещания Сивилл
Про тайны, времена и сроки...
Вот озирается кругом —
И, мнится, видит он народы
И реющий над ними гром,
И слышит стон больной природы...
В словах — душа, в душе — пожар...
Кипит... хладеет... Видит — шар,
Как мир, на волосе повешен
Над самым теменем земли:
Падет — и в прах!.. Уж жребий взвешен!
Они прошли, они легли,
Истлели сонмы поколений...
И вот... дрожат его колени...
Он в страхе видит всё и всех,
Смущенный тайною грозою...
А иногда холодный смех
Сменяет жаркою слезою.

Он что-то слышал, что-то зрел
И загремел, как голос Вечи, —
И вот, как мог я, как умел,
Списал его, в отрывках, речи:

1

«...Земля приемлет образ гроба,
Сокрылась жизнь сердец — любовь;
Везде кипит, бунтует злоба,
И вырос грех до облаков...
Но ты, властитель тьмы и света!
Не прогневись на сих детей!
Они запутались в тенета!
Приди и вынь их из сетей!

Ты можешь спорные их рати
Одним ударом раздробить:
Одною каплей благодати
Всю горечь моря усладить...

2

Гремит на ясном небе гром,
И хлынул в мир разврат, как воды,
И, мнится, воздух стал грехом!..
Почто смущаются народы?
Искать блаженства где? и в чем?
Повсюду пламенным мечом
Сечет обиженная совесть
И тлеют заживо сердца;
Ни в чем желанного конца!
Всё — недосказанная повесть...

3

В пустыне в полночь я вставал *
И пред тобой, мой бог, молился;
Свои грехи воспоминал
И мудрости твоей дивился...
Как правы все твои судьбы!
Они вращаются незримо,
А мы, страстей своих рабы,
Мы в вихрь сует неудержимо
И рвемся на свою беду!
Повсюду ум наш, сея хитрость,
Забыл, несчастный сей слепец,
Что сквозь его сквозную скрытность
Всё зрит, всё ведает отец!..
В своих лукавых изворотах
Он хочет совесть заглушить
И им в размноженных заботах
Дни нашей жизни потопить.
Слышна, видна в час ночи совесть,
И в темноте ясней грехи:
И кто-то нам, душой глухим,
О прежних днях заводит повесть:
О том, как люди, в простоте,
Без мудрований, без изгиба,
Не бились грустно в суете,
Как в сеть уловленная рыба.
И говорит нам тайный глас:
«Пора вам богу покориться,
И хоть немного, хоть на час
Покинуть ложь, престать гордиться,
Не изрывать друг другу ям...
Уже идет и близко к вам
Суда таинственное мреже!»
Но вы сказали: «Это ложь!
Все времена одни и те же,
Что предки делали, мы то ж!»
Но времена совокупляет
Судьи невидимая длань:

* В сем монологе монаха видно подражание одному из псалмов Давидовых, именно 76-му.

Уж на душах тоска, как дань,
Лежит и втайне их сгрызает!
Я вижу дни.

4

Что вдруг душа моя грустит
И пала в думе боязливой,
Как птица робкая над нивой,
Когда орел над ней шумит?..
Смутился ум, прильнул язык,
Невольно движутся колени...
Но ты послышал сердца крик —
И свет твой вспыхнул в смертной сени.

Ты озарил меня лучом —
И я во тьме увидел ясно:
С тобой нет бед нигде, ни в чем,
А без тебя везде опасно...

5

Небес в лазоревом стекле
Вдруг ангелов я слышу голос,
И мне казалось, на земле
Меня держал лишь тонкий волос.
Земное стало всё мечта,
Ничтожество и суета!..
Как высь от ангелов светлела!
Как их дружина сладко пела!
Я на себе не слышал тела!
Я стал легок, эфирен сам
И полный дивного покою:
Сдавалось мне, тогда рукою
Я мог коснуться небесам!..

Увы! От жизненной работы
Мне труден стал наземный путь,
И, от докучливой заботы
Болея, наболела грудь.
Напойте ж песен мне святыни,
Жильцу безгорестной тиши!
Я буду их в земной пустыни
Беречь, как счастие души!..

6

Поверьте мне, я вижу их! —
Не сомневайтесь больше, други! —
Я вижу вечно молодых
И их лазуревые круги.
Поверьте: это не мечты!..
Я вижу райские цветы!
И как они играют ими,
И сами свежие, как цвет!
Какой невыразимый свет
Там, над долинами святыми?..
Они легки, они в венках;
Я вижу лиры в их руках...
Там смешано повсюду злато
С неизъяснимой белизной!
И всё кругом так чисто, свято,
И сам я становлюсь иной:
Парю пареньем бестелесных,
Тону в их радостной тиши...
Но уж бежит покой души,
Исчез видений ряд чудесных,
Я на земле, на ниве слез,
Закрылся верх — я житель низа.
Но ароматами небес
Моя благоухает риза...

7

Так, есть таинственные блага!
Их взор не зрит, не слышит слух;
Млека и меда слаще влага
Из высших кладезей в наш дух
Стезями тайными втекает...
Но плоть груба: она не знает
Сих невещественных утех!..
Как радостно наш дух играет,
Когда к нему нисходит мир!..
Тогда в душе совсем иное!
И что пред тем иным земное?..
И чувствий упоенных пир,
И пылкие порывы страсти,
И славы блеск, и прелесть власти, —
Что не сулит лукавый мир...
И всё ничто!.. Хотя б я бездны
Вскрывал и словом закрывал,
Хотя б надсолнечные звезды,
Как с древ плоды, рукой срывал, —
Я не вкусил бы той отрады,
Которой жаждет так душа,
Когда, небесностью дыша,
Летит, парит в святые грады...
Какой там мир?.. Но чей язык
Неизглаголанность расскажет?
Мне скудность слова мысли вяжет!
Вам слышен ли поющий лик?..
Вам виден ли сей час чудесный?
Понятна ль эта тишина?
Какой, без вечера, прелестной
Она зарей освещена?..
И этот воздух ароматный,
Который нежит и сладит
И кровь и страсти холодит?
Но нет! Я вижу, необъятны
Для мертвых букв, для тесных слов
Блаженство с радостью незримой...
Но что уму непостижимо,
То может разгадать любовь!..

8

Увы! Земля влечет меня!
Я угнетен влияньем звездным
И, плен свой зная и стеня,
Влачусь вокруг скользящей бездны.
Исторгнися, душа моя,
Из сих теснящих отношений
И, вольная, как дух, как гений,
Лети в надзвездные края,
Пари по широте вселенной!..
Но ты устала, и полет
Уже тяжел для утружденной...
Так память понесенных бед,
Не раз испытанное горе
Претит пловцу пускаться в море.
Сама в себя уединясь,
Путей боишься ты воздушных,
И, в чувствах, пред тобой послушных,
Как ветка под дождем, склонясь,
Ты отдыхаешь по-земному...
Но навык к счастию иному
В тебе, как тайна, зацелел:
Ты помнишь, прежде ранней птицы
(Как пояс розовой денницы
На синем куполе светлел)
Ты облетала звезды утра,
И там, куда не вступна тьма,
Средь злата, роз и перламутра,
Ты уяснялася сама...

. . . .

9

Над Кивачом, на выси дальной
Горит алмазная звезда...
Так и в душе моей печальной
Звездится радость иногда.
Но скоро дум докучных тучи
Ложатся на минутный свет:
Вот подо мной песок зыбучий,
И мне в земном опоры нет!

Подай с небес, отец, мне руку,
Меня на скользком укрепи,
Отвей любви дыханьем муку
И посвети в глухой степи!
Я без приюта, без вожатых,
Впотьмах над бездной я стою!
Тут глубь, там грома перекаты —
Я твой! Храни главу мою...

10

Лесная ночь была темна!
Теней и ужасов полна!..
Не смела выглянуть луна!
Как гроб, молчала глубина!
У них в руках была страна:
Она во власть им отдана...
И вот с арканом и ножом
В краю, мне, страннику, чужом,
Ползя изгибистым ужом,
Мне путь широкий залегли,
Меня, как птицу, стерегли...
Сердца их злобою тряслись,
Глаза отвагою зажглись;
Уж сети цепкие плелись...
В пустыне движутся скалы:
Куют при кликах кандалы;
И ставят с яствами столы,
Чтоб пировать промеж собой
Мою погибель, мой убой...
Я шаг вперед... остановился,
Припал с тоской к земле сырой,
Как нищий, богу помолился —
И страх с души моей скатился
Огромной черною горой...
Нашла моя молитва бога,
Сошла к молящему любовь —
И агнцу бедному прорезалась дорога
Сквозь стражу гладную волков!..

11

Премудрый бог, ты избрал время
Для неизбежного суда!
Нас гнет к земле пороков бремя,
Как древо гнется от плода...
Сердца от злобы стали камень!
Но мы иссохли во грехах,
Как сено летнее в лугах.
И се! Твой взор, твой гнев — как пламень.
Он попалит нас всех дотла!..
Но, опаленные тобою,
Довольней будем мы собою,
И станут наши жизнь, дела —
Хрусталь гранистый с чистым златом!
Повеет здравие, целя,
И благодати ароматом
Облаговонится земля!..

12

Уж близок день, уж близок день
Твоей непотемнимой славы!
Пройдут как сон, пройдут как тень
Земные, ветхие уставы!
Увидим мы, узнаем мы,
Чего досель не знали,
Над чем ломалися умы,
Что детским сердцем постигали
Лишь нищие умом. Пора!
Что быть имело — всё сбылося,
И всё протекшее слилося
В одно туманное вчера...

13

О вы, имеющие уши
И растворенны очеса,
Раскройте дремлющие души:

Се к вам глаголят небеса!..
Но вы объяты глухотою,
Потухли ваши очеса:
Быстрей движенья колеса
Сей род кружится суетою...

. . .
. .

14

До нас доходит весть, о боже,
Что посетишь ты скоро нас,
Что скоро мертвых потревожит
Седьмой трубы призывный глас.
Земля развратом накипела,
И грех на ней болит, как струп!
Любовь живая отлетела,
И человечество — как труп,
Прикрытый златом, ждущий гроба;
Еще им движет... только злоба!
Кто шепчутся?.. О брате брат!
Кто сеть плетет?.. Отец на сына!
Какая страшная картина:
Везде умышленный разврат!
Суды полны гневливых жалоб,
Теснится ропотность в устах:
Им счастье предков было мало б.
И вот уж жмутся в теснотах
И, в час улики с наготою,
Не зная, где и как им быть,
Гласят горам, чтоб тяготою
От зоркой правды их закрыть.
Где ласка к ближним? где услуга?
Чистосердечие — на смех!
И всяк со злобой друг на друга
Чужой высказывает грех!..
Судитесь, злобствуйте! Но время
Уж доплетает свой венец!
И скоро треснет гроб, и бремя
С могилы сбросит прочь мертвец
И, страхом оживленный, вспрянет!

Он прйдет — прореченный час,
И солнце ярко в полночь встанет,
Безвестных птиц промчится глас,
И, двигнувшись, растают горы,
И отпахнется ветхий век!
И жалостно потупит взоры
Пред судиею человек!..

15

Господь повел меня из града[41]
В пустые дальние поля,
Костей мертвела там громада,
Белелась от костей земля;
Глухой, безгласный и могильный
Лежал раскат пустой страны:
Ни звезд, ни солнца, ни луны,
Ни жатвы, класами обильной, —
В какой-то полутемноте
Всё тлело в страшной наготе.
И бог сказал: «Сын человека!
Воззри на груды сих костей!
Жильцы исчезнувшего века,
В пылу их прений и страстей
Они землей моей владели,
И в них играла в жилах кровь,
И к ним в сердца теснилась радость,
И на лице свежела младость,
И чувства нежила любовь, —
Теперь иссохли и хладеют...
Но я велю — и оживут!
Друг друга кости их сзовут,
Наденут плоть и омладеют...
Прорцы же им, да имут слух:
«Истлевшие, готовьтесь к жизни
И к новой, радостной отчизне:
Всемощный вводит в вас свой дух!»
Вещал — и страшная тревога!..
Всё встало: кость о кость стучит
И движется по воле бога...
Кто их сзывает? кто клеит?

Кто им дает живое тело,
И телу — жилы, жилам — кровь?
Встают, как тысячи полков,
Кипят, как движимые рати...
Израиль! В вечности есть час,
Когда и ты услышишь глас
Святой, живящей благодати!..

.

.

16

Весна! Весна! Святое обновленье!
Ты веешь раем для души!
Течет, бежит сих мрачных лет движенье,
Сей облак слез, сгустившийся в тиши.
Под тяжким млатом испытанья,
О братья люди, мы прошли, —
И отклеились от земли!
Раскрылись чистые желанья,
И грешный род наш убелен,
Нас убедили наши слезы!
Проходит срок — и слабнет плен,
И вспыхнули над смрадом розы!
Уже сгибается змия времен в кольцо,
И новое под ветхим уж созрело:
Явилось мне прелестное лицо
И с жизнью яркою глядело
Из-под личины мертвеца!..
Сбери же нас в одно благоговенье!
И, братья люди, в умиленье,
Мы кинемся к ногам грядущего отца!..

17

Так! Сей мятежный, шумный мир
Я, мнится, оттолкнул рукою
И сладко отдался покою.
И праздную заветный пир
В моей душе устепененной...

Не тронь, не возмущай, молва,
Сей жизни внутренней, священной!
Тиха, светла моя глава,
Крепка в ней разума держава.
Несись, как сон, промчися, слава!
Других мани и обольщай,
Людей-детей играй судьбою!
Я жду, я жажду тишины!
Как воин, уклонясь от бою
Под сень родительской страны,
Отдохновеньем лечит раны, —
Так я, в полудне красных лет
И льстивый счастия обет
И жизни частые обманы
Души могуществом презрев,
Питаю благородный гнев
На всё ничтожное, мирское:
Его отравой чувств не льщу
И счастья верного ищу
В моей пустыне — и в покое!..»
. . . .
Так говорил, и просветлялся
Его разоблаченный взор,
И, как верхи карельских гор,
Он горним солнцем освещался.
Смягченный, он главой поник,
И, радостно воздевши руки,
Он рек затворнице: «Велик,
Велик твой род! Сыны и внуки...
Я вижу их... Они в лучах!
И свеж их лавр! На их мечах
Ложится слава позолотой...
Трудися, бодрствуй, ряд царей!
Займись великою работой
Преображения людей...
Иди, мой витязь, бодро, смело:
Я над тобой! Он страшен был!..
Но время срочное приспело —
И ты смиреньем победил!
Где гром? Где власть Аполиона?
Се! Неба с западного склона
Скатилась яркая звезда...

Земля, воспрянув, заговорила,
И власть моя тобой явила
Величье тайного суда...

(К Марфе.)

А ты, скорбящая царица!
Ликуй, как шествуя на брак!
Он кровь заговорил... Он мрак
Прогнал... Светла твоя столица,
Россия! Ты, как день, светла!
Врагами рытая могила
Врагов твоих и пожрала!
Твой сын!.. Я вижу Михаила:
Твой сын царем... и твой супруг...
Все трое радостны вы вдруг —
И с вами ваш народ четвертый!
Блеснет заря... еще заря,
Еще!.. И, терем сей отверстый,
Ты не задержишь мать царя!
Где ж Никанор?.. Бежит!.. Уж скоро!..
Царица — в путь! Отднесь не плачь!» —
Сказал, с полупотухшим взором
Идет под шумный свой Кивач.

. . . .

Он угадал — заря сгорела,
Еще заря, еще... Сидела
Карелка смирно у окна
И вдруг: «Отец мой!» — закричала.
И мигом с лестницы сбежала,
И уж на озере... волна
Челнок от брега отшибает.
Она к воде... челнок хватает,
Ведет, умея, мимо луд,[42]
А он, пловец наш, убирает
И руль и парус: он уж тут,
Он тут — посол наш добродушный,
Наш умный, добрый Никанор;
Он видел и Москву и двор,
И матери царя — радушный —
Он свиток тайный ей принес.
А чьих в нем видны капли слез?..

Но дева в выраженьях сельских
Родному хочет всё сказать,
Его голубит по-карельски:
Спешит одной рукой обнять,
Другой по вые вдоль ласкает;
Целует в щеки и в уста
И красным солнцем называет...[43]
Но их уж ждут!.. Скорей туда...

Ночь. Бледно теплясь, догорает
Лампада. Поздно! Терем тих!
И то встает, то упадает
Перед иконами святых
Царева мать. Она читала,
Она свой свиток уж прочла
И строки, как живых, лобзала,
Слезами — слезы залила.
Они уж там!.. Уж Русь иная:
«О, пробудись, страна родная!
Он пал, самоохотный царь![44]
Зови царей своих законных!
Вдовеет трон твой и алтарь!..
Мы кровь уймем, утишим стоны:
Как любим русских мы людей —
Бог видит!.. Мы не мстим!.. Любовью
Сзовем мы верных и друзей,
И до кончины наших дней
За кровь не воздадим мы кровью...
Как жажду видеть я Москву,
Читать любовь там в каждом взоре
И приклонить свою главу
К святым мощам в святом соборе!»

Эпилог

Карельцы уж неробко ходят
Близ терема: уж он и тих
И пуст! Не остановит их
Стрелец с пищалью. И заходят,
И смотрят всё там, и назад

Опять выходят, рассуждая...
Им часто дева молодая
Рассказывает... Всякий рад;
Рассказы сладки про былое!..
Но что о прежнем вспоминать?
Оно прошло уж, время злое!..
И кроткая царева мать
Давно уж на Москве. А терем? [45]
С годами тихо он ветшал,
Но раз нашел с Онеги вал...
И чем преданье мы проверим?..
Теперь уж с давних, давних лет
Былого терема там нет.

Примечания

[1] В сем описательном стихотворении под именем Карелии разуметь должно, в тесном смысле, ту только часть нынешней Олонецкой губернии, которая еще и доныне погружена в лесах, идущих мимо Повенца к Белому морю. Продольные озера, пространные болота, множество огромнейших валунов и цепи обнаженных каменных пород составляют основные черты в великой картине сей дикой стороны.

[2] Лохами называют здесь рыбу из рода лососей; сии же лохи, побыв несколько месяцев в водах Белого моря, получают вкус и наименование семги, которая во множестве ловится в Архангельской губернии и, кажется, в особенности близ города Онеги.

[3] Вот картина небольшого северного сияния и морозного утра! Сия картина снята мною с натуры, в зиму прошлого, 1827 года. «Одна часть густо-синего неба вдруг начинала белеть, и светозарные столпы или конусы, выказываясь один за другим, то сходились, то удалялись один от другого, пылали и сокращались. В течение ночи мороз очистил воздух. Утро было великолепно. До солнца и еще до рассвета восточная часть неба сделалась огромною перламутровою палитрою, на которой, казалось, были растерты самый алый бакан и самое светлое, желтое золото. На сем-то золото-розовом поле взошло солнце и осветило беловидные, снежные поля, усеянные серебристой пылью и алмазными искрами инея. Оледенелые деревья казались паникадилами, а бесснежная гладь озер имела вид огромного, цельного топаза, как он сияя по местам радужными оттенками. Из труб в домах высоко и прямо подымался дым, которого сизина окрашивалась вкось ударявшими лучами солнца. Люди ходили скорее обыкновенного, меховые одежды опушались белым инеем, и лица цвели. Таково морозное утро на Севере!»

[4] В Олонецкой губернии, особенно же в северо-восточной части оной, вовсе нет фруктовых деревьев. Долго не знали здесь даже употребления капусты и картофеля. В городе Петрозаводске крестьянин графа Орлова Петр Накропин в продолжение 40-летнего житья,

в качестве городового огородника, первый старался развести сии овощи и теперь успевает даже в выводе дынь и арбузов от семян, и получает довольно спаржи в своем огороде. За сим, кроме большого сада, с отличным вкусом разведенного (из здешних северных деревьев) при казенном доме начальника Олонецких заводов А. А. Фуллона, мало у кого воспитываются по одному, по два фруктовых деревца.

[5] Скалы здешних обнаженных каменных пород вообще покрыты мохом, имеющим свои периодические времена, в которые он расцветает и зреет. Иногда один и тот же род моха, а иногда многоразличные породы сего произрастания придают особенную пестроту и разновидность скалам, так что в некоторое время года они кажутся как будто завешены какой-то золотистою тканью, в другое же время поросты, или мхи, имеют вид пурпурового цвета.

[6] Понятие кареляков о ду́хах есть троякое. Первое место занимают лешие. Они по природе своей добры, простосердечные, любят дружиться с человеком, сожалеют о нем и часто оказывают ему услуги. Во второй степени поставляют духов водяных. Они сердиты, но честны и весьма прозорливы: видят далеко будущее и объявляют о нем справедливо, хотя неохотно. Наконец, духи воздушные блюдут невидимо за человеком, замечают в нем всё худое и высказывают оное с торжеством и смехом.

Примеч. к стр. 349. Марфа Иоанновна Романова, праматерь благополучно царствующего дома государей наших, заточена была по воле Бориса Годунова в Обонежской Пятине, в Выгозерском стане, в Егорьевском погосте, близ Толвуи и Чолмузи.

[7] Винтовка есть оружие здешнего края. Винтовки делаются в Повенецкой и Беломорской Карелии. В Повенце особенно работают их и теперь в селении Маслозеро, Линдозерского погоста. Крестьяне, кареляки, сами плавят руду в сыродутных горнах и выковывают железо ручными молотами. Винтовки составляют, употребляя для того нарочито улучшенное железо, таким образом: складывают два железных бруска и, с соблюдением внутри пустоты, выковывают ствол, который потом сверлят в особенном станке с таким искусством, что нельзя не подивиться мастерству простых поселян в сем деле. Чрез такое сверление образуется сперва канал, а потом уже, как они говорят, нарезывается внутри винт, отчего и орудие называется винтовкой. Замок самый простой, малосложный и странного продолговатого вида, но имеет свою особенную удобность. Карельская винтовка отличается тем, что требует весьма мало пороху, а именно — иногда не более $^1/_4$ золотника на заряд, но бьет далеко и бойко (на 30 сажен в цель). Это разуметь должно только о самом малом калибре. Выстрел бывает очень незвонкий, иногда не громче звука, издаваемого хлыстом, почему на карельском языке звук винтовки называется вицею, что также означает хлыст. Из сих-то винтовок карельские стрелки бьют белку и рябчика дробной пулькой в голову. Есть и такие винтовки, которые, будучи большого калибра, берут пороху не менее ружейного заряда, но зато бьют на 120 сажен в цель!

[8] В простонародии (в виде, однако ж, упрека) называют иногда Карелию глухой Карелою.

[9] Действительное участие здешних поселян (из русских и лопян) в судьбе сосланной к ним в заточение Марфы Иоанновны видеть мож-

но из прилагаемых у сего грамот под №№ 1, 2 и 3. Сии так называемые обельные грамоты едва ли где были напечатаны. С великим рачением, как залог их счастия, хранятся сии грамоты у крестьян обельных в Олонецкой губернии. Чтоб укрыть письменные сокровища свои, во всех оных подлинности, на случай пожаров, их сохраняют в железных ящиках или в глиняных сосудах в земле. При благодетельном посредстве бывшего гражданского губернатора Тим. Ефр. фон-дер-Флита крестьяне сами доставили мне сии грамоты и дозволили снять с них списки. Но при сем, к сожалению, открылось, что во многих местах, особливо на сгибах, время изгладило уже некоторые выражения. Сделав, однако ж, что можно было, я прилагаю три списка, из коих, конечно, любопытно будет узнать, по какому случаю и в каком положении находилась праматерь Романовых в сих пустынных пределах. Обельные крестьяне, коих ныне уже много в Олонецкой губернии, в силу грамот своих изъяты от всяких податей и повинностей и служат, так сказать, живым памятником признательности государей российских к заслугам и малейших из их подданных. *

[10] Калитки — пироги из ржаной муки с начинкою толокна, овсяных, а иногда и гречневых круп.

[11] Репной квас — любимое питье у крестьян Олонецкой губернии.

[12] Жители Олонецкой губернии отличаются особенным, холодным, рассудительным умом, и сократическое чело (как его видим на бюстах Сократа) часто встречается под шапкою русского крестьянина и есть признак здравого, светлого ума.

Жители Олонецкой губернии издавна охотливы к грамотности; едва ли найдется селение, в котором бы не было умеющего читать; к сожалению, теперь сия грамотность обратилась в страсть писать прошения, часто ябеднические.

[13] Кивач — славный водопад на реке Суне, воспетый знаменитым Г. Р. Державиным.

[14] Сия прекрасная черта (что мусульманка перекрестилась) не вымышлена. В «Путешествии в Крым» Ив. Матв. Муравьев рассказывает, что одна татарка, полюбя молодого христианина, изучила, украдкою от родителей, правила христианской веры. Когда привели ее в суд и отец, по повелению судьи, при всех спросил: «Правда ли, дочь моя, что ты склоняешься к христианству?» — она, вместо всякого ответа, молча перекрестилась. Сим засвидетельствовала перед судом свою волю, и отец и семейство удалились с воплем отчаяния, оставя новообращенную родственникам ее жениха.

[15] Крицами называют железные комы; их составляют, посредством биения молотом, из брусков, называемых свинками. На сибирских заводах говорят: «Варганить крицы».

[16, 17] Первобытные жители Олонецкой губернии (которая, сколько можно видеть из старинных актов и проч., населялась постепенно), кроме чуди, лопян и кареляков, состояли большей частью из людей, бежавших из различных мест в сии пустыни. Найдя здесь богатые запасы руд, жители лесных деревень вываривали уклад — род стали, — делали из него косы, топоры, серпы и проч. и развозили товар свой

---

* В настоящем издании грамоты не приложены. — *Ред.*

по соседственным ярмаркам. Сим делом занимались они большей частью без ведома гражданского начальства, которого средоточием в то время был воеводский приказ в Олонце.

[18] Ложе, или дно, здешних озер состоит почти всегда из железной руды, которую добывают оттуда особыми черпалами. Иные озера дают очень много руды, например: Тумасозерский озерной рудник, находящийся в Повенецком уезде, открытый с 1800 года (крестьянином Нефедом Курмоевым), в течение 23 лет дал руды миллион семьсот сорок четыре тысячи пятьдесят три пуда.

[19] («Людей с неузнанною тайной» и проч.). В то время занятия алхимией были общими по всей Европе, особливо в Германии.

[20] Карелия именовалась иногда и Кариоландией.

[21] Шелойником называется у онежан ветр, дующий с юго-запада. Есть пословица: «Ветер-шелойник — на Онеге разбойник!» Ибо ветр сей причиняет много вреда судам.

[22] Сойма — особого рода крытая лодка, употребляемая на Онеге, часто бурной.

[23] Карельский мрамор известен. Он добывается в Тавдии, где давно устроены правильные ломки и находится контора для управления сим делом, в зависимости от конторы гоф-интендантской.

[24] Все здешние стада, потому что пастбищные места находятся в лесах, снабжаются гремушками и колокольчиками, кои привешиваются на шею коровам и лошадям. Это делается для того, чтоб скот не затерялся в глухих местах.

[25] У карельцев нет ни песен, ни повествований, но язык очень благозвучен.

[26] Здесь говорится о диких карельских розах, кои, как и вообще шиповник, не имеют ни запаха, ни махровости садовых.

[27, 28] Все почти здешние озера (северной части Олонецкой губернии) продольны от северо-запада к юго-востоку. У многих берега такого вида, что входящие углы одного соответствуют исходящим другого, и обратно. По всему видно, что тут совершался великий процесс гидростатический. Вода падала с высокого места и, силою массы и стремления, пробивала горы, раздирала череп земли и, испещрив всю страну протяжными озерами, слилась в одну огромную водяную плоскость в 10 000 кв. верст. Это-то и есть озеро Онега! Если бы какой-нибудь опытный геогност принял на себя труд пройти сии пустыни до берегов Белого моря, с уклонением и к пределам Финляндии, то, может быть, отыскались бы те высоты, с коих могло произойти некогда великое падение вод. Должно полагать, что воды сделали набег свой со стороны Финляндии, ибо: а) окрестности Онеги усеяны валунами, т. е. отдельными камнями — обломками древних гор, и валуны сии, огромнейшего размера, суть большею частью гранитной породы, чем доказывают первоначальное происхождение свое из Финляндии: потому что в Олонецкой губернии гранита вовсе не имеется; в) множество небольших озер (всегда продольных от северо-запада), составляющих как бы отбрызги великого стремления вод, образовавших Онегу, доказывают, что вода стремилась точно с той стороны, отколь сии озера продольны, ибо к юго-востоку, например к Каргополю, преимуществует уже суходол, и если есть озера, то имеющие берега более правильные. И наконец: с) у северо-западных берегов Онега имеет бо́льшую глубину, нежели у противо-

лежащих, что и подтверждает предположение, что первый и сильнейший удар древних вод направлен был на сии берега и произвел у оных глубочайшие вымоины, а к противолежащим насунул землю. При великом перевороте, о коем здесь только слегка намекаем, происходило и разделение земель по свойству, или, лучше сказать, по тяжести оных. Вода, вторгнувшись в долину, занимаемую озером Онегою, как полагать надо, кругообратным движением своим между высот, подобившимся кипению в котле, буравила себе чашу, котловину или лог, доколе, при наставшем равновесии, успокоилась, отдав избыток русла р. Свири. Вымытые песчаные глыбы оказались набросанными по местам (довольно правильной пластовкой) близ города Петрозаводска. Глины, конечно проникнутые металлическими окисями, ибо все разноцветные, снесены к Вытегре (в Андоме, в Петровой горе и проч.), а к Олонцу выброшены черные земли, между коими отличается красильная земля, так называемая олонецкая грязь. Впрочем, в Повенецкой Карелии знают место, с которого воды разделяются так, что одни текут в Белое море, другие в Онегу. Этот раздельный пункт северных карельских вод находится у деревни Масельги. Нет вовсе повода думать, чтобы воды Онеги и лежащих за оною к северу озер были потомками моря: ибо на дне оных не является никакого спутника морской пучины.

29 . . . . *

30 В заливе у Чолмузи ловятся сиги превосходного качества; их некогда поставляли ко двору.

31 Речка Неглинка протекает подле нынешнего губернского города Петрозаводска. Из ключа, подле оной, весь город пользуется водой. Впрочем, в Олонецкой губернии много железных вод, из коих достопримечательнейшие суть Марциальные, при бывшем купоросном заводе, недалеко от чугуноплавильного завода Кончезерского. Сими водами пользовался и подолгу на оных живал достойный вечной памяти император Петр I.

32 Речка Лососинка протекает также у самого Петрозаводска. Она бежит из густых лесов, где находятся верхние озера: Лососиное и Машеозеро. При сем случае, может быть, любопытно будет узнать, как произошло, так сказать, открытие тех мест, в коих находится ныне губернский город Петрозаводск. Вот несколько слов о сем: офицер (как говорят, гвардейский капитан, по имени неизвестно), посланный для отыскания олончан, бежавших из новонабранного войска государя Петра I, проходил дремучими лесами до озера Онеги. При устье речки Лососинки нашел он одну мукомольную мельницу: кругом была пустыня и места необитаемые. Но воды, наполненные рыбами, и леса множеством дичи и зверей, а более слух о богатых рудах, побудили его проникнуть до Машеозера, вверх по течению Лососинки. После сего другие посланные и личное посещение самого государя дали сей стране совершенно иной вид. При Петре I построен город Петрозаводск; учреждены чугуноплавильные заводы; найдена марциальная, целительная вода. Вся страна открыта, снабжена столбовыми дорогами и населена людьми русскими, причем большая часть мастеровых переведена из города Липецка.

---

* Глинка примечания к этому стиху не дал. — *Ред.*

[33] На Машеозере — в месте чрезвычайно диком, но живописном, — находился древний монастырь, который был разорен Литвою при одном из ее набегов. По сему случаю монастырю дана грамота от царя Василия Иоанновича Шуйского. Здесь можно было достать (хотя не совсем верный) список сей грамоты. За Машеозером, с одной стороны, лежит Онега на пространстве 10 000 квадр. верст, с другой, до самой Свири, глухая, никем не пройденная, лесистая площадь, может быть на тысячи квадратных верст. Так и всё здесь — в огромных размерах!

[34] Говорят, что у машеозерских духов собаки с четырьмя глазами.

Чесным лесом называют лешего или призрака, который понижается до роста травы или вырастает наравне с соснами.

[35] Древний Олонец был большим городом. У меня есть список с рукописи, в котором подробно поименованы башни (числом и видом), стены, ворота, тайники и внутренние здания, находившиеся в Олонце; но, к сожалению, и крепость и здания были деревянные, и после пожара теперь Олонец есть не что иное, как большая, но бедная, разбросанная деревня. Упоминая об Олонце, я скажу несколько слов о сем воеводстве, или древней Заонежской пятине. Страна, названная впоследствии Олонецким воеводством, известна была в XIII столетии только по реку Оять, что ныне в Лодейнопольском уезде. До сего места, как видно из жития Александра Свирского, существовало население. Всё же, что далее на север, было покрыто лесами дремучими и входило в состав владений Новогородской республики, под названием пятины Заонежской. На пустынных берегах великого озера Онеги и других многочисленных озер кочевали племена лопи и самояди, людей диких и зверообразных, не озаренных светом христианства, не ведавших выгод, не терпевших принужденности гражданской жизни. Таковыми описывает их Лазарь Мурмский, основатель обители своего имени.

С давних времен известен только город Олонец. Позднее образовалось воеводство Олонецкое.

Места, лежавшие за бывшим Олонецким воеводством к северу, где ныне губернский город Петрозаводск, были совершенно пусты. Изредка встречались селения и монастыри, например: Машеозерский, Мурмский, Палеостровский, позднее Саломейская пустынь, и другие. Жители больших лесных селений, отвозившие установленную подать на Олонец, промышляли добыванием железной руды. Сплавливая оную, они получали большие выгоды от продажи выделанного железа и уклада по ярмаркам в селениях, тогда еще редких. Так было почти до последних лет царствования Петра I.

[36] Слово *ударистый* есть, так сказать, техническое у мастеровых, расписывающих комнаты. Они говорят: такой-то узор надобно делать посогласнее, а такой-то поударистее.

[37] Здешние рыбаки узнают полночь по тому, когда рыба становится к берегу хвостом, а в Онегу головою, ибо с вечера бывает это обратно.

[38] Между озерами Лох и Konче, т. е. (говоря по-здешнему) Лохозером и Кончозером, есть, в виде плотины, узкая перемычка, называемая Коссальмою, которая одна только и препятствует соединению сих двух озер.

[39] О леших, которых почитают добрыми духами, есть особое предание, уверяющее, будто они были некогда одного происхождения с человеком.

[40] Из имеющегося здесь рукописного жития Лазаря Мурмского, инока, прославившегося святою жизнью в странах, составляющих ныне Олонецкую губернию, видно, что сей Лазарь, уроженец из Рима, жил долгое время в Новгороде и, наконец, по сказанному в бывшем ему видении, отправился к озеру Онеге в Мурмское урочище, которое и поступило впоследствии во владение основанного им монастыря, по духовному завещанию некоего Ивана Фомина, жителя Славянского конца в Новгороде, в лето от Р. Х. 1182. Лазарь написал сам свое житие слогом простодушным, ручающимся за истину повествования. В сем житии, между прочим, описано явление пресвятыя богородицы и сказано, что святому имени ее подобало явиться и прославиться в сих местах. Житие Лазаря Мурмского в рукописи получил я от Т. В. Баландина, занимающегося здесь с давнего времени описанием достопамятностей Олонецкого края. Доставлением же мне некоторых сведений, почерпнутых (по указанию известного путешествующего профессора Шегрена) из архива Олонецкого уездного суда, обязан я купцу Ивану Федоровичу Редуеву, имеющему жительство, свои торговые занятия и лесопильные заводы в городе Олонце.

[41] Здесь, в этом монологе монаха, находим крайне близкое подражание 37 главе Иезекииля. Вероятно, в пустынном своем уединении, питая ум священными книгами, он усвоил себе многие места из оных.

[42] Лудами называют здесь подводные мели.

[43] Простой здешний народ приветствует, кого хочет обласкать, названием «красное солнышко».

[44] В милостивой грамоте, пожалованной в 1613 году царем Михаилом Федоровичем Романовым тем, кои оказали услуги матери его Марфе Иоанновне во время заточения ее в Выгозерском стане, царствование Бориса Годунова названо самоохотною державою.

[45] Не имея возможности посетить лично те места древней Заонежской пятины, где находилась в печальном заточении родоначальница Романовых, я просил одного из здешних чиновников (Мих. Алекс. Ксил), бывавшего в Толвуйской вотчине, описать мне, как он их видел. Нижеследующее есть сообщенное им сведение. Я помещаю его без всякой перемены: «В 1827 году в июне месяце, случайно проезжая через Толвуйский погост, я любопытствовал узнать о месте, на коем некогда стоял уединенный терем знаменитой страдалицы, царицы Марфы Иоанновны. Некоторые из старожилов удовлетворили несколько любопытству моему. Мне показали, позади крестьянских строений, в прямой почти линии с церковью (на месте коей существовал в древности монастырь), небольшую площадку, огороженную тыном; внутренность оной поросла крапивою и репейником, но инде желтеются подсолнечники; всё, что уцелело от бывшего терема, есть фундамент, складенный из огромных камней булыжника, коего на берегах озера Онеги находится во множестве. Место, на коем стоял терем, несколько возвышенно; но, судя по пространству фундамента, жилище государыни русской не было обширно. Вид на север. Окрестности не представляют ничего приятного для взора, и осенью,

когда необозримая Онега шумит и волнуется, места сии должны быть еще печальнее. Вдали — на горизонте — синеются берега Чолмужской волости, где живут так называемые обельные крестьяне; влево, к северо-западу, виден остров, принадлежащий Палеостровскому монастырю, где покоятся мощи св. угодника. Возвращаясь к церкви Толвуйской, мне показали, возле самой ограды, огромный камень, на коем (но в котором году, неизвестно) казнено четвертованием несколько злодеев, дерзнувших наложить святотатственные руки на бывшего в то время (в монастыре) архимандрита».

Между 1828—1830

1830—1875

РАННЯЯ ВЕСНА НА РОДИНЕ

Прямятся ольхи на холмах,
И соловьиные журчат и льются песни,
И скромно прячется на молодых лугах
Душистый гость, весны ровесник...
Седеют ивники пушистым серебром;
Еще смолист и липнет лист березы,
Круглятся капельки росистые, как слезы,
И запад ласково алеет над Днепром...
Уж озимь, огустясь, озеленила пашни;
Касатка вьется подле башни;
И вот, отлетные за дальний океан
Опять к родным гнездам летят из чуждых стран!
Весна!.. и кое-где блестят отрывки снега...
Вдали Смоленск, с своей зубчатою стеной!..
Откуда в душу мне бежит такая нега?
Какой-то *новый* мир светлеет надо мной!..
О, буду ль я всегда таким питаться чувством?
Зовет, манит меня тот смутный дальний шум,
Где издевается над сердцем колкий ум,
Где клонится глава под тучей скучных дум, —
Где всё *природное* поглощено *искусством!*..

<1830>

КУПАЛЬНЯ

Плыви, о влага голубая,
С своим кипучим жемчугом,
И обтекай меня кругом,
Струей узорчатой играя...

В твоей живительной волне
Переродилось всё во мне.
Увы! надолго ль? море зноя
В июльском воздухе кипит:
Душа боится и болит,
Заранее томленьем ноя...
Так *где-то*, в царстве неземном,
Поэт пьет жизнь и запах розы;
И вдруг опять — в быту родном —
В пустынях душных жалкой прозы!..

<1830>

К МИЛОМУ ДИТЯТИ

Разумник мой, дитя мое!
Как ты невинностью пленяешь!
Как мило личико твое
Улыбкой детской округляешь!
И маменька, тебя любя,
Выводит, напоказ, в обновке!
Приди: мне весело тебя
Погладить, с лаской, по головке.

<1830>

БЕДНОСТЬ И УТЕШЕНИЕ

Не плачь, жена! мы здесь земные постояльцы;
Я верю: *где-то* есть и нам приютный дом!
Подчас вздохну я, сидя за пером;
Слезу роняешь ты на пяльцы:
Ты всё о будущем полна заботных дум:
Бог даст детей? .. — Ну что ж? — пусть он наш будет *кум!*

<1830>

ОСЕНЬ И СЕЛЬСКОЕ ЖИТЬЕ

Седеет в воздухе, и липки
Повесили свои листки;
И медленней кружатся рыбки
В текучем зеркале реки.

Янтарный лист дрожит на ветках;
Звончей гудет в пустой трубе;
Молчат, нахмурясь, птицы в клетках;
Дрова привалены к избе;
В лесах прочистились дорожки;
Заглохло на поле пустом;
Но в сельском домике простом
Вставляют на зиму окошки...
Обобран тучный огород;
Замолкли рощи и долины...
Но в деревнях слышней народ,
И закурилися овины...
Растут душистые стога,
И золотеют скирды хлеба...
Как жизнь крестьян недорога!
Как незатейна их потреба!
Кусок насущного, да квас,
Да зелень, и, порой, приварок
Для них уж лакомый подарок!
Но не бедней, богатых, нас
Сии сыны простой природы!
Свежи и в запоздалы годы,
И сановиты и ловки!
В хозяйстве *дело* разумеют
И толковиты для работ;
И не грустят и не желтеют,
Как мы, от сплетней и забот!..
Проходит скоро их кручина!
А у пригожих их девиц
Лебяжья грудь и свежесть лиц,
В ланитах и в устах малина!
Их не томит огонь страстей
И суеты не кличет голос;
Не знают приторных сластей,
И позже их седеет волос!..

<1830>

К N***

Вчера, задумавшись, Климена указала
На рощи ближние, на дальние поля;
Везде младая жизнь блистала,

И упоенная любовию земля,
Как гостья, на пиру весеннем ликовала
В одежде праздничной своей;
Душистой зеленью долина устилалась,
И тихо нива колыхалась,
Как грудь красавицы твоей...
Но ты, задумчивый, унылый,
Не видел прелестей весны
И на груди подруги милой
Дышал желанием и славы и войны.

<1831>

ВОСПОМИНАНИЕ

Я вспоминаю сенокосы
    На свежих, ровных берегах,
Где зной дневной сменяют росы;
    И крупный жемчуг на лугах
Блестит под желтою луною;
    И ходит ковшик пировой
Между веселыми косцами,
    Меж тем как эхо за горами
Разносит выстрел *зоревой*.
    Вдали заботен темный город,
Но на покосах шелковых
    Всяк беззаботен, бодр и молод
Под звуком песен удалых.

<1831>

СЕЛЬСКАЯ ВЕЧЕРЯ

Пора! устали кони наши,
Уж солнца в небе нет давно;
И в сельском домике мелькает сквозь окно
Свеча. Там стол накрыт: на нем простых две чаши.
Луна не вторится на пышном серебре;
Но весело кипит вся дворня на дворе:
Игра в веревку! Вот кричат: «Кузьму хватай-ка!
Куда он суется, болван!»

А между тем в толпе гудет губной варган,
Бренчит лихая балалайка,
И пляска... Но пора! Давно нас ждет хозяйка,
Здоровая, с светлеющим лицом;
Дадут ботвиньи нам с душистым огурцом,
Иль холодец, лапшу, иль с желтым маслом кашу
(В деревне лишних нет потреб),
Иль белоснежную, с сметаной, простоквашу
И черный благовонный хлеб!

<1831>

К ДЕВЕ, ПОДАТЕЛЬНИЦЕ СНОВИДЕНИЙ

Утеха пламенных очей,
О радость-дева молодая!
Явися мне в тиши ночей,
Когда, бессонием страдая,
Я мучусь в пламенной тоске;
Явись, как ты являлась прежде,
В воздушной, розовой одежде,
С букетом в ласковой руке
Свежеющих, ночных фиолей!
Веди меня с собою в поле
И в шелковистые луга,
Где всё свободно и привольно,
Где небо гнется как дуга,
Ласкаяся к земле довольной!..
Но я вотще тебя зову
Тоскливым голосом томленья:
Иные, грозные виденья
Смущают томную главу.
Растут, кипят, я вижу, воды
И нагло рвутся из брегов,
И грудь земли полна громов
И не таков уж чин природы!..
. . . .

<1831>

ПСАЛОМ 103

О, пой, играй, моя душа,
Благословляй творца природы:
Его земля так хороша!
Так ясны зе́ркальные воды!
Так стройны свежие леса!
И велелепием чудесным
Его блистают небеса, —
Искусством дивным, неизвестным
Простер он небо как шатер,
Облекшись сам, как ризой, светом;
И, как монисты, цепи гор,
Украшенных роскошным летом,
Он в ожерелье дал земле!
Скруглил лазоревые своды
И живописно, как в стекле,
Собрал и держит в высях воды.
Слилась из пышных облаков
Ему чудесно колесница —
И алой лентою денница
У позолоченных краев
На синий небосклон ложится...
Порой, на крылиях ветров,
Над бурями, *он*, дивный, мчится.
И быстрый ветр не облетит
Полета ангелов посыльных,
И из огня себе творит
Он слуг тьмочисленных и сильных.
О, как ты землю утвердил!
Стоять ей в вечности с надеждой!
И бездной ты ее покрыл,
Как величавою одеждой.
Когда ж ты, боже! загремишь,
Раскат морей, кипя, мятется,
Но *ось* земли не пошатнется,
Доколь ты, сильный, не велишь;
И всё хранимое тобою
Твоей содержится судьбою! —
Ты положил *всему* предел:
Ничто его не переходит.
Разумный житель красных сел

И дикий зверь дубрав приходит
Пить воды и прохладу вод.
И под дубравою ветвистой,
С своею песнью голосистой,
Пернатый гнездится народ.
Ты дал нам золотые нивы,
И умащающий елей,
И винограда сок игривый. . .
С ним сердце бьется веселей.
Бежит над пропастию смело
Младая серна по горе,
И угнездился кролик белый
Во мшисто-каменной норе.
Твоя луна в свой час урочный
Идет, как страж, на небеса;
И в час покоя, в час полночный,
Ты внемлешь рев и голоса
К тебе зверей, просящих пищи,
Твоя любовь им корм дает;
Но луч рассвета чуть мелькнет,
Спешат в дубравны логовищи.
Тогда выходит человек
С своею спутницей — заботой;
Но красит он земной свой век
Трудом, искусством и работой.
О, как не петь твои дела!
Твоя земля полна красами,
И под твоими небесами,
Тиха, покойна и светла,
Она колышется в лазури;
Восходят и над нею бури,
И в них торжественней она! . .
Но кто, таясь, залег у дна
Морей, под голубые своды?
И кем пучины глубь полна?
Там чуд и рыб морских народы
Живут как в области своей;
И режут лоно океана
Ряды могучих кораблей.
Ты сотворил левиафана!
Средь необузданных морей,
Силач, никем не побежденный,

Гуляя, мещет из ноздрей
Столпами бисер. Но, смиренный
Перед тобою, он тебя
Своим ретивым сердцем знает;
И, как питателя любя,
И он с толпой подводных чает,
Доколь, в урочной их поре,
Ты дашь им корм — и, насыщенный,
Игривым бегом утомленный,
Почиет в водном серебре.
Как всё живет, как всё блистает
От взоров сладостных твоих. . .
Но отврати лице. . . и вмиг
Всё вянет, сохнет, умирает. . .
Отнимешь дух — и плоть во прах!
Когда ж повеешь — молодеет
Земля в пленительных красах!
Моя душа благоговеет
Перед тобой: блеснул твой взор —
И гнутся вековые кедры,
Земли расколыхались недры
И дым реками бьет из гор!
О, буду я, до века буду
На лире господу бряцать:
Его щедроты не забуду,
Его прославлю благодать!
Когда бы песнию приятной
Ему угодным стал и я!
Как пар от луга ароматный,
Несись душа и песнь моя!
А вам, о грешных род надменный,
Не греться б солнцем золотым!
Не вам, — одним сердцам простым
Владеть землею обновленной.

<1831>

Я ДОЛГО, ДОЛГО БЫ ГЛЯДЕЛ

Я долго, долго бы глядел
В твои лазоревые очи,
По дням ни жив ни мертв сидел,

Без сна просиживал бы ночи,
И всё бы радостью яснел,
Глядя в твои лазурны очи.
Так пастырь, празднуя весну,
Один, без мыслей, без волненья,
Сидит и смотрит на луну
И пьет душою тишину
Из бестревожного смотренья!

<1832>

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Постлалась белая, холодная постель,
И, под стеклом, чуть живы воды!
Сугроб высокий лег у ветхой изгороды. . .
В лесах одна без перемены — ель!
В господский сельский дом теснится вьюга в сени,
И забелелося высокое крыльцо,
И видны ног босых по улицам ступени,
И чаще трет ямщик полой себе лицо,
И колокол бренчит без звона,
Протяжно каркает обмоклая ворона,
И стая вдруг явилася сорок;
Везде огонь, везде дымятся трубы,
Уж для госпож в домах готовят шубы,
И тройкою сосед катит на вечерок.
Куют коней, и ладят сани,
И говорят о будущем катаньи.
Пороша! . . и следят и зайцев и лисиц,
И хвалятся борзых удалым бегом. . .
И, по примете, первым снегом
Умылись девушки для освеженья лиц!

<1832>

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Друзья! я весла опустил,
Плыву по скату синей влаги:
К борьбе нет больше прежних сил,
И прежней нет уже отваги!

«Куда? Зачем плывешь, пловец?
Плывешь в который угол света?
Где цель и где пути конец?»
«Не знаю!» — вместо вам ответа.

Вдали темно, я одинок,
Но я, доверьем сладким полный,
Плыву — и слышу: мой челнок
Куда-то мчат, играя, волны.

<1832>

ПОСТОЯЛЬЦЫ

«Вы снимайте запор,
Отворяйте нам двор;
Мы пришли к вам, семьей, постояльцы.
Мы незримы для глаз,
Не ощупают нас,
Прикоснувшись, пытливые пальцы.
Не питье, не еда
Нам ваш хлеб и вода, —
Небольшое нам дайте местечко:
Не пиры нам рядить,
Будем смирно мы жить
В уголку, притаившись за печкой...
Мы беды не творим,
Но подчас пошалим:
Завизжим, замяукаем кошкой,
Зазвеним сковродой;
То старик с бородой
Постучится к вам ночью в окошко.
Но зато от воды,
От огня, от беды
Мы спасем, хоть гори всё пожаром;
Облегчим вам труды,
И к ответу в суды
Не потянут приказные даром.
Отворяйте ж нам двор
И снимайте запор...» —
Так просились во двор постояльцы;
Василиса встает

И к воротам идет
И, слагая с молитвою пальцы,
Оградилась крестом...
Тихо в поле пустом,
Только даль огласилася смехом;
Ночь светла и тиха,
Но в кустах: «Ха! ха! ха!»
Раздавалось и вторилось эхом...

<1834>

АНГЕЛ

Суд мирам уготовляется,
Ходит бог по небесам;
Звезд громада расступается
На простор его весам...

И, прослышав бога, дальние
Тучи ангелов взвились;
Протеснясь в врата кристальные,
Хоры с пеньем понеслись...

И мой ангел охранительный,
Уж терявший на земле
Блеск небесный, блеск пленительный,
Распустил свои крыле...

У судьбы земной под молотом
В стороне страстей и бурь
Ярких крыл потускло золото,
Полиняла в них лазурь...

Но как всё переменилося!
Он на бога посмотрел —
И лицо его светилося,
И хитон его светлел!..

Ах! когда ж жильцам-юдольникам
Возвратят полет и нам —
И дадут земным невольникам
Вольный доступ к небесам!..

<1835>

ПОГОНЯ

«Кони, кони вороные!
Вы не выдайте меня:
Настигают засадные
Мои вороги лихие,
Вся разбойничья семья!..
Отслужу вам, кони, я...
Налетает, осыпает
От погони грозной пыль;
Бердыш блещет, нож сверкает:
Кто ж на выручку?.. Не вы ль?
Кони, кони вороные,
Дети воли и степей,
Боевые, огневые,
Вы не ведали цепей,
Ни удушья в темном стойле:
На шелку моих лугов,
На росе, на вольном пойле
Я вскормил вас, скакунов;
Не натужил, не неволил,
Я лелеял вас и холил,
Борзых, статных летунов.
Так не выдайте же друга!
Солнце низко, гаснет день,
А за мной визжит кистень...
Малой! Что? Верна ль подпруга?
Не солгут ли повода?
Ну, по всем!.. кипит беда!..
«Повода из шамаханских;
За подпругу ты не бось:
Оси — кряж дубов казанских...
Но боюсь, обманет ось!»
Не робей, мой добрый парень!
Только б голову спасти,
Будешь волен и в чести,
Будешь из моих поварень
Есть и пить со мной одно..
Степь туманит; холодно!
Коням будет повольнее...
Но погоня всё слышнее:
Чу, как шаркают ножи,

Шелестит кинжал злодея! ..
Не натягивай возжи
Золоченой рукавицей:
Мчись впрямик, как видит глаз,
Белоярою пшеницей
Раскормлю я, кони, вас,
И употчую сытою,
И попоной золотою
Изукрашу напоказ.
Я пахучим, мягким сеном
Обложу вас по колено...
Но пробил, знать, смертный час!
На версте злой ворон каркнул,
Свист и топот всё громчей,
Уж над самым ухом гаркнул
И спустил кистень злодей:
«Стой! ..» Но яркие зарницы
Синий воздух золотят,
Лик небесныя царицы
В них блеснул... Кони летят
Без надсады, без усилья,
По долам, по скату гор,
Будто кто им придал крылья...
Ось в огне! .. Но уж во двор,
От разбойничьей погони,
Мчат упаренные кони! ..
Вот и дворни яркий крик!
И жених в дверях светлицы.
Что ж он видит? — У девицы
Взмыт слезами юный лик...
Пред иконою царицы
Дева, в грусти и в слезах,
В сердце чуя вещий страх,
Изливалась вся в молитвы...
«Так спасенье не в конях? ..
Из разбойничей ловитвы,
Вижу, *кем* я унесен;
Вижу, *кто* был обороной! ..»
И, повергшись пред *иконой*,
Весь в слезах излился он.

<1837>

ВОСПОМИНАНИЕ О ПИИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ПУШКИНА

Посвящено отцу поэта

1

Я помню — в детские он лета
Уж с *Музой важною* играл [1]
И, отрок, с думою поэта,
Науку песен заучал.
Я знаю: *грации* слетали
К нему, оставя Эмпирей,
И *невидимками* гуляли
С царем цевниц в садах царей; [2]
Там, уклонясь в густые тени
(Дитя их сердцем узнавал!),
Он к ним чело свое в колени —
И беззаботно засыпал;
А рок его подстерегал!..

2

Еще мне памятней те лета,
Та радость русския земли,
Когда к нам *юношу поэта*
Камены за руку ввели,
И он, наш *вещий*, про Руслана,
Про старину заговорил, —
В певце поэта-Великана [3]
Певец Фелицы обличил!
Как дружно вдруг его напевы,
Как пышно хлынули рекой, [4]
Не раз срывая сердце девы,
Не раз мутя души покой,
Как чар волшебных обаянья;
И шум заслуженных похвал,
Молву и треск рукоплесканья,
Следя свой *дальний идеал*,
Поэт летучий обгонял!..
А рок его подстерегал!..

3

Как часто роскошью пирушки
И лучшим гостем на пиру
Бывал *кудрявый*,[5] бойкий Пушкин.
Не так *покал*, воспетый им,
Отсвечивал звездящей влагой,
Как, в заревых своих лучах,
Поэт умом сверкал в речах,
Скропленных солью и отвагой;
Когда ж вскипал страстей огнем,
Он, пылкий, был *Отелло* истый:
И живо обличались в нем
Приметы Африки огнистой.
Но вихорь скоро пролетал,
И он опять смирен бывал!..
Палатной жизни с тесной рамой
Поэт душою был не в лад
И в ней *смешное* эпиграммой
Хлестал и метко и впопад!
А между тем на лак паркета
Со всей воздушностью поэта
И сам с толпою поспешал;
Но в блеске пышности и неги
Уж в голове его *Онегин*,
Как плод под бурей, созревал;
А р о к е г о п о д с т е р е г а л!..

4

И вот из Северной Пальмиры
Он бурей жизни унесен;
Непрочность благ узнал и он!..
И зазвенели струны лиры,
Под искушенною рукой,
Какой-то сладостной тоской.
На темя древнего *Кавказа*
Его взвела всё та ж тоска,
И дивной прелестью рассказа,
В котором будет жить Кавказ,
Он упоил, разнежил нас!
Старинный блеск жилища хана
Затмил он блеском юных дум:

Бахчисарайского фонтана
Не смолкнет долго, долго шум!..
Есть беспредельность — улеглася
Она, холмов обнявши цепь,
Как песнь, как дума, развилася
Ковыльная, седая *степь.*
Как шелковисты *там* долины!
Какие чудные картины
Там путник видит под луной
В часы, как белые туманы
Лобзают древние курганы,
Плывя то морем, то стеной...
Вдруг слышишь в тишине ночной,
За чащей свежего бурьяна,
Трещат огни кругом кургана:
Друзья! то *старого Цыгана*
Кочует пестрая семья, —
Туда летал душою я!
И часто на степях *Кагула*
Мне пела песни *Мариула* —
И нам знакома песнь ея;
Цепной медведь, кони, телеги,
Вся эта жизнь без уз, без неги
Давно вам стала *как своя.* —
Там и воздушная *Земфира*
Как призрак, как мечта гостит;
Как сладко *Пушкина* нам лира
Пропела весь *цыганей* быт!
Ах! эту дивную *поэму*
С отсветом жизни кочевой
И страстно-пылкую *Зарему*
Чье сердце не слило с собой?!
Наш Чайльд Гарольд, любя *Тавриду,*
В *волнах зеленых*[6] из-за скал
Подстерегал нам *Нереиду,*
А рок его подстерегал!..

5

Своей Итаке возвращенный,
Наш друг, наш новый Одиссей
Сзывает вновь своих друзей

На день, свиданью посвященный;
И сколько дивных повестей
О жизни, о боях страстей
Он сдал друзьям с души своей
В разгаре дружбы говорливой!..
Но *кто-то*, гость не пировой,
Был сумрачен в семье игривой
И молча помавал главой,
Смеясь разгульных дум свободе...
На всё враждебно он глядел
«И ничего во всей природе
Благословить он не хотел!» [7]
Таинственный, как час полночи,
Он огнедышащие очи
(Огонь *Мельмонта* в них сиял)
В поэта с умыслом вперял
И что-то в нем подстерегал...

6

Года летели чередою,
Телега жизни ходко шла;
Но в душу мысль одна легла:
Душа просилася к покою...
Свой идеал, свою мечту
Он раз в Москве заветной встретил
И запылал — едва приметил.
Как жадно обнял красоту!
Дотоль разгулом избалован,
Он вмиг окован, очарован,
И счастлив стал, и ликовал...
А р о к е г о п о д с т е р е г а л!..

7

И вот, от бурь устепененный,
По *сделке* с жизнью *мировой*,
Поэт, отец и муж почтенный,
Он мог бы задремать душой;
Его душа не задремала:

Бытописания заря
Над ним прекрасная играла...
И раз, о предках говоря,
Его нам муза рассказала,
Что он потомок Ганнибала,
Слуги царя-богатыря...
Так он, всё с теми же струнами,
Всё вдохновением горя,
Всё рос талантом между нами;
И в гридне[8] русского царя
Являлся наших дней Баяном...
Но яд уж пьет *одна* стрела,
Расставшись с гибельным колчаном:
Ее таинственно взяла
Рука, обвитая туманом.
Как многого, за дань похвал,
В его полуденные лета,
От *бытописца* и *поэта*
Еще край русский ожидал!!!
Но рок его подстерегал...

8

И подстерег творца «Полтавы»
Сей рок враждебный, рок лукавый!..
Ах! сколько дара, сколько славы
Взяла минута тут одна!
Мы смотрим — всё глазам не веря, —
Ужель народная потеря
Так неизбежна, так верна?!
Ужель ни искренность привета,
Ни светлый взор царя-отца
Не воскресят для нас поэта? —
Теперь не лавры для венца,
Несите кроткую молитву:
Друзья! Он кончил с жизнью битву;
Едва ль о жизни воздохнув,
Сжал руку дружбы... И, уснув
Каким-то сном отрадно-сладким,[9]
Теперь он *там*, чтоб снова *быть:*
Былые *здесь* ему загадки
Там разгадают, может быть!..

9

Могила свежая холмится
Под легкой ледяной корой,
Ночного месяца игрой
Хрусталь холодный серебрится,
И строй воздушный бардов мчится,
Теней и звуков высь полна...
Но что там ярче, чем луна,
Вершину холма осветило?
То песнь поэта!.. То она
Горит над раннею могилой!
Не плачь, растерзанный отец!
Он лишь сменил существованье:
Не умирая, как *преданье*
Живут поэты для сердец! —
Как ни свята тоски причина,
Не сетуй за такого сына —
Он для России не умрет!
Теперь уж рок, из вероломства,
Пяты *Ахилла* не стрежет:
В защитной области потомства
Поэт бессмертен — и живет!

[1] Это напоминает пьесу Пушкина «Муза».

[2] Пушкин воспитывался в Царскосельском лицее.

[3] Державин, прочтя первые стихи Пушкина, понял будущего поэта и сказал (С. Т. А-ву): «Вот кто заменит Державина».

[4] Иные начинают каплями... Поэзия Пушкина вдруг хлынула рекой.

[5] В портрете, в первый раз появившемся при «Кавказском пленнике» Пушкина, он представлен с веселым лицом, с *кудрявою* головою.

[6] Это выражение (зеленые волны) самого Пушкина, напоминающее одну из лучших отдельных его пьес — «Нереиду».

[7] Последние два стиха Пушкина из его пьесы «Демон». Эта прекрасная пьеса написана Пушкиным около того времени, про которое намекаем в 5-й строфе беглого очерка пиитической жизни Пушкина.

[8] В старинных русских стихотворениях говорится о светлой гридне (о дворе) красного солнышка Русской земли князя Владимира.

[9] «Пушкин в гробу имеет вид очень *спокойный»:* ни малейшего следа мучений на лице, как будто он сладко, крепко уснул» (Из частного письма П. М. де Р... ти).

6 февраля 1837. Москва

1812-й ГОД

(Отрывок из рассказа)

Посвящено людям XII-го года

Дошла ль в пустыни ваши весть,
Как Русь боролась с исполином?
Старик отец вел распри с сыном:
Кому скорей на славну месть
Идти? — И, жребьем недовольны,
Хватая пику и топор,
Бежали оба в полк напольный;
Или в борах, в трущобах гор
С пришельцем бешено сражались.
От Запада к нам бури мчались:
Великий вождь *Наполеон*
К нам двадцать вел с собой народов.
В минувшем нет таких походов:
Восстал от моря к морю стон
От топа конных, пеших строев;
Их длинная, густая рать
Всю Русь хотела затоптать;
Но снежная страна героев
Высоко подняла чело
В заре огнистой *прежних* боев:
Кипело каждое село
Толпами воинов брадатых:
«Куда ты, нехристь? .. Нас не тронь!»
Все вопили, спустя огонь
Съедать и грады и палаты
И созиданья древних лет.
Тогда померкнул дневный свет
От курева пожаров рьяных,
И в небесах, в лучах багряных,
Всплыла погибель; мнилось, кровь
С них капала... И, хитрый воин,
Он скликнул вдруг своих орлов
И грянул на *Смоленск*... Достоин
Похвал и песней этот бой:
Мы заслоняли тут собой
Порог Москвы — в Россию *двери;*
Тут русские дрались как звери,
Как ангелы! — Своих голов

Мы не щадили за икону
Владычицы. Внимая звону
Душе родных колоколов,
В пожаре тающих, мы прямо
В огонь метались, и упрямо
Стояли под дождем гранат,
Под взвизгом ядер: всё стонало,
Гремело, рушилось, пылало;
Казалось, выхлынул весь ад:
Домá и храмы догорали,
Калились камни... И трещали
Порою волосы у нас
От зноя!.. Но сломил он нас:
Он был *сильней!*.. Смоленск курился,
Мы дали тыл. Ток слез из глаз
На пепел родины скатился...
Великих жертв великий час,
России славные годины:
Везде врагу лихой отпор;
Коса, дреколье и топор
Громили чуждые дружины.
Огонь свой праздник пировал:
Рекой шумел по зрелым жатвам,
На селы змеем налетал.
Наш бог внимал мольбам и клятвам,
Но враг еще... одолевал!..
На Бородинские вершины
Седой орел с детьми засел,
И там схватились исполины,
И воздух рделся и горел.
Кто вам опишет эту сечу,
Тот гром орудий, стон долин?
Со всей Европой эту встречу
Мог русский выдержать один!
И он не отстоял отчизны,
Но поле битвы отстоял,
И, весь в крови, — без укоризны —
К Москве священной отступал!
Москва пустела, сиротела,
Везли богатства за Оку;
И вспыхнул Кремль, — Москва горела
И нагнала на Русь тоску.

Но стихли вдруг враги и грозы —
Переменилася игра:
К нам мчался Дон, к нам шли морозы —
У них упала с глаз кора!
Необозримое пространство
И тысячи пустынных верст
Смирили их порыв и чванство,
И показался божий перст.
О, как душа заговорила!
Народность наша поднялась:
И страшная России сила
Проснулась, взвихрилась, взвилась:
То конь степной, когда, с натуги,
На бурном треснули подпруги,
В зубах хрустели удила,
И всадник выбит из седла!
Живая молния, он, вольный
(Над мордой дым, в глазах огонь),
Летит в свой океан напольный;
Он весь гроза — его не тронь!..
Не трогать было вам народа,
Чужеязычны наглецы!
Кому не дорога свобода?..
И наши смурые жнецы,
Дав селам весть и богу клятву,
На страшную пустились жатву...
Они — как месть страны родной —
У вас, непризванные гости:
Под броней медной и *стальной*
Дощупались, где ваши кости!
Беда грабителям! Беда
Их конным вьюкам, тучным ношам:
Кулак, топор и *борода*
Пошли следить их по порошам...
И чей там меч, чей конь и штык
И шлем покинут волосатый?
Чей там прощальный с жизнью клик?
Над кем наш Геркулес брадатый —
Свиреп, могуч, лукав и дик —
Стоит с увесистой дубиной?..
Скелеты, страшною дружиной,
Шатаяся, бредут с трудом

Без славы, без одежд, без хлеба,
Под оловянной высью неба,
В железном воздухе седом!
Питомцы берегов Луары
И дети виноградных стран
Тут осушили *чашу кары:*
Клевал им очи русский вран
На берегах *Москвы* и *Нары;*
И русский волк и русский пес
Остатки плоти их разнес.
И вновь раздвинулась Россия!
Пред ней неслись разгром и плен
И Дона полчища лихие...
И галл и *двадесять* племен,
От взорванных кремлевских стен
Отхлынув бурною рекою,
Помчались *по своим следам!..*
И, с оснеженной головою,
Кутузов вел нас по снегам;
И всё опять по *Неман,* с бою,
Он взял — и сдал Россию нам
Прославленной, неразделенной.
И минул год — год незабвенный!
Наш Александр благословенный
Перед Парижем уж стоял
И за *Москву* ему прощал!

<1839>

ЗВЕЗДА

Ты не спрашивай, друг!
Как мой долгий досуг
В тишине провожу:
Я сижу и гляжу
Далеко в высоту;
День пришел и исчез,
И покатость небес
В голубую тафту,
Мне неведомо, кто одевает,
И на той высоте,
В голубой пустоте

Бриллиант одинокий сияет:
Он дрожит и горит,
Он меня веселит,
Он меня в свой эдем зазывает.
И к нему я парю
И ему говорю:

«О! светочь дивная годины полуночной!
Кто ты? Цветок в невидимом венце,
Алмаз в святом небес кольце,
Иль искра вечности бессрочной?
Мне говорят: ты плавающий мир;
Твои моря — лазурь; твой океан — эфир...
О божья дочь! ты выше бед и рока,
Ты выше смерти и скорбей:
И не дойдет дыхание порока
До голубых твоих зыбей!
И что́ тебе земные наши годы?
Ты скольких царств судьбу пережила!
Как искры, вихрились и гаснули народы,
А ты, как жизнь бессмертная, цела!»

Так с звездой говорю,
И дрожу, и горю
В непонятном души упоенье;
И весь полон я дум,
И не слышен мне шум,
Ни раздор, ни земное волненье...
Там мечами звенят,
И народы кипят,
И везде мятежи и движенья;
Бодро, легкой стопой,
Непробитой тропой,
Молодые спешат поколенья, —
Огневые глаза
И в устах их гроза;
Они рвут ослабевшие звенья
Связей ветхих, земных,
И желают иных
Наслаждений, и мук, и деяний.
И разбит и забыт
Праотеческий быт,

И обломков былого — *преданий*
Жадно ищет поэт...
Ускорился полет
И событий и лет,
Всякий смотрит и ждет...
Невозможного нет:
Обновляется свет
Средь тоски и неясных желаний...
Но я тихо сижу,
Я судьбы не сужу
И на небо гляжу
До поры, как мечты и надежды,
Зароясь с вышины,
Обаяньем полны,
Закрывают мне томные вежды.

<1839>

МОСКВА

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах:
Сколько храмов, сколько башен
На *семи* твоих холмах!..

Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою
Стал велик и знаменит!

На твоих церквах старинных
Вырастают дерева;
Глаз не схватит улиц длинных...
Это *матушка Москва!*

Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку
У *Ивана-звонаря?*..

Кто *Царь-колокол* подымет?
Кто *Царь-пушку* повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У *святых* в Кремле *ворот*?!.

Ты не гнула крепкой выи
В бедовой своей судьбе:
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..

Ты, как мученик, горела
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!

И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!..

Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град *срединный, град сердечный*,
Коренной России град!

<1840>

РАЗДУМЬЕ

Бывает грустно человеку,
Ложится в грудь тоска!
Тогда б так слез и вылил реку...
Но высохла река!

Тогда, совсем оцепенелый,
Ни мертвый, ни живой,
Хоть день готов стоять я целый
С поникшей головой!..

Не раздражен, не растревожен,
И полон я и пуст;
И весь я цел и уничтожен,
Как смятый бурей куст...

Нет дум былых, былой отваги,
И будущность моя
Лежит как *белый лист бумаги:*
Задумываюсь я...

О! кто ж тот белый лист испишет
И что напишут в нем?
А между тем уж бурей дышит:
В горах грохочет гром...

<1841>

РЕЙН И МОСКВА

Я унесен прекрасною мечтой,
И в воздухе душисто-тиховейном,
В стране, где грозд янтарно-золотой,
Я узнаю себя над *Рейном.*
В его стекле так тихи небеса!
Его брега — расписанные рамки.
Бегут по нем рядами паруса,
Глядят в него береговые замки,
И эхо гор разносит голоса!
Старинные мне слышатся напевы,
У пристаней кипит народ;
По виноградникам порхает хоровод;
И слышу я, поют про *старый* Реин *девы.*

«Наш Рейн, наш Рейн красив и богат!
Над Рейном блестят города!
И с башнями замки, и много палат,
И сладкая в Рейне вода!..

И пурпуром блещут на Рейне брега:
То наш дорогой виноград;
И шелком одеты при Рейне луга:
Наш реинский берег — Германии сад!

И славится дева на Рейне красой,
И юноша смотрит бодрей!
О, мчись же, наш Рейн, серебрясь полосой,
До синих, до синих морей!..»

Но чье чело средь праздничного шума,
Когда та песня пронеслась,
Подернула пролетной тенью дума
И в ком тоска по родине зажглась?..
Он счастлив, он блажен с невестой молодою,
Он празднует прекрасный в жизни миг;
Но вспомнил *что-то* он над реинской водою...
«Прекрасен Реин *твой* и тих
(Невесте говорит жених),
Прекрасен он — и счастлив я тобою,
Когда в моей дрожит твоя рука;
Но от тебя, мой юный друг, не скрою,
Что мне, на севере, милей *одна река:*
Там родина моя, там жил я, бывши молод;
Над бедной той рекой стоит богатый город;
По нем подчас во мне тоска!
В том городе есть башни-исполины!
Как я люблю его картины,
В которых с роскошью ковров
Одеты склоны всех *семи холмов* —
Садами, замками и лесом из домов!..
Таков он, город наш *стохрамый, стопалатный!*
Чего там нет, в *Москве,* для взора необъятной?..
Базары, площади и *целые поля*
Пестреются кругом высокого *Кремля!*
А этот *Кремль,* весь золотом одетый,
Весь звук, когда его поют колокола,
Поэтом, для тебя не чуждым, Кремль воспетый
Есть колыбель Орла
Из царственной семьи великой!
Не верь, что говорит в чужих устах молва,
Что будто север наш такой пустынный, дикой!..
Увидишь, какова Москва,
Москва — святой Руси и сердце и глава! —
И не покинешь ты ее из доброй воли:
Там и в мороз тебя пригреют, угостят;
И ты полюбишь наш *старинный* русский град,
Откушав русской хлеба-соли!..»

<1841>

СЛАВНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ

Битва на поле гремела — битвы такой не бывало:
День и взошел и погас в туче нависнувшей дыма;
Медные пушки, дрожа, раскалялись от выстрелов частых,
Стоном стонала земля; от пальбы же ружейной весь
воздух
Бурей сдавался сплошной... Там, по холмам Бородинским,
Юноша нес на плечах тело, пробитое пулей:
Свежая кровь по мундиру алой тянулась дорожкой.
«Друг! ты куда же несешь благородную ношу?»
В ответ он:
«Братцы! товарищ убит! Я местечка ищу для *могилы*, —
Видите ль, взад и вперед колесистые бегают пушки,
Кони копытом клеймят поле; боюсь я: собрата
Конница ль, пушки ль сомнут... не доищешься после
и членов!..
Грустно подумать и то, что, как поле затихнет от битвы,
Жадный орел налетит — расклевать его ясные очи,
Очи, в которые мать и сестра так любили глядеться!..
Вот почему я квартиры тихой ищу постояльцу!»
«Ладно!» — сказали сквозь слез усачи-гренадеры,
и стали,
Крест сотворивши, копать, на сторонке, могилу штыками...
Только что кончили труд, закипела беда за бедою:
Буря за бурей пошла... и метелью и градом картечи,
Черепом бомб и гранат занесло, завалило могилу!..

<1841>

К ПОРТРЕТУ ***

Я бурями вспахан, разрыт ураганом,
И слезы — мой были посев;
Меня обольщали — обман за обманом,
Как ласки изменчивых дев!..

Беды просевали сквозь медное сито
Меня, истолокши пестом,
Но чья-то премудрость, то явно, то скрыто,
Мне путь мой чертила перстом!..

Когда я пускался в житейское море,
Мне выдали шаткий челнок;
За кормщика село — угрюмое горе,
Мой парус вздул бурею рок.

Когда ж совершилась страданиям мера,
Из облак рука мне дала
Тот якорь, на коем написано: «Вера»,
И жизнь моя стала светла.

Теперь уж, покинув большую дорогу,
Гляжу я на мир из окна;
Со мной же покинуть решилась тревогу
Мой видимый ангел — жена!..

Как перья по ветру, кружит там, в арканах,
Их, ветреных, — ветреность дум:
Лишь мелочность жизни, лишь бури в стаканах
Заботят и тешат их ум!

Но как обратить их? — советом ли, толком?
Глухая не слушает плоть.
Так пусть же мятутся... а мы тихомолком
Прошепчем: «Спаси их, господь!»

От вихрей, кружащих сей мир коловратный,
Укрой нас, властитель судеб!
Для сердца — жизнь сердца, — твой мир благодатный,
Для пищи — насущный дай хлеб!

<1843>

В ЗАЩИТУ ПОЭТА

Два я боролися во мне:
Один рвался в мятеж тревоги,
Другому сладко в тишине
Сидеть в тиши дороги
С самим собой, в себе самом.

Несправедливо мыслят, нет!
И порицают лиры сына
За то, что будто *гражданина*
Условий не снесет поэт...
Пусть не по нем и мир наш внешний,
Пусть, по мечтам, он и *нездешний*,
А где-то всей душой гостит;
Зато, вскипевши в час досужный,
Он стих к стиху придвинет дружный,
И брызнет рифмою жемчужной,
И высоко заговорит!..
И говор рифмы музыкальной
Из края в край промчится дальный,
Могучих рек по берегам,
От хижин мирных к городам,
В дома вельмож... И под палаткой,
В походном часто шалаше,
Летучий стих, мелькнув украдкой,
С своею музыкою сладкой
Печалью ляжет на душе.
И в дни борьбы, и сечь, и шума
Отрадно-радужная дума
Завьется у младых бойцов,
По свежим лаврам их венцов.
И легче станет с жизнью битва
И труд страдальца под крестом,
Когда холодная молитва
Зажжется пламенным стихом!
Не говори: «Поэт спокойным
И праздным гостем здесь живет!»
Он буквам мертвым и нестройным
И жизнь, и мысль, и строй дает...

<1846>

ЗАЗДРАВНЫЙ КУБОК А. П. ЕРМОЛОВУ

Умом затмил он блеск алмаза,
В боях был славный он боец,
Да здравствует герой Кавказа!
Да здравствует герой сердец!

Под буркою, над русским станом,
С морщиной умной на челе,
Не раз стоял он великаном
Монументально на скале!
А шашка между тем чеченцев
Вела с штыком трехгранным спор,
И именем его младенцев
Пугали жены диких гор.
И вот еще из-за тумана
Глядит героем Оссияна
Он на мельчающий наш быт!
И под маститой сединою
Хоть взор орлиный и пригас,
Всё баснословной стариною
И славой обдает он нас!

1847

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Как странно видеть *зрящему*
Дела людей:
Дались мы в рабство *настоящему*
Душою всей!

Глядим, порою, на минувшее,
Но холодно!
Как обещанье обманувшее
Для нас оно!..

Глядим на грозное *грядущее*,
Прищуря глаз,
И не домыслимся, что *сущее*
Морочит нас!..

Разладив с вещею сердечностью,
Кичась умом,
Ведем с какой-то мы беспечностью
Свой ветхий дом.

А между тем под нами роются
В изгибах нор,
И за стеной у нас уж строятся:
Стучит топор! ..

А мы, втеснившись в *настоящее*,
Все жмемся в нем,
И говорим: «Иди, грозящее,
Своим путем! ..»

Но в сердце есть отломок зеркала:
В нем видим мы,
Что порча страшно исковеркала
У всех умы!

Замкнули речи все столетия
В своих шкафах;
А нам остались междуметия:
«Увы!» да «Ах!»

Но принял не напрасно дикое
Лицо пророк:
Он видит — близится *великое*,
И близок срок!

1849

‹СТИХИ О БЫВШЕМ СЕМЕНОВСКОМ ПОЛКУ›

Была прекрасная пора:
Россия в лаврах, под венками,
Неся с победными полками
В душе — покой, в устах — «ура!»,
Пришла домой и отдохнула.
Минута чудная мелькнула
Тогда для города Петра.
Окончив полевые драки,
Носили офицеры фраки,
И всякий был и бодр и свеж,

Пристрастье к форме пригасало,
О палке и вестей не стало,
Дремал парад, пустел манеж...
Зато солдат, опрятный, ловкий,
Всегда учтив и сановит,
Уж принял светские уловки
И нравов европейских вид...
Но перед всеми отличался
Семеновский прекрасный полк.
И кто ж тогда не восхищался,
Хваля и ум его, и толк,
И человечные манеры?
И молодые офицеры,
Давая обществу примеры,
Являлись скромно в блеске зал.
Их не манил летучий бал
Бессмысленным кружебным шумом:
У них чело яснелось думой,
Из-за которой ум сиял...
Влюбившись от души в науки
И бросив шпагу спать в ножнах,
Они в их дружеских семьях
Перо и книгу брали в руки,
Сгибаясь, по служебном дне,
На поле мысли, в тишине...
Тогда гремел звучней, чем пушки,
Своим стихом лицейский Пушкин,
И много было... Все прошло!
Прошло и уж невозвратимо!
Всё бурей мутною снесло,
Промчалось, прокатило мимо...
И сколько, сколько утекло
Волною пасмурной, печальной
(И здесь и по России дальной)
В реках воды, а в людях слез,
И сколько пережито гроз!..
Но пусть о них твердят потомки;
И мы, прошедшего обломки,
В уборе париков седых,
Среди кипучих молодых,
Вспомянем мы хоть про Новинки,
Где весело гостили Глинки,

Где благородный Муравьев
За нить страдальческих годов
Забыл пустынную неволю
И тихо сердцем отдыхал;
Где, у семьи благословенной,
Для дружбы и родства бесценной,
Умом и доблестью сиял
И к новой жизни расцветал
Якушкин наш в объятьях сына,
Когда прошла тоски година
И луч надежды обещал
Достойным им — иную долю.

1856

СЛЕЗЫ УМИЛЕНИЯ

Если б *слезы умиления*
Воротить я мог себе,
Я стерпел бы все мучения,
Я смеялся бы судьбе!

Если б так, как в ранней младости,
Я *отплакиваться* мог,
Слезы, слезы! сколько сладости
Насылал мне с вами бог!

Помню: грудь мою царапали,
Говорили: «*Умирай!*»... —
Но на грудь вы, слезы, капали,
С вами капал в душу рай!..

Помню, помню, ночи целые
Я проплакивал в тиши;
Гасли свечи нагорелые,
Но не гас огонь души.

Где ж вы, *дети умиления*,
Ран целенье — в буре битв,
Хлеб души — в миг просветления,
Соль былых моих молитв?

Где теперь вы, драгоценные?
Видно, ранняя роса
На лазорево-священные
Вас умчала небеса!..

Где вы?.. Грудь, как степь горячая,
Накалилась зноем бед;
Я брожу — как тень ходячая, —
Я ищу... чего уж нет!..

Если б слезы умиления
Воротить я мог себе,
Я стерпел бы все мучения,
Я смеялся бы судьбе...

<1869>

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нет, други! Сердце расщепилось,
И опустела голова...
Оно так бойко билось, билось,
И — стало... чувства и слова
Оцепенели... Я, *бескрылый*,
Стою, хладею и молчу:
Летать по *высям* нет уж силы,
А *ползать* не хочу!!

<1869>

ЭЛЕГИЯ

Три юные лавра когда я садил,
Три радуги светлых надежд мне сияли;
Я в будущем счастлив судьбою их был...
Уж лавры мои разрослись, расцветали.

Была в них и свежесть, была и краса,
Верхи их, сплетаясь, неслись в небеса.
Никто не чинил им ни в чем укоризны,
Могучи корнями и силой полны,

Им только и быть бы утехой отчизны,
Любовью и славой родимой страны!..

Но, горе мне!.. Грянул сам Зевс стрелометный
И огнь свой палящий на сад мой послал,
И тройственный лавр мой, дар Фебу заветный,
Низвергнул, разрушил, спалил и попрал...

И те, кем могла бы родная обитель
Гордиться... повержены, мертвы, во прах,
А грустный тех лавров младых насадитель
Рыдает, полмертвый, у них на корнях!..

16 ноября 1869

НЕВЫСКАЗАННАЯ ТАЙНА

Она ничего не сказала.
И он ничего не сказал:
Она так высоко стояла,
Он, в людях, так был еще мал!..

А сколько раз с ней, амазонкой,
Он мчался по гребням холмов;
А песнью ведь вместе же звонкой
Пленяли они соловьев.

А сколько раз в вихре кипучем
Затопленных звуками зал,
С ней в вальсе кружася летучем,
Он таял, и млел, и пылал!..

А сколько раз дума слетала
На юное девы чело,
Как с ним она в лодке гуляла,
Как он налегал на весло.

Она ничего не сказала,
И он ничего не сказал,
Когда роковая настала
Минута... и долг его звал,

Что деялось с ней? .. Но молчала
Она и в решительный час,
Когда уж коляска стояла
И ждал его дикий Кавказ!

Но крик из разбитого сердца
Сдержать не сумела она,
Узнав, что под шашкой чеченца
Он сгас, как видение сна! ..

Но в миг роковой, как чеченец
Булат свой над ним уж занес,
Как имя родимой младенец,
Он имя ее произнес! ..

Между 1831—1875

ДВЕ ДОРОГИ

(Куплеты, сложенные от скуки в дороге)

Тоскуя — полосою длинной,
В туманной утренней росе,
Вверяет эху сон пустынный
Осиротелое шоссе...

А там вдали мелькает струнка,
Из-за лесов струится дым:
То горделивая чугунка
С своим пожаром подвижным.

Шоссе поет про рок свой слезный:
«Что ж это сделал человек?!
Он весь поехал по железной,
А мне грозит железный век! ..

Давно ль красавицей дорогой
Считалась общей я молвой? —

И вот теперь сижу убогой
И обездоленной вдовой.

Где-где по мне проходит пеший;
А там и свищет и рычит
Заклепанный в засаде леший
И без коней — обоз бежит. . .»

Но рок дойдет и до чугунки:
Смельчак взовьется выше гор
И на две брошенные струнки
С презреньем бросит гордый взор.

И станет человек воздушный
(Плывя в воздушной полосе)
Смеяться и чугунке душной
И каменистому шоссе.

Так помиритесь же, дороги, —
Одна судьба обеих ждет.
А люди? — люди станут боги,
Или их громом пришибет.

Между 1836—1875

ДВА Я

Как в зной кипящий муравейник
Заброшен бедный мотылек,
Меня забросил злой мой рок
В крапиву жизни да в репейник! . .

И я когда-то было с жаром
И говорил и утверждал;
Горел земных надежд пожаром,
Искал, просил, хотел, желал,
Гнался за тенью . . . И всё даром;
И наконец умнее стал:
Погас, затух и . . . отлетал.

Теперь смирней подпольной мыши
Я тихо в уголке сижу
И, вынырнув, порой гляжу,
Как ветер рвет с чертогов крыши.

1870-е годы

ПРИМЕЧАНИЯ

Ф. Н. Глинка, проживший без малого сто лет и писавший стихи в течение шести десятилетий, оставил после себя поэтическое наследие огромное по объему, но крайне неравноценное в художественном и идейном отношении. Большая часть стихотворений Глинки рассеяна по многочисленным журналам и альманахам первой половины XIX в. Сборниками при жизни поэта были изданы только «духовные» стихотворения («Опыты священной поэзии Федора Глинки». СПб., 1826), несколько аллегорий и басен («Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и прозе. Сочинения Ф. Глинки». СПб., 1826) и некоторые стихи о 12-м годе («Подарок русскому солдату. Сочинения Ф. Глинки». СПб., 1818). Три тома собрания сочинений, изданных М. П. Погодиным, содержат малую и не лучшую часть поэтического наследия Глинки (Собрание сочинений Ф. Н. Глинки. Издание М. П. Погодина. М., 1869—1872; т. 1 — «Духовные стихотворения», т. 2 — поэма «Таинственная капля», т. 3 — поэмы «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» и «Иов. Свободное подражание священной книге Иова»). За советские годы Глинка был издан четыре раза: три раза в Петрозаводске — в 1938 г. переиздана поэма «Карелия», в 1939 г. впервые опубликована повесть в стихах «Дева карельских лесов», в 1949 г. выпущено «Избранное», куда вошли стихотворения, разбросанные по журналам и альманахам, не помещенные поэтом в прижизненные сборники. Наконец, в Ленинграде в 1951 г. стихотворения Глинки вышли в малой серии «Библиотеки поэта». В настоящее издание вошли лучшие стихотворения Глинки эпохи Отечественной войны 1812 года, декабристского движения (1816—1825) и карельской ссылки (1826—1830). Творчество позднего периода представлено всего лишь несколькими стихотворениями. Из крупных поэтических работ Глинки включены трагедия «Вельзен, или Освобожденная Голландия», единственное издание которой (Смоленск, 1810) стало библиографической редкостью, а также поэмы «Дева карельских лесов» и «Карелия». «Иов. Свободное подражание священной книге Иова» (СПб., 1859) печатается в наиболее существенных отрывках. Не включены стихотворения ученической поры, масонские гимны и многие «духовные» стихотворения, входящие в первый том погодинского «Собрания сочинений» (М., 1869).* Композиционная структура сборника отра-

* В примечаниях ссылки на этот том даются сокращенно: Собр. соч., т. 1.

жает основные авторские циклы. Название большинства циклов даны самим Глинкой: «Опыты трагических явлений», «Опыты священной поэзии», «Опыты иносказательных описаний в стихах» и т. д. Готовя для М. П. Погодина свод своих стихотворений, Глинка выделял в особый цикл «разные» стихотворения. В этот последний цикл включались наиболее неоднородные в жанровом и тематическом отношении стихотворения: элегии, романсы, идиллии, шарады, медитации, дружеские послания, «рассказы в стихах» и разная «альбомная мелочь». Из прижизненных изданий Глинки можно считать авторитетными только сборники 1826 г.: «Опыты священной поэзии» и «Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе», а также поэму «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» (СПб., 1830). Элегические псалмы и аллегории, написанные до 1826 г., печатаются по этим прижизненным сборникам. Поэма «Карелия» по изданию 1830 г. Все остальные стихотворения, не вошедшие в сборники, печатаются по журнальным публикациям. Принцип распределения текста внутри отдельных циклов — хронологический. Стихотворения первого периода (1812—1825) сравнительно легко датируются, так как год написания в большинстве случаев совпадает с годом первой публикации. Иногда датировка уточняется по протоколам Вольного общества любителей российской словесности. О времени написания «военных песен» часто свидетельствует содержание стихотворения с их развернутыми пояснительными названиями. Следует учитывать, что ряд стихотворений, написанных до 1826 г., появился в печати несколько позже, так как Глинка, привлеченный по делу декабристов, не мог их опубликовать в конце 1825 г. Полагаем, что к ним относятся некоторые стихотворения об Отечественной войне 1812 г. и ее героях, стихотворения о Богдане Хмельницком, над которыми поэт работал в 1825 г., а также некоторые другие стихотворения, оговариваемые нами в примечаниях. Значительно сложнее датировать стихотворения, написанные после 1825 г. Та датировка, которая частично содержится в «Духовных стихотворениях» (1869), далеко не всегда отвечает действительности. Так, например, элегический псалом «Глас» был напечатан в «Литературном музеуме» на 1827 г. (стр. 47). В том же году об этом псалме «Московский вестник» писал: «Из всех стихотворений первое место по мысли и по выражениям занимает «Глас» Ф. Н. Глинки» («Московский вестник», 1827, № 11, стр. 280). В «Духовных стихотворениях» псалом «Глас» датируется 1829 г. В погодинское издание эта и многие другие ошибки были механически перенесены из «Рукописного собрания стихотворений» * Глинки. В «Рукописном собрании» стихотворение «Глас» значится с пометой: «В Петрозаводске, 1829 г.» Стихотворение «Глас» действительно написано в Петрозаводске, но, как об этом свидетельствует публикация в «Литературном музеуме», не позже начала 1827 г. Готовя к изданию «Собрание сочинений», Е. П. Голенищева-Кутузова, жена Ф. Н. Глинки, переписывала стихотворение с журнального текста, так как автографы ранних стихотворений в боль-

* «Рукописное собрание стихотворений» долгое время хранилось в калининском областном архиве. В настоящее время оно находится в Центральном государственном литературном архиве (Москва).

шинстве случаев были утрачены. В результате такой переписки возникали курьезные ошибки и явная путаница. «Глас» был обозначен 1829 г., и под этой датой он появился в первом томе «Собрания сочинений». Ясно, что «Рукописное собрание стихотворений» мы не можем считать авторитетным источником текста, хотя в некоторых случаях здесь имеется собственноручная правка поэта. Стихотворения эпохи суда и ссылки легко угадываются по их содержанию. Они образуют в нашем сборнике второй раздел (Стихотворения 1826—1830 гг.). Этот раздел начинается со стихотворений, написанных в 1826 г. в Петропавловской крепости. Автографы этих стихотворений входят в особую «тетрадь». Тюремная «тетрадь» дает возможность безошибочно датировать целый цикл стихотворений мартом — маем 1826 г. Стихотворения, написанные в период олонецкой ссылки, следуют за тюремными стихами. Датировка этих стихотворений остается точной в пределах одного-двух лет. Все они написаны в Петрозаводске (вторая половина 1826 — первая половина 1830 гг.) и тогда же, в годы ссылки, были опубликованы в журналах и альманахах. В ряде случаев датировка стихотворений данного раздела уточняется на основе отдельных реалий, проливающих свет на время написания (сразу же после следствия и суда, по приезде в Олонецкую губернию, в первый год ссылки или несколько позже, когда поэт изучил край, его историю и культуру; наконец, отмечаются стихи, написанные перед отъездом из Петрозаводска, а возможно, что и в пути из Петрозаводска в Тверь). Это же относится и к тем «духовным» стихотворениям, которые были опубликованы в погодинском издании 1869 г. в разделе «Без означения годов».

Печатая в первом томе «Собрания сочинений» свои «духовные» стихотворения, Глинка вслед за «Опытами священной поэзии» (1826) поместил стихотворения, написанные до 1826 г., но не вошедшие в «Опыты». В следующем разделе он разместил стихотворения, написанные после 1825 г., причем этот раздел снабдил довольно туманной справкой: «Стихотворения, написанные в разные времена, без означения годов». В раздел «Без означения годов» были запрятаны «духовные» стихотворения («Я пред тобою...», «Из псалма 43-го», «Илия — богу», «Бог — Илие», «Я видел их...», «Покорность», «Ты наградил...» и многие другие), содержащие скрытый намек на декабрьские события и годы гонений.* Ключ к разгадке хронологии этих стихотворений содержится в самом оглавлении к сборнику. Стихотворения, написанные после 1830 г., то есть после возвращения из ссылки, как правило, обозначены датой их написания. Стихотворения, написанные в период сотрудничества Глинки в «Москвитянине» (1841—1848), выделены в особый раздел. «Опыты священной поэзии» и все остальные «духовные» стихотворения, написанные до 1826 г., входят в первую часть книги. Остается предполагать, что большинство стихотворений, скрывшихся под неясным заголовком «Без означения годов», написаны в пору следствия и в годы ссылки (1826—1830). Об этом же свидетельствует частичная датировка

* На декабристские стихотворения Глинки, напечатанные в «Духовных стихотворениях», в разделе «Без означения годов», впервые указал Ю. Г. Оксман. См. «Временник Пушкинской комиссии», т. 2. М.—Л., 1936, стр. 325—328.

отдельных стихотворений в разделе «Без означения годов» и проникновение отдельных текстов в печать сразу же после окончания следствия и суда над декабристами. В раздел «Без означения годов» Глинка запрятал «духовные» стихотворения, содержащие скрытые намеки на личные переживания во время следствия («Обеты», «Упование», «Утреннее чувство», «Молитва», «Поклоны») и на суровую расправу над декабристами («Несмысленность», «Илия — богу», «Бог — Илие», «Призвание», «Из псалма 43-го», «Глас» и др.). Карельские поэмы — описательные стихотворения «Дева карельских лесов» (1828) и «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» (1830) — включены в раздел олонецких стихотворений, как органически связанные с лирикой ссыльного. Авторские примечания и подзаголовки, как элемент авторского текста, сохраняются. В отличие от журнального текста, правописание таких слов, как «он», «бог», «ангел» и т. д., дается с маленькой буквы.

Даты первой публикации, то есть год, не позднее которого написано данное произведение, обозначаются в тексте ломаными скобками. Даты предположительные сопровождаются вопросительным знаком.

1808—1825

Вельзен, или Освобожденная Голландия. Трагедия в 5 действиях (стр. 57). Впервые — отдельным изданием, Смоленск, 1810, со стихотворным посвящением гр. М. А. Милорадовичу (см. о нем стр. 57), датированным: «15 сентября 1808 г., село Сутоки». За посвящением следует «Объявление» о благотворительной цели издания (в пользу сирот). В настоящем издании посвящение и «Объявление» опущены как не имеющие отношения к теме и содержанию трагедии «Вельзен». Изображение нидерландской революции XVI в. носит в трагедии условно-романтический характер. Автор «Вельзена» испытал двойное влияние: с одной стороны — Шиллера, автора «Разбойников» и «Заговора Фиеско», и с другой — своего предшественника в России — Княжнина, автора трагедии «Вадим Новгородский». У Княжнина он берет пафос тираноборческих монологов, двупланность сюжета, установку на злободневно-политическую тематику; у Шиллера заимствует драматические эффекты, патетику, экзальтацию и напряженный тон в изображении человеческих переживаний. Глинка мог знать «Историю отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества» Шиллера. В трагедии, как и в «Истории» Шиллера, мы видим «зрелище, где забитое человечество борется за свои благородные права», где мужество народа в неравной борьбе побеждает «страшные орудия тирании» (Ф. Шиллер. Собрание сочинений, т. 3. СПб., 1901, стр. 114). Но Глинка в отличие от Шиллера стремится не к историческому правдоподобию, а к максимально сильному эмоциональному выражению идеи произведения — апофеоза борьбы народа за свою независимость. Драматическая фабула «Вельзена» движется страстью героя. Нидерландская тема после Глинки продолжена Н. Бестужевым в «Записках о Голландии 1815 года», опубликованных в 1821 г. в «Соревнователе просвещения и благотворения» (№ 1 и № 2). По словам Н. Бесту-

жева, «твердые духом голландцы» в период революции «показали свету, к чему способно человечество и до какой степени может вознестися дух людей свободных». Нидерландская революция XVI в. сыграла свою роль в формировании мировоззрения будущих декабристов. Н. Бестужев признавался в показаниях Следственному комитету: «Бытность моя в Голландии 1815 года, в продолжение 5 месяцев, когда там установилось конституционное правление, дала мне первое понятие о пользе законов и прав гражданских» (Н. А. Бестужев. Статьи и письма. М.—Л., 1933, стр. 39—40).

Мечтания на берегах Волги (стр. 111). Впервые — «Русский вестник», 1812, № 12, стр. 134, без подписи. Печ. по «Соревнователю просвещения и благотворения», 1820, № 12, стр. 308. После окончания кадетского корпуса Глинка принял непосредственное участие в войне 1805—1806 гг. Выйдя в отставку по состоянию здоровья, он совершил путешествие по Смоленской и Тверской губерниям, побывал в Киеве и плавал по Волге. «Мечтания» написаны в 1810 г. во время путешествия по Волге. См. «Письма к другу, содержащие в себе замечания, мысли и рассуждения о разных предметах» (СПб., 1816). К тому времени Глинка уже имел «много случаев познать жизнь и людей», он имел возможность познакомиться с чужими землями и обогатить свои впечатления путешествием по России. В «Мечтаниях» объединены воспоминания о военных походах и дидактические рассуждения путешественника. Они содержат мотивы, характерные для ранней элегической поэзии Глинки. близкие нарождавшейся лирике карамзинистов. *Княжнин* Яков Борисович (1742—1791) — поэт и драматург. *Ваг* — большая сердитая река в Карпатских горах (прим. Ф. Глинки в «Русском вестнике»). *Текелли молнией летал.* Текели Эмерик (Имре Тёкёй) — венгерский политический деятель, один из руководителей борьбы за независимость Венгрии. *Авзония* — Италия.

СТИХОТВОРЕНИЯ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Этот раздел состоит из стихотворений о 1812 г., опубликованных главным образом в сб. «Подарок русскому солдату» (1818) и в «Сыне отечества» в 1818—1819 гг. Федор Глинка, непосредственный участник войны 1812 г., постоянно ратовал за создание специальной литературы для «классов народа» (солдат и крестьян). После сближения с воинами он пришел к выводу, что русский солдат с большим уважением относится к народным песням и сказкам. В послесловии к книжке «Подарок русскому солдату» (СПб., 1818) он писал об «охотниках до сказок»: «Солдаты наши большие охотники до сказок! Как теперь помню студеные, темные, дождливые осенние ночи, когда (в 1805 г.) отступали мы от крепости Браунау к Дунаю. Холод, голод, слякоть и непогода — все забывалось, когда ротный сказочник, смышленый краснобай, начинал сказку про храбрых витязей и могучих богатырей. Ружье становилось легко, как перышко, солдаты не слыхали ни трудного перехода, ни вязкой дороги. Сказка очаровывала их». Здесь же он ссылается на слова известного донского атамана, героя 1812 г. М. И. Платова: «Русский солдат любит петь! И радость и горе изливает он в песнях веселых или жалобных,

«На Дону песня — история», — так сказал мне однажды знаменитый вождь донской, покойный граф М. И. Платов. И у нас в старину военные песни заключали в себе весьма любопытные предания исторические. Впрочем, сильное влияние песен на дух войска и наоода везде и повсюду неоспоримо». Наконец, автор послесловия «Цель сей книги» сообщает о своих опытах в стихах и в прозе: «Я старался сколько мог придерживаться говорки солдатской. которой наслышался в походах и в лагерях от самих же солдат. Сказку про Луку да Марью старался я писать слогом народным, а эту книжку солдатским слогом. А кто первый сотворил у нас быстрый (как скорый маош), легкий, живой и сильный солдатский слог? — Суворов, великий Суворов. Его тактика написана истинно солдатским слогом, зато солдаты знали и твердили ее наизусть, как любимую сказку или песню». Сама идея создать книги для народа — «Сказка про Луку да Марью» (СПб., 1818) и «Подарок русскому солдату» (СПб., 1818) — возникла в годы Отечественной войны, под впечатлением национальной героики. Одновременно Глинка отвечал на требование Союза Благоденствия, устав которого предусматривал распоостранение «грамоты в народе» и издание соответствующих книг. Среди многочисленных официальных од и посланий, романсов и песен, вошедших в «Собоание стихотвоений, относящихся к незабвенному 1812 году», ч. 1—2 (М., 1814), военные песни Глинки отличаются не только своим «солдатским слогом», но и трактовкой Отечественной войны и той характерной гражданственностью, которая через несколько лет будет восприниматься под иным углом зрения, в духе декабристского свободолюбия. Народность военных песен Глинки условна, они не идут прямым образом от фольклора. Рассчитанные в конечном итоге не столько на песенное исполнение, сколько на декламационное произношение, военные песни звучат местами необыкновенно торжественно, как гражданские оды и «думы». Из отдельных песен, вернее говоря, стиховых повестей, складывается поэтическая летопись Отечественной войны 1812 г.: нападение наполеоновских полчищ на русскую землю («Военная песнь»), русский народ поднимается на защиту своего отечества («Солдатская песнь»), бой под стенами Смоленска («Прощальная песнь русского воина»), подготовка к Бородинскому сражению («Песнь сторожевого воина»), отступление русской армии и вторжение воага в Москву («Песнь русского воина при виде горящей Москвы»), переход русской армии в наступление («Авангардная песнь»), освобождение родной земли («Песнь русских воинов»). Слова Глинки о значении песен в солдатском быту заслуживают особого внимания. В период наивысшего подъема декабристского движения Рылеев и А. Бестужев использовали народно-песенный жанр в целях политической агитации. Влияние песен, созданных Рылеевым и А. Бестужевым, на дух войска и народа оказалось настолько существенным, что правительству пришлось «всеми мерами» истреблять песни, подобные «Ах, тошно мне и в родной стороне. . .»

Военная песнь, написанная во время приближения неприятеля к Смоленской губернии (стр. 117). Впервые — сб. «Подарок русскому солдату». СПб., 1818, стр. 60.

Солдатская песнь, сочиненная и петая во время соединения войск у города Смоленска в июле 1812 года (стр. 118). Впервые — сб. «Подарок русскому солдату». СПб., 1818, стр. 65.

Картина ночи пред последним боем под стенами Смоленска и прощальная песнь русского воина (стр. 119). Впервые — «Сын отечества», 1818, № 24, стр. 192. Печ. по сб. «Подарок русскому солдату». СПб., 1818, стр. 67. В «Сыне отечества» было посвящение генералу И. Е. Жадовскому (Ив. Евст. ф., в. ч. Ж. д. в. ск. м.):

Товарищ мой, свидетель битв и славы!
Ты помнишь дни войны и страшных сеч,
Когда в полях дымился ток кровавый
И пировал кругом огонь и меч!
Ты помнишь, друг! — и как забыть те ночи? —
Когда горел, без молний, неба свод...
Едва смежив усталый воин очи,
Внимал, сквозь сон, как сетовал народ;
И, пробужден вдруг вспыхнувшим сраженьем,
Встречал в дыму рассвет и юный день...
В моих стихах — картины сей лишь тень,
Ты дорисуй ее — *воображеньем*...

Песнь сторожевого воина пред Бородинскою битвою (стр. 123). Впервые — сб. «Подарок русскому солдату». СПб., 1818, стр. 80.

«Добрый воин, что с тобой?..» (стр. 124). Впервые — «Сын отечества», 1818, № 22, стр. 108, под названием «Романс». Печ. по сб. «Подарок русскому солдату». СПб., 1818, стр. 83.

Песнь русского воина при виде горящей Москвы (стр. 127). Впервые — «Сын отечества», 1818, № 17, стр. 188, с подписью «Ф. Г.»

Сетования русской девы (стр. 128). Впервые — «Сын отечества», 1818, № 17, стр. 186, под названием «Романс», с подписью «Ф. Г.» Печ. по сб. «Подарок русскому солдату». СПб., 1818, стр. 125.

Прощание («Покажись, луна златая...») (стр. 129). Впервые — «Благонамеренный», 1818, № 7, стр. 10, под названием «Романс». Печ. по сб. «Подарок русскому солдату». СПб., 1818, стр. 91.

Авангардная песнь («Друзья! Враги грозят нам боем...») (стр. 131). Впервые — сб. «Подарок русскому солдату». СПб., 1818, стр. 98. *Милорадович* Михаил Андреевич (1771—1825) — генерал русской армии; во время Отечественной войны 1812 г. Глинка был его адъютантом. С 1818 г. — петербургский военный генерал-губернатор. 14 декабря 1825 года был смертельно ранен выстрелом Каховского.

Тост в память донского героя (стр. 132). Впервые — «Сын отечества», 1819, № 2, стр. 78, с подписью «Ф. Г.»

Партизан Сеславин (стр. 133). Впервые — «Славянин», 1827, № 15, стр. 108. *Сеславин* Александр Никитич (1780—1858) — русский офицер, в 1812 г. прославился своими партизанскими действиями, участник Бородинской битвы.

Партизан Давыдов (стр. 134). Впервые — «Славянин», 1827, № 18, стр. 182. *Давыдов* Денис Васильевич (1784—1839) — знаменитый партизан Отечественной войны 1812 г. и поэт.

Смерть Фигнера (стр. 134). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г., стр. 16. *Фигнер* Александр Самойлович (1787—1813) — один из самых замечательных партизан Отечественной войны 1812 г. Действуя в тылу неприятеля, он был окружен конницей противника близ Дессау, бросился в реку и утонул. *Орловский* Александр Осипович (1777—1832) — художник-баталист, за картину «Бивуак козаков» получил звание академика. *Каменский* Сергей Михайлович (ум. 1835) — участник Отечественной войны 1812 г., командир корпуса. *Рущук* — турецкая крепость на Дунае, взятая русскими войсками 22 июня 1811 г.

ОПЫТЫ ТРАГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Опыты двух трагических явлений в стихах без рифмы (стр. 140). Впервые — «Сын отечества», 1817, № 44, стр. 223, с подписью «Ф. Г.»

Отрывки из «Фарсалии» (стр. 143). Впервые — «Сын отечества», 1818, № 40, стр. 74. *Катон младший* — римский государственный деятель и убежденный республиканец, противник Юлия Цезаря. *Кесарь* — римский полководец и политический деятель Юлий Цезарь. *Аммон* (Амон) — бог солнца в древнем Египте. *Юба* — нумидийский царь.

ОПЫТЫ СВЯЩЕННОЙ ПОЭЗИИ

За несколько дней до декабрьского восстания 1825 г. Глинка заходил к Рылееву и показывал ему корректуру сборника «Опыты священной поэзии». «Опыты священной поэзии» были подписаны к печати духовным цензором, священником Казанского собора Герасимом Павским, 12 октября 1825 г. В самом начале 1826 г. этот сборник вышел из печати. В неопубликованном предисловии к «Опытам священной поэзии» Глинка указывал, что его «стихотворения не следует считать ни буквальным переложением, ни близким подражанием священным псалмам». «Справедливо, что я, — писал Глинка в этом предисловии, — брал иногда общий смысл, иногда же только некоторые стихи из целого псалма, и, сообразуясь с новейшим способом стихосложения, выражал так, как было прилично вдохновению, двигаемому тогда моею душою». * Глинка брал из

---

* Это предисловие находится среди бумаг В. В. Григорьева в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде.

псалмов отдельные мысли и образы и, путем художественного и идейного переосмысления, подчинял их задачам политической и филантропической агитации. Часто «священные» стихотворения являлись отзвуками настроений поэта и содержали в себе намеки на события общественной и личной жизни поэта. Обращение к священному писанию как к одному из источников политической пропаганды предусматривалось Глинкой, одним из руководящих деятелей Союза Благоденствия. Посвящая в тайны общества Григория Перетца, Глинка советовал «обращать внимание к политическим наукам», читать «конституции разных государств» и приводить из библии законы Моисея, доказывая, что сам «бог покровительствует конституционному правлению». Его «Опыты священной поэзии» и тематически и конструктивно восходят то к величавым песням ветхозаветных пророков, то к поэзии Ломоносова и Державина. При этом Глинка руководствовался уставом Союза Благоденствия, где говорилось, что «человек не иначе, как с помощью веры, может преодолеть свои страсти, противостоять неприязненным обстоятельствам и, таким образом, шествовать по пути добродетели». Иногда Глинка так трактовал библейские сюжеты и образы, что «высокое» становилось низким, а небесное слишком земным и даже обыкновенным. На пародийно-каламбурный характер библейских мотивов в поэзии Глинки неоднократно указывал Пушкин. Познакомившись с «Псалмом»

Сверкай, мой меч! Играй, мой меч!
Лети, губи, как змей крылатый,
Пируй, гуляй в раздолье сеч!
Щиты их в прах! В осколки латы!
Ступай, моя нетленна сталь!
Дроби их грудь, сердца их жаль:
Они пред богом виноваты... —

Пушкин очень удачно отметил в своем «Дневнике» его своеобразие: «После его ухарского псалма, где он (Глинка. — *В. Б.*) заставил бога говорить языком Дениса Давыдова, цензор подумал, что *он* пустился во все тяжкое... Псалом Глинки уморительно смешон» (А. С. Пушкин, т. 8. М.—Л., 1949, стр. 64). Псалмы Глинки можно подразделить на три жанровых разряда: оды-псалмы, элегические псалмы и «ухарские» псалмы. Оды-псалмы наиболее близки витийственному классицизму. Элегический псалом представляет собой комбинированный жанр: архаические принципы стиля здесь соединились с мелодическими достижениями элегической поэзии, а церковнославянская фразеология хорошо уживается с просторечием. «Ухарские» же псалмы явились в результате парадоксального столкновения разных жанровых и стилистических канонов, создающего семантическую какофонию. Все стихотворения сборника «Опыты священной поэзии» вошли в Собр. соч., т. 1.

К богу правды (стр. 149). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1822, № 3, стр. 327. Читалось 23 января 1822 г. на заседании Вольного общества любителей российской словесности.

Призвание Исайи (стр. 150). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1822, № 12, стр. 317, с эпиграфом «Кого пошлю — и тот пойдет к людям». Читалось 6 ноября 1822 г. в Вольном обществе любителей российской словесности. Написано на один из мотивов библейской «Книги пророка Исайи». *Егова* — одно из древнееврейских наименований бога.

Плач плененных иудеев (стр. 153). Впервые — «Полярная звезда» на 1823 г., стр. 355. *Сион* — гора в Иерусалиме, на которой была расположена крепость иудейских царей. *Тимпан* — древний музыкальный ударный инструмент.

Вопль раскаяния (стр. 154). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, № 3, стр. 284, под названием «Преложение псалма 6-го».

Молитва души (стр. 155). Впервые — «Новости литературы», 1823, № 14, стр. 12, под названием «Подражание псалмам».

К богу великому, защитнику правды (стр. 156). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, № 11, стр. 148, с подзаголовком «Подражание псалму 34».

Горе и благодать (стр. 158). Впервые — «Полярная звезда» на 1824 г., стр. 228. *Давид* — царь древнего Израиля, в позднейшей легендарной традиции известен как автор псалмов. На титульном листе «Опытов священной поэзии» была изображена арфа Давида. *Вертоград* (церковнослав.) — сад.

Тоска (стр. 160). Впервые — «Новости литературы», 1823, № 21, стр. 127. С пометой: «17-го февраля, 1823», под названием «Вопль души».

Созерцание (стр. 161). Впервые — «Новости литературы», 1823. № 14, стр. 13, под названием «Подражание псалмам». С пометой: «25-го марта, 1823».

Глас бога избранному его (стр. 163). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, № 5, стр. 208. *Овны* (церковнослав.) — бараны. *Тук* (церковнослав.) — жир.

Блаженство праведного (стр. 165). Впервые — «Литературные листки», 1824, №№ 9—10, стр. 368, под названием «Праведный муж».

Сетование («Услыши, господи! я стражду! ..») (стр. 166). Впервые — «Новости литературы», 1824, № 8, стр. 126, под названием «Подражание псалму»: «Внуши, боже, молитву мою».

Тщета суемудрия (стр. 167). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, № 8, стр. 141.

Минута счастия (стр. 168). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, № 3, стр. 258.

Победа (стр. 169). Впервые — «Опыты священной поэзии». СПб., 1826, стр. 98.

ОПЫТЫ ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХ ОПИСАНИЙ В СТИХАХ

«Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе» (СПб., 1826) были разрешены к печати цензором Александром Бируковым в сентябре 1825 г. Сборник состоит из двух разделов: «Опыты иносказательных описаний в прозе» и «Опыты иносказательных описаний в стихах». В предисловии к «Опытам аллегорий» Глинка признавался, что его внимание всегда привлекал человек «со стороны его положения в обществе и особенно со стороны его природы нравственной, в которой, собственно, заключается великая тайна нашего счастья», что он всегда считал необходимым останавливать внимание людей на «высоких истинах веры и нравственности».

Как показывают «беспечным зрителям посредством оптического стекла ряд красивых явлений, не осязаемых, но видимых и понятных», так через стих становится для читателя понятной истина. Этим определяется основная идея «Опытов иносказательных описаний в стихах». А. Бестужев во «Взгляде на старую и новую словесность в России» указывал, что «в сочинениях Глинки отсвечивается ясно его душа. Стихотворения сего поэта благоухают нравственностью; что-то невещественно-прекрасное чудится сквозь полупрозрачный покров его поэзии и, сливаясь с собственной нашей мечтой, невольно к себе привлекает. Он владеет языком чувств, как Вяземский языком мыслей... В заключение скажем, что он принадлежит к числу писателей, которых биография служила бы предисловием и комментарием для его творений» («Полярная звезда» на 1825 г., стр. 27). Справедливо указывая на прямую связь глинковской нравоучительной поэзии с биографией поэта и тем самым как бы подчеркивая, что поэзия Глинки всегда была выражением тех идеалов, за которые боролся умеренный член Союза Благоденствия, А. Бестужев не раскрывает смысла своих определений: «поэт благоухает нравственностью», «владеет языком чувств». Недовольный отзывом Бестужева, Пушкин недоумевал: «Глинка владеет языком чувств... Это что такое?» Пушкин иронически относился к глинковскому морализму и не считал, что автор туманных иносказаний владеет «языком чувств». Бестужев просто пощадил Глинку в журнальной рецензии, хотя для нападок у критика «Полярной звезды» имелись все основания. В аллегориях и иносказаниях более всего сказались недостатки глинковской дидактической поэзии: утомительное резонерство, романтические шаблоны, жеманно-изысканная лексика и т. д. Очевидно, что иносказательно-дидактическая поэзия Глинки не могла удовлетворить декабристов, перешедших от слов к делу, как не могла удовлетворить их прежняя деятельность Союза Благоденствия. Соединив «заманчивость загадки» с «поэзией поучительности», Глинка пришел к нравоучительному доктринерству, к умозрительному разрешению социальных вопросов, к отвлеченному противопоставлению «добра» и «зла».

Сон (стр. 171). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № 11, стр. 206.

Нездешняя гостья (стр. 172). Впервые — «Невский зритель», 1820, № 4, стр. 65, с подписью Ф.... Г.....

Перелетная птичка (стр. 173). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № 6, стр. 307, с посвящением «Б-ну А. А. Д. л. в. г.» — Барону Антону Антоновичу Дельвигу. Читалось в Вольном обществе любителей российской словесности 7 июня 1820 г.

Гений (стр. 174). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № 6, стр. 310, под названием «К Г. Т.»

Усладова лира (стр. 176). Впервые — «Благонамеренный», 1821, № 17—18, стр. 261.

Пруд и капля (стр. 177). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1822, № 4, стр. 111.

Гостья ненадолго (стр. 178). Впервые — «Полярная звезда» на 1823 г., стр. 185, под названием «К Дориде».

Мои вожатые (стр. 178). Впервые — «Полярная звезда» на 1823 г., стр. 285.

Возвращение невозвратимой (стр. 180). Впервые — «Новости литературы», 1823, № 25, стр. 189.

Заветная книга (стр. 181). Впервые — «Новости литературы», 1824, № 19, стр. 109.

Видение в луне (стр. 183). Впервые — «Северные цветы» на 1825 г., стр. 338.

Море (стр. 184). Впервые — «Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе». СПб., 1826, стр. 184.

К ночи (стр. 185). Впервые — «Северная пчела», 1825, № 102, 25 августа, под названием «Ночь».

Перемена (стр. 186). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., стр. 187. Под названием «К Глицерии».

Минутное посещение (стр. 187). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., стр. 113. Читалось в Вольном обществе любителей российской словесности 7 января 1824 г.

Темное воспоминание (стр. 188). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., стр. 272.

Старец (стр. 191). Впервые — «Новости литературы», 1825, № 6, стр. 191.

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Мотылек (стр. 192). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1818, № 5, стр. 221. Читалось 30 октября 1817 г. в Вольном обществе любителей российской словесности.

Блеск очей (стр. 193). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1818, № 6, стр. 380; в сокращенной редакции, датированной 1822 г., в «Славянине», 1830, № 2, стр. 141. Список стихотворения в первой редакции с подзаголовком «с польского» обнаружен Б. Л. Модзалевским среди бумаг «Зеленой лампы» (см. «Декабристы и их время», т. 1, [б. г.], стр. 14).

Фиалка и дубы (стр. 194). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1818, № 7, стр. 100.

К снегирю (стр. 195). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1818, № 9, стр. 359.

Дитя и птичка (стр. 196). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1819, № 7, стр. 89.

К соловью в клетке (стр. 197). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1819, № 7, стр. 83. *Хлоя* — условное имя в идиллической, «пастушеской» поэзии.

Шарада («На тучных пажитях Авзонии цветущей...») (стр. 199). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1819, № 9, стр. 328. Отгадка шарады — «Порок». *Авзония* — Италия. *Оргон* — один из героев комедии Мольера «Тартюф».

Призывание сна (стр. 200). Впервые — «Сын отечества», 1819, № 50, стр. 178, с подписью «Ф. Г.» *Филомела* (греч. миф.) — афинская царевна, превращенная в соловья; здесь — соловей.

К Пушкину (стр. 201). Впервые — «Сын отечества», 1820, № 38, стр. 231, с подписью «Ф. Г.» Написанное в 1819 г., это стихотворение было напечатано после ссылки Пушкина. Глинка одним из первых узнал об опасности, грозившей Пушкину, и принял горячее участие в его судьбе. (См. Ф. Н. Глинка. Удаление А. С. Пушкина из Петербурга в 1820 году. «Русский архив», 1866, стр. 917—922).

Весна («Уж ласточка к гнезду послышала влеченье...») (стр. 202). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № 7, стр. 93. Читалось в Вольном обществе любителей российской словесности 7 июня 1820 г.

Шарада («*Слог первый* мой везде есть признак превосходства. . .») (стр. 203). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № 1, стр. 75, с подписью «Ф. Г.». (Автограф обнаружен Б. Л. Модзалевским среди бумаг «Зеленой лампы».) Отгадка шарады — «Престол».

Греческие девицы к юношам (стр. 203). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, № 11, стр. 206. Критик «Соревнователя просвещения и благотворения» П. Плетнев в статье «Антологические стихотворения» писал, что «посредством антологии мы становимся современниками древних». «Как уцелевшие от разрушительной руки времени памятники, они (антологические стихотворения. — *В. Б.*) вернее сказаний исторических изображают нам характер собственно называемого народа» («Соревнователь просвещения и благотворения», 1822, № 7, стр. 20).

К недостойному бессмертия (стр. 204). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, № 2, стр. 267.

Прощание с жизнию (стр. 204). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, № 9, стр. 337. *Жильбер* Николя (1751—1780) — французский поэт-сатирик.

Судьба Наполеона (стр. 205). Впервые — «Сын отечества», 1821, № 41, стр. 35. Написано по поводу смерти Наполеона, скончавшегося в 1821 г. на острове св. Елены. В стихотворении речь идет также о греческом восстании 1821 г., которое воспринималось общественными передовыми кругами как удар по реакции. *Ахейцы* — жители Ахайи, у Гомера вообще греки. *Стамбул* — Константинополь. *Оттоман* — прежнее официально-торжественное название турок, по имени турецкого султана конца XIII — начала XIV в. Османа. *Термопилы* (Фермопилы) — узкий проход в горах Греции.

Осенняя грусть (стр. 206). Впервые — «Сын отечества», 1817, № 42, стр. 151, под названием «Осеннее чувство». Печ. по «Соревнователю просвещения и благотворения», 1822, № 7, стр. 91. Читалось в Вольном обществе любителей российской словесности.

Сельский сон (стр. 207). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1822, № 4, стр. 109. Читалось в Вольном обществе любителей российской словесности 5 декабря 1821 г.

Клятва (стр. 208). Впервые — «Русский инвалид», 1822, № 12, 14 января, под названием «Изменница». Печ. по сб. «Весенние цветы». М., 1835, стр. 30.

Гусарская песнь (стр. 209). Впервые — «Новости литературы», 1823, № 6, стр. 95.

Подоконье (стр. 209). Впервые — «Новости литературы», 1823, № 9, стр. 143. Изучение славянской мифологии и фольклора,

отыскание «древнейших памятников», переводы «песен разных славянских наречий» — все это входило в программу Вольного общества. На заседаниях общества слушались сообщения о «древних песнях богемских», изданных Ганкой под названием «Краледворская рукопись», о «Собрании песен разных славянских наречий» Челаковского, о переводах Востоковым сербских песен, взятых из «собрания» Вука Стефановича. Приветствуя «Северные цветы» за помещение на страницах альманаха «простонародных песен», «Соревнователь просвещения и благотворения» писал: «В «Северных цветах» помещено несколько простонародных песен: одни греческие, другие сербские, а третьи подражание русским. Переводом простонародных новогреческих песен публика наша обязана Н. И. Гнедичу. Разбирая их поэтические красоты, можно чувствовать, что вдохновение не покинуло еще этой некогда цветущей и счастливой страны, а ныне искупающей последними своими силами долговременное и позорное невольничество» («Соревнователь просвещения и благотворения», 1825, № 1, стр. 107—108). В творчестве Глинки мы находим образцы «простонародных песен»: русских, новогреческих и богемских. Стихотворения «Подоконье», «Разлука», «Сетование», «Подглядчик», «Песня» помечены: «С богемского», или «Подражание богемскому».

К Эльмире (стр. 210). Впервые — «Невский альманах» на 1825 г., стр. 184.

Разлука (стр. 211). Впервые — «Новости литературы», 1825, № 6, стр. 181.

Сетование (стр. 211). Впервые — «Новости литературы», 1825, № 7, стр. 55.

Подглядчик (стр. 212). Впервые — «Северная пчела», 1825, № 59, 16 мая.

Сон русского на чужбине (стр. 212). Впервые — «Северная пчела», 1825, № 74, 20 июня. Печ. по альм. «Венера» на 1831 г., стр. 17. Отрывок из этого стихотворения под названием «Тройка» приобрел большую популярность в качестве народной песни. Отдельно «Тройка» печаталась в «Русском альманахе» на 1832—1833 гг. «Тройка» помещена со следующим редакционным примечанием: «Сия песня, сделавшаяся народной, в первоначальном своем виде составляла часть стихотворения Ф. Н. Глинки «Сон русского на чужбине». Она не была напечатана особо, и оттого ее пели с разными изменениями. Здесь помещается она по желанию самого сочинителя так точно, как вышла из-под изящного пера его».

Картины (стр. 214). Впервые — «Северная пчела», 1825, № 91, 30 июля. *Берд* — шотландская фамилия, известная в промышленном мире России. Здесь — владельцы пароходства на Неве (1815).

Новый год (стр. 216). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1825, № 4, стр. 105.

Чиновник (стр. 217). Впервые — «Невский альманах» на 1826 г., стр. 179. Посвящено Андрею Афанасьевичу *Никитину* (1794—1858), секретарю Вольного общества любителей российской словесности.

Мое занятие (стр. 217). Впервые — «Невский альманах» на 1826 г., стр. 283. *Кесарь* — римский полководец, политический деятель и писатель Юлий Цезарь (102—44 до н. э.)

Хата, песни, вечерница (стр. 218). Впервые — «Федор Глинка. Избранное». Петрозаводск, 1949, стр. 101. *Тарабаны* — барабаны. *Хмельницкий* — см. стр. 465. *Наливайко* Северин (ум. 1597) — руководитель крестьянско-казацкого восстания на Украине в 1594—1596 гг. против польских и украинских магнатов-землевладельцев и шляхты.

Хозяйка (стр. 220). Впервые — «Северная пчела», 1826, № 25, 27 февраля. Это и следующие стихотворения данного цикла написаны несомненно до 1826 г.; многие стихотворения, появившиеся в печати в 1826—1828 гг., были написаны Глинкой до декабрьских событий 1825 г. и проникали в журналы и альманахи с некоторым опозданием.

Много ли надобно? (стр. 221). Впервые — «Новости литературы», 1826, № 1, стр. 46.

Вздох трубадура (стр. 222). Впервые — «Новости литературы», 1826, № 2, стр. 94.

Подрыватель (стр. 223). Впервые — «Сириус» на 1826 г., кн. 1, стр. 185.

Услада (стр. 223). Впервые — «Московский телеграф», 1826, № 8, стр. 129.

К звезде (стр. 224). Впервые — «Московский телеграф», 1826, № 2, стр. 55.

Жатва (стр. 225). Впервые — «Московский телеграф», 1826, № 13, стр. 3, с подписью «Ф. Г.», в оглавлении «Г. Ф. Н.»

Утро вечера мудренее (стр. 225). Впервые — «Невский альманах» на 1826 г., стр. 72.

Мечта (стр. 226). Впервые — «Московский телеграф», 1826, № 1, стр. 8.

Грекам, просящим подаяния (стр. 226). Впервые — «Сириус» на 1826 г., кн. 1, стр. 188. *Иония* — одно из государств древней Греции.

Завеянные следы. К Алине. Сказки (стр. 227—228). Впервые — «Невский альманах» на 1827 г., стр. 188, стр. 220, стр. 238. Предназначались для «Звездочки» Рылеева и Бестужева. Издатель «Невского альманаха» Е. Аладин показал в специальном объяснении Дубельту, что стихотворения Глинки «получены еще в начале 1826 года от самого автора, приславшего их из Петрозаводска, куда он был выслан на службу» («Русский архив», 1901, № 11, стр. 265—266).

Черты осени (стр. 228). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г., стр. 27.

Набег запорожских казаков из Сечи на Волынь (стр. 229). Впервые — «Литературный музеум» на 1827 г., стр. 232. В конце XVII в. Волынь становится местом казацко-крестьянских возмущений, окончившихся знаменитым восстанием под руководством Богдана Хмельницкого (ок. 1595—1657) против польского ига. Украинские стихотворения примыкают к неоконченной повести Глинки «Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» (1818). В годы работы над исторической повестью Глинка совершил путешествие по Украине. «Желая описать блистательную эпоху жизни героя, которая была вместе и незабвенной эпохой освобождения Малороссии, я старался, — пишет Глинка в предисловии к повести, — получить о ней всевозможные сведения во время пребывания в Киеве, Чернигове и на Украине. Я собирал всякого рода предания, входил во все подробности и вслушивался даже в песни народные, которые нередко объясняют разные места истории». В основе украинских стихотворений лежат «исторические черты из Хмельницкого», собранные для предполагаемого «жизнеописания героя». Одновременно с Рылеевым Глинка продолжал работать над украинской тематикой. За несколько дней до 14 декабря 1825 г. Рылеев беседовал с Глинкой о плане предполагаемой трагедии «Богдан Хмельницкий». Написанные, вероятно, до ссылки в Петрозаводск украинские стихотворения Глинки появились в печати уже после декабрьских событий. *Сыромахи* — степные волки. *Кляттор* (польск.) — монастырь.

Достопамятное сватовство (стр. 230). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 51, 28 апреля, с подписью «Ф. Г.»

Переговоры в Белой Церкви (стр. 231). Впервые — «Северные цветы» на 1828 г., стр. 80. Имеются в виду переговоры между Богданом Хмельницким и польско-литовскими предводителями, проходившие под Белой Церковью (1651).

Приключение (стр. 233). Впервые — «Северные цветы» на 1827 г., стр. 289.

Песня («Есть край, где желтеют...») (стр. 233). Впервые — «Галатея», 1830, № 1, стр. 48. Относится к циклу «Подражание богемскому»; не могло появиться в печати в 1825 г. в связи с ссылкой автора.

30 декабря 1825 г. Глинку потребовали в Зимний дворец, но он был отпущен «по высочайшей воле». В этот же день, то есть 30 декабря, он получил от Ф. В. Булгарина любезное письмо с просьбой написать для «Северной пчелы» стихотворение в честь восшествия на престол Николая I. «Сюжет: новый год и новый царь и его качества, — писал Булгарин. — Ради бога, сделайте это. Такой царь стоит вдохновения поэта добродетельного» («Литературный вестник», 1902, № 8, стр. 344). Возможно, что Булгарин действовал и как издатель «Северной пчелы» и как агент тайной полиции, которому было поручено разузнать настроение Глинки. Заказ был выполнен. В новогоднем номере газеты появилось стихотворение «Чувства русского при наступлении 1826 года». Мы не думаем, что это стихотворение было искренним, но иначе писать было нельзя. Глинка намекнул на «глас смиренных» и на необходимость «щедрот благословенных». Через десять дней после появления оды «Чувства русского при наступлении 1826 года» в той же «Северной пчеле» (№ 19) появились «Правила» Глинки:

Собой других не заслонять,
В делах других не поперечить,
В словах своих не пусторечить
И никого не осуждать...
О слабостях людей молчи!
О добродетелях — кричи.

Прежние обязанности члена Союза Благоденствия, в которых говорилось о необходимости «порицать» (Аракчеева, военные поселения, рабство и палки и т. д.), были заменены новыми правилами: «не поперечить», «не пусторечить», «не осуждать». Этих правил Глинка строго придерживался в своих показаниях Следственному комитету, он никого не осуждал, был скуп на слова и с достоинством защищал себя, когда Григорий Перетц, принятый им в свое время в один из филиалов Союза Благоденствия, начинал «пусторечить». Глинка использовал страницы «Северной пчелы» и для того, чтобы предупредить своих сообщников, оставшихся на воле, как следует вести себя во время следствия в случае ареста. Стихотворения «Псалом 62», «Буря», «Гром», «Стихии (к богу)», «Всемогущество», «Приближение господа любви», «Восстановителю», «Создателю», «Весна», «Луна», «Повсеместный свет», «Голубице», «Теперь и будет», «Соразмерность», «Возрасты», «Правила», «Правило», «Из шелку и мочал шнур нашей жизни вьется...», «Наука», «Зачем?», «Причины», «Мечты», «К луне», «Два счастья», «Дожди», «К солнцу», «Надежда» — входят в «тюремную тетрадь», состоящую из стихотворений, написанных в Петропавловской крепости. Все 26 стихотворений значатся в списке, озаглавленном «Число и поименование пьес, сложенных с 9 марта». Сверху первого листа «тетради» поставлена дата: «31 мая 1826 г.». Ясно, что 31 мая Глинка составил список стихотворений, сочиненных им «с 9 марта». В это время, то есть в марте—мае, он находился в Петропавловской крепости. Некоторые стихотворения из «тюремной тетради» были опубликованы при жизни Глинки. Одни, без подписи автора или под ини-

циалами «Ф. Г.» в 1827 г. попали на страницы «Северной пчелы»; другие появились позже в альманахах «Альбом северных муз» на 1828 г., «Денница» на 1831 г.; некоторые «духовные» стихотворения из «тюремной тетради» попали почти через 45 лет в 1-й том погодинского издания (см. ниже). Но значительная часть тюремных стихотворений так и не увидела тогда света. Полностью «тюремная тетрадь» была напечатана только после революции (Федор Глинка. Избранное. Петрозаводск, 1949). В «тюремную тетрадь» входит «Псалом 62». Полагаем, что этот полемический псалом направлен против Григория Перетца: Глинка встретил показания Перетца с явным озлоблением и раздражением, он категорически отрицал свою вину, просил произвести повальный обыск, говорил, что «за слово не судят», третировал как сочинителя «злоумышленной клеветы», считал себя жертвой извета и проч. В списке стихотворений, «сложенных с 9 марта», поименованы отсутствующие в «тетради» «Желание простоты», «Нетленные глаза», «Вера», «Любовь», «На склоне дня, опершись на карниз...», «Я вижу, на небе обнова...», «Я искушен премудростью твоей...». С другой стороны в «тетрадь» входят отсутствующие в списке стихотворения («Узник к мотыльку», «Обеты», «Упование» и др.). Полагаем, что стихотворения, не вошедшие в число пьес, сложенных с 9 марта, написаны также в Петропавловской крепости или сразу же после освобождения Глинки из заключения, то есть в мае 1826 г.

Псалом 62 (стр. 237). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 249.

Гром (стр. 238). Впервые — «Денница» на 1831 г., стр. 122.

Стихии (стр. 239). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 53, 3 мая, без подписи. Вошло в Собр. соч., т. 1.

Всемогущество (стр. 239). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 53, 3 мая, без подписи. Вошло в Собр. соч., т. 1.

Приближение господа любви (стр. 240). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 305.

Восстановителю (стр. 240). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 70, стр. 3. Вошло в Собр. соч., т. 1.

Создателю (стр. 240). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 303.

Весна («Уже душистей стали ели...») (стр. 241). Впервые — «Денница» на 1831 г., стр. 92.

Голубице (стр. 242). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 87, 21 июля, с подписью «Ф. Г.». Вошло в Собр. соч., т. 1.

Возрасты (стр. 243). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 90, 22 июля, с подписью «Ф. Г.».

Наука (стр. 244). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 90, 22 июля, с подписью «Ф. Г.».

Мечты (стр. 245). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 89. 26 июля.

Вера. Надежда. Любовь (стр. 246—247). Впервые — «Альбом северных муз» на 1828 г., стр. 322—324. Значатся в списке стихотворений, «сложенных с 9 марта», но (кроме «Надежды») отсутствуют в «тюремной тетради».

Молитва (стр. 247). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 418. В погодинском издании датируется 1826 г. Полагаем, что стихотворение было написано в самом начале 1826 г., сразу же после первого вызова Глинки в Зимний дворец (30 декабря 1825 г.), окончившегося тем, что его отпустили по «высочайшей воле» домой. Глинковский «челн» еще мало пострадал на «пенном лоне вод»; «И я и челн мой цел». Такова заключительная строка молитвы. Тот же мотив о благополучном «челне» содержится в стихотворении «Поклоны».

Обеты. Упование (стр. 248—249). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 89, 26 июля. Вошли в Собр. соч., т. 1, с подписью «Ф. Г.».

Узник к мотыльку (стр. 249). Впервые — «Русский зритель», 1828, № 5—6, стр. 52. Печ. по «Славянину», 1830, № 2, стр. 148.

Песнь узника (стр. 249). Впервые с именем Ф. Глинки — без десяти последних строк — в составе «Дева карельских лесов» (Петрозаводск, 1939). Печ. по «Венере» на 1831 г., ч. 1, стр. 36. Приписывалось А. Полежаеву и Рылееву. Во втором томе «Собрания сочинений декабристов» (Лейпциг, 1862, стр. 201) напечатано как стихотворение Рылеева. В 1871 г. П. А. Ефремов, публикуя в III томе «Русской старины» неизданные «думы» Рылеева, перепечатал стихотворение «Узник» на том основании, что «во множестве рукописей, нам попадавшихся, всегда приписывается Рылееву». Познакомившись с публикацией Ефремова, Глинка послал в редакцию «Русской старины» небольшую заметку, в которой утверждал, что этот романс «отнюдь не Полежаева и нисколько не Рылеева; это просто одного моего знакомого!» «Мой знакомый» и был сам Глинка. Первый набросок будущего «Узника» находится в стихотворениях, написанных в Петропавловской крепости. Стихотворение стало популярной народной песней. В образе узника Глинка изобразил декабриста. Отсюда появление 6-й и 7-й строф, в которых поэт призывает царя к «милосердию». Этот призыв объясняется необоснованными надеждами на возможность помилования осужденных декабристов. *Заневские башни* — Петропавловская крепость.

Сравнение (стр. 250). Впервые — «Северная пчела», 1827, № 53, 3 мая, без подписи. *Скучна страна, куда меня замчали бури.* Речь идет об Олонии, куда Глинка прибыл с фельдъегерем на поселение 30 июля 1826 г. Ср. с описанием Олонецкой губернии в поэме «Карелия».

Вздох (стр. 251). Впервые — «Литературный музеум» на 1827 г., стр. 270. Подобные же мотивы содержатся в письме к Н. И.

Гнедичу от 24 марта 1829 г.: «С тех пор несчастия схватили и бросили меня в страну, отброшенную от сообщений с живым гражданским миром, которая, как некая страшная тайна, скрыта, погружена в глубине дремучих лесов Карелии, наводнена бесчисленными озерами, загромождена безобразными обломками разрушенных первобытных гор. В сих то местах, в Петрозаводске, который разве по самозванству считается городом (да еще и губернским!), провождаю я, не смею сказать жизнь, но бытие томительное, теряя силы и лета» («Отчет имп. Публичной библиотеки на 1895 год». СПб., 1898, приложения, стр. 37).

Поклоны (стр. 252). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 354. В разделе «Без означения годов». Написано в начале следственного дела; образ «челна» осмыслен в плане личной судьбы: «А я цел в своем углу». 11 марта 1826 г. Глинка был снова взят под арест в конфетной лавке, где он пил чай, и посажен в особый арестантский покой. В стихотворении «Два счастья», входящем в «тюремную тетрадь», мотив благополучия исчезает и вместо него появляется сознание собственного драматического положения: «Еще в пути моя ладья, Еще кругом туман и волны, И будет что? — Не знаю я!».

Илия — богу. Бог — Илие. Из псалма 43-го (стр. 253). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 241, стр. 242, стр. 247, в разделе «Без означения годов».

К богу (стр. 254). Впервые — «Славянин», 1827, № 26, стр. 467.

Утреннее чувство (стр. 255). Впервые — «Альбом северных муз» на 1828 г., стр. 112. Вошло в Собр. соч., т. 1.

Кто он? (стр. 256). Впервые — «Московский вестник», 1827, № 24, стр. 383.

А ветер выл (стр. 257). Впервые — «Невский альманах» на 1828 г., стр. 17.

Канарейка (стр. 258). Впервые — «Альбом северных муз» на 1828 г., стр. 171.

Тоска больной Нины (стр. 258). Впервые — «Невский альманах» на 1828 г., стр. 341.

Глас (стр. 259). Впервые — «Литературный музеум» на 1827 г., стр. 47. О датировке см. вступительную заметку к примечаниям. Вошло в Собр. соч., т. 1. Стихотворение «Глас» написано в связи с годовщиной пребывания декабристов на каторге и ссылке и выражало надежду на амнистию и новую встречу с друзьями: «Уж годы скорби пронеслись», «Уже грехов истерлись цепи», «Расклепались кандалы», «Повеет сладкое прощенье», «И люди встретятся как братья», «Друг другу кинутся в объятья».

Призвание (стр. 260). Впервые — «Одесский альманах» на 1840 г., стр. 509. Вошло в Собр. соч., т. 1. В «Рукописном собрании

стихотворений» следует сразу же после стихотворений, написанных в Петропавловской крепости. Тема о пловцах не является только автобиографической. Она вырастает из ранней публицистики Глинки, из его речей на заседаниях Вольного общества любителей российской словесности. 19 июля 1822 г., вскоре после официального рескрипта о запрещении в России масонских лож и тайных обществ, когда над головой петербургских республиканцев сгустились тучи реакции, Глинка обратился к членам Вольного общества любителей российской словесности с речью, в которой предупреждал, что «сегодня пловцы наслаждаются безопасностью в пристани надежной, а завтра свирепая буря мещет рассеянные челны их по зыбям моря кипящего» («Соревнователь просвещения и благотворения», 1822, № 8, стр. 226). В «Призвании» на первом плане тема гибели декабристов, один из мотивов пушкинского «Ариона», — «Погиб и кормщик и пловец».

Ночная весенняя картина (стр. 261). Впервые — «Славянин», 1828, № 36, стр. 380.

Рождение арфы (стр. 262). Впервые — сб. «Современники», т. 2. СПб., 1863, стр. 337. Написано в ссылке в 1827—1828 гг. В конце 1827 г. Глинка познакомился с проф. Шегрен, крупнейшим знатоком финно-угорских языков, который с научной целью совершил путешествие из Финляндии в Карелию (см. основной текст — примечание Глинки). Среди бумаг поэта сохранилось дружеское послание под названием «Петрозаводская руна», в которой ссыльный поэт приветствует ученого слогом «Калевалы» (см. В. Базанов. «Карельские поэмы Федора Глинки». Петрозаводск, 1945, стр. 98). Стихотворение «Рождение арфы» соответствует 41-й руне «Калевалы» в переводе проф. Бельского, где изображается игра Вейнемейнена (см. ниже) на кантеле (в переводе Глинки кантеле заменено арфой).

Вейнамена и Юковайна (стр. 264). Впервые — «Славянин», 1828, № 21, стр. 308. Соответствует 3-й руне «Калевалы», в которой изображается состязание в пении. *Вейнамена* (Вейнемейнен) и *Юковайна* (Юкохайне) — герои карело-финского эпоса.

Услуга от медведей (стр. 265). Впервые — «Невский альманах» на 1829 г., стр. 38.

Разгульные (стр. 267). Впервые — «Карманная книжка для любителей русской старины и словесности» на 1829 г., стр. 388.

Звуки (стр. 269). Впервые — «Галатея», 1829, № 2, стр. 88.

Листок и человек (стр. 270). Впервые — «Сын отечества», 1829, № 9, стр. 103.

Степь (стр. 271). Впервые — «Галатея», 1829, № 28, стр. 99.

Романс («Восток краснеет за горою...») (стр. 271). Впервые — «Славянин», 1829, № 1—2, стр. 68.

Нива (стр. 272). Впервые — «Царское село» на 1830 г., стр. 5.

Летний северный вечер (стр. 273). Впервые — «Царское село» на 1830 г., стр. 165.

Мать-убийца (стр. 274). Впервые — «Денница» на 1830 г., стр. 154.

Олонецкая песня (стр. 275). Впервые — «Царское село» на 1830 г., стр. 240, без подписи. Одно из характерных стихотворений олонецкой ссылки, рассчитанное на специальную догадливость петербургских друзей. Фольклорно-песенный сюжет используется для изображения личной трагедии. «Олонецкая песня» была задумана как своеобразное поэтическое обращение «К родным, друзьям, в *природный* край». В письмах к друзьям Глинка обычно рассказывал о подневольной жизни в Олонии, жаловался на свое здоровье, напоминал о дружбе и просил помощи. «Непостижимое единообразие, — писал он в 1829 г. в письме к Н. И. Гнедичу, — существует во всех здешних занятиях, и какая судьба ожидает?.. Подле меня сидит советник, изъедаемый *раком*, последствием пыльных канцелярских трудов. Выбежишь за город — нагое поле, усеянное могилами *председателей*, *судей* и *советников*. Невольно родится мысль: «Господи боже! Неужели придется умереть на чужбине, в сей стране, где и самая весна, пролетая быстро, как испуганная птица, не успевает нагреть могилы и вырастить на ней цветок!» («Отчет имп. Публичной библиотеки за 1895 г.». СПб., 1898, приложения, стр. 38).

Засуха (стр. 276). Впервые — «Денница» на 1830 г., стр. 167.

Призыв (стр. 277). Впервые — «Галатея», 1829, № 37, стр. 38.

К лугу (стр. 277). Впервые — «Невский альманах» на 1830 г., стр. 265.

Весеннее чувство (стр. 278). Впервые — «Денница» на 1830 г., стр. 90. Вошло в Собр. соч., т. 1.

Псалом 136 (стр. 279). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 255, в разделе «Без означения годов». Ср. с «Плачем плененных иудеев», появившемся в «Полярной звезде» на 1823 г. В «Плаче» Глинка трактовал псалом 136 в духе высокой гражданской патетики: «тираны», «глас свободы», «злодеев слух», «неволи дни суровы», «рабы, влачащие оковы». В год ссылки псалом 136 воспринимается поэтом как грустная повесть о «переселенцах», гонимых с родной земли. *Вавилон* — столица древнехалдейского царства, один из самых больших и богатых городов древнего Востока.

Несмысленность (стр. 280). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 415, где датировано 1826 г. Очевидно, написано после произнесения приговора над декабристами.

Грусть в тишине (стр. 280). Впервые — «Комета Белы» на 1833 г., стр. 24.

Песнь бродяги (стр. 281). Впервые — Федор Глинка. Избранное. Петрозаводск, 1949, стр. 107. Поэт ссыльный переносит свои переживания на мужика, видит в его судьбе подобие и образ собственной своей судьбы. Стихи показательны для того демократического стиля, который был усвоен поэзией Глинки еще в его ранних опытах «народной» поэзии.

Глас к богу (стр. 282). Впервые — «Карманная книжка...», 1830, № 4, стр. 494. Вошло в Собр. соч., т. 1, под названием «Гимн богу» и с незначительными изменениями.

От супруга супруге (стр. 283). Впервые — «Подснежник» на 1830 г., стр. 32.

Отрадное чувство (стр. 284). Впервые — «Северные цветы» на 1831 г., стр. 24.

К почтовому колокольчику (стр. 284). Впервые — Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1831, № 97, 5 декабря. Обычная грусть «сиротины на чужбине» заменяется яркой описательной картиной. Вместо расплывчатых эмоций и отчаяния — своеобразный путевой очерк в стихах, изображение народного быта: почтовый тракт, «колесистый дом» и «синие русские сарафаны». Звучит в тон и лад «ямщицкого романса», как бы являясь продолжением знаменитой «Тройки».

Романс («Желанный гость, мой друг младой...») (стр. 285). Впервые — «Венок граций» на 1838 г., стр. 34. Относится к периоду олонецкой ссылки. По всей вероятности, написан в 1830 г. перед отъездом в Тверскую губернию. Глинка неоднократно обращался к Николаю I и Бенкендорфу с просьбой перевести его в другую губернию. «Три тяжких томительных года прошли с тех пор, как я, — писал Глинка в своем прошении, — нахожусь в великом несчастии, испытывая все тягости униженной судьбы и пребывания в стороне чужой и пустынной». За него хлопотали Жуковский, Гнедич, Пушкин. В 1830 г. Глинка по высочайшему повелению был переведен в чине штатского советника в тверское губернское правление. В Твери он женился на Евдокии Павловне Голенищевой-Кутузовой.

Иов. Свободное подражание священной книге Иова (стр. 287). Впервые полностью — отдельным изданием, СПб., 1859. Переложение книги Иова Глинка начал в первый год своего пребывания в ссылке. Об этом свидетельствует письмо поэта к А. А. Ивановскому, датированное августом 1826 г. «Пылкость и жизнь мыслей, утоленная, заморенная холодным чтением безобразной приказной прозы, — писал Глинка из Петрозаводска, — начинает оживать в сии часы глубокого вечернего уединения. Тут внешний мир мало-помалу отслоняется, и промежуток между им и душою занимается какой-то высшею стихиею. В таком расположении работаю я что-нибудь в

прозе, иногда пишу и в стихах, например «Иова» («Русская старина», 1889, № 7, стр. 120). Отрывки из «Иова» появились в 1828 г. в «Сыне отечества» (№ 7), с пометой: «1827 г., марта 21, г. Петрозаводск». Несколько фрагментов «Иова» в 1831 г. проникли в «Телескоп» (№ 5, стр. 24). В 1834 г. Глинка закончил «Свободное подражание священной книге Иова». Спустя четверть века, в 1859 г., после длительного поединка с цензурой, «свободное подражание» вышло отдельной книгой. Вошло в Собр. соч., т. 3. Духовная цензура не одобрила «свободное подражание» по причинам, изложенным в журнале заседания С.-Петербургского цензурного комитета от 11 августа 1836 г.: «Статья 3-я. Слушали отношение С.-Петербургского комитета духовной цензуры от 3-го августа, за № 136, коим оный уведомлял, что рукопись под названием: «Свободное преложение книги Иова» Ф. Глинки, по отзыву цензора, признанному комитетом справедливым, не может быть одобрена к напечатанию: ибо а) во введении прелагатель обнаруживает ложный взгляд на книгу Иова, — называет ее драмой, каковое название может ввести в соблазн простого читателя, ибо, по его мнению, драма представляется только на театре; а книга Иова есть каноническая книга священного писания. Прелагатель держится мнения, что Иов был дуалист и что сама книга много повреждена от разных причин. б) В самом переводе прелагатель позволяет себе излишнюю вольность: влагает в уста Иова и его друзей такие мысли, каких нет ни в еврейском, ни в славянском тексте, например:

Бедняк! Ты другом божьим слыл,
Прекрасно друг тебя почил!
Воздень с угрозой к небу длань
И, посмеясь над горней силой,
Отважно бога прокляни
И надругайся над судьбою.

Притом прелагатель посвящает свободное преложение «Иова» жене своей. Кажется, что такое посвящение не совсем согласно с верностью канонической книги священного писания. в) «Краткое извлечение из критического разбора на книгу Иова». Этот критический разбор книги Иова, еще рукописный, не принадлежит прелагателю и, по его словам, сделан человеком умным и знающим — вероятно, для классических упражнений юношества, обучающегося в духовных училищах, что, следовательно, не доказано и чего доказать нельзя, ибо ни в каких духовных училищах не видно руководства. Посему извлечение из сего разбора не может быть пропущено к напечатанию. Определено задержать рукопись при делах комитета и о запрещении оной уведомить прочие цензурные комитеты». Цензор А. В. Никитенко в своем отзыве указывал на ряд мест переложения, где Иов вступает в открытую полемику с богом: «Иов в тяжелых муках страдания обращается к богу, которые выражены иногда весьма сильно. Например:

Казнитель злых казнит и добрых:
Незримый хлещет бич его
В чело надменного злодея,
Но часто и смиренным он

Кровавые наносит раны...
Когда же жизнь для всех... То пусть
Казнил бы вдруг. Почто же мучить,
И сокрушать за костью кость,
Вытягивать за жилой жилу
И над болезнью страшных ран
Смеяться! Горе! Нечестивым
Земля на муку отдана...
О боже! Я тобой гоним!
Как страшный лев с своей добычей:
Отпустит, даст на миг вздохнуть
И вмиг, одним прыжком, хватает
И держит бедную в когтях...
Так ты со мной: ослабишь муку
И муками пронзаешь вновь...
Кто знает: что там, за могилой,
И оживет ли человек?..
Но где же бог? Вотще взываю,
Вотще кругом его ищу:
Гляжу направо — исчезает,
Налево — нет! Вверху, внизу...
Ни пред собой, ни за собою
Его не вижу... Бога нет!

Таких мест встречается довольно много в преложении «Иова». Хотя подобные мысли и находятся в славянском переводе, но, будучи облечены в другую одежду выражений, они не поражают столько читателей». (Материалы С.-Петербургского цензурного комитета опубликованы нами в книге «Карельские поэмы Федора Глинки». Петрозаводск, 1945, стр. 108—124.) Следуя за текстом священного писания, Глинка не рабски подражает ему, он свободно перелагает «Книгу Иова». Глинка вводит в свое переложение образ сатаны, отсутствующий в священном писании. Жертвой сатаны, надменного «злоначальника», становится многострадальный Иов. «Это изображение сатаны, — писал священник Архангельский, — слишком образно и напоминает вымысел народной фантазии» («Странник», 1860, № 1, стр. 26). Вражда между сатаной и Иовом имеет прямое отношение к пережитому Глинкой во время суда и следствия. В своих следственных показаниях он энергично защищался, говорил, что виной всему — его прежняя борьба с всесильным начальником канцелярии петербургского генерал-губернатора Геттуном; он просил Следственный комитет дать «возможность ответствовать на вопрошания, доставить случай перед очами комиссии посмотреть в очи тех или тому, кто решился обвинять меня по злобе или заблуждению». «Кто же не был жертвой клеветы?» — спрашивал он. Вместо права посмотреть в глаза «подспудным доносителям» Глинка получил ссылку в Олонецкую губернию. Он воспринял решение суда как явную несправедливость и продолжал считать себя жертвой клеветы и неправосудия. В предисловии к «Свободному подражанию священной книге Иова» Глинка сам указывает на сходство переживаний Иова с его собственным настроением: «Тогда на берегах величественных озер — этих огромных зеркал, в которых отражалось небо Севера,

в местах, загроможденных обломками какого-то древнего мира, — раскрыл я опять книгу Иова, — и как изумился, не найдя в ней прежней неясности... Душа невольно сроднилась со страдальцем: века исчезли, расстояния не стало... Я понял его муки, разгадал тайны скорби, непостижимой для счастливцев мира». Наиболее справедливую оценку переложение Глинки получило в 1850 г. в «Русском слове»: «Несмотря на негармоническую растянутость этой поэмы, как стройного целого, несмотря на несовременный, чересчур уже цветисто-семейный и наивно-интимный элемент предисловия и посвящения, несмотря на некоторую небрежность отделки большей части безрифмованного стиха, которая как-то невольно отзывает старчеством, и дикость некоторых неестественно придуманных автором слов и натянутых выражений, мы не можем не указать на несколько прекрасных, благородных мест поэмы, которые доходят до высоко-энергического порыва и дышат неподдельной, искренней поэзией и благородством убеждений» («Русское слово», 1850, № 6, стр. 106).

Дева карельских лесов (стр. 296). При жизни поэта в печати появилось два отрывка. «Не все могильной тишиною...» и «Я говорил: любви не стало...». Появились они в «Северных цветах» на 1832 г. (стр. 94 и 138) при ближайшем участии А. С. Пушкина, который в ноябре 1831 г. просил Глинку послать стихи в память барона Дельвига. «Милостивый государь Федор Николаевич, — писал Пушкин 21 ноября 1831 г., — мы здесь затеяли в память нашего Дельвига издать последние «Северные цветы». Изо всех его друзей только Вас да Баратынского не досчитались мы на поэтической тризне; именно тех двух поэтов, с коими, после лицейских его друзей, более всего был он связан... Надеюсь еще на Вашу благосклонность и на Ваши стихи. Может быть, увижу Вас скоро; по крайней мере, приятно кончить мне письмо мое сим желанием» (А. С. Пушкин, т. 10. М.—Л., 1949, стр. 390). Через неделю, то есть 28 ноября, Глинка ответил Пушкину не менее искренним письмом и благодарил его за приглашение участвовать в предполагаемом издании последних «Северных цветов», в память А. А. Дельвига. Кроме двух отрывков из поэмы «Дева карельских лесов», Глинка послал в «Северные цветы» «Псалом 103» и стихотворение «Созерцание». Отрывок «Я далеко на полночь заходил...» появился в 1846 г., в «Москвитянине» (№ 1, стр. 70) под названием Странник». Полностью поэма опубликована нами в 1939 г. в Петрозаводске. На титульном листе рукописи сохранилась следующая пометка рукою поэта: «Дева карельских лесов, Андрею Афанасьевичу Никитину, 1828 год, марта 6, в г. Петрозаводске». В отличие от публикаций 1939 г., в настоящем издании первые 25 стихов «Я далеко на полночь заходил...» восстанавливаются по журнальному тексту («Москвитянин»). Отрывок из поэмы под названием «Лесные войны», печатавшийся ранее («Дева карельских лесов». Петрозаводск, 1939) как отдельный фрагмент из поэмы, вводится в основное повествование, составляя 12, 13, 14, 15 разделы третьей части. Во внимание принимается позднейшая авторская правка, те незначительные изменения, которые внесены поэтом в журнальный текст.

Часть 1. Раздел 10. *Корбы* — см. стр. 273.

Часть 2. Раздел 3. *«Пируют Иовы сыны...»* и т. д. — переложение библейского сюжета из книги Иова.

Часть 3. Раздел 11. *Созданье бога Вейнамены* — кантеле, финский струнный музыкальный инструмент; у Глинки — арфа. Раздел 15. *Троя* — древний город, находившийся на месте нынешнего форта Кум-Кале. *Мантинея* — город древней Греции (в Аркадии). Основан в V веке до н. э. *Эпаминонд* (IV в. до н. э.) — греческий полководец. Один из руководителей борьбы Фив против Спарты за независимость.

Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой (стр. 343). Впервые — отдельным изданием. СПб., 1830. Отрывки из поэмы появились в 1829 г. в «Подснежнике» (стр. 55) и «Карманной книжке для любителей русской старины и словесности» (стр. 341). В № 7 «Литературной газеты» за 1830 г. сообщалось о ближайшем выходе в свет: «К концу сего месяца отпечатается «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой», описательное стихотворение Ф. Н. Глинки, в четырех частях или песнях. В рамке исторического события поэт изобразил предания и поверия лесной Карелы. Четыре сказки о витязе Заонеге, помещенные в 3-й части, носят на себе общую печать русских народных сказок, чудесных в подвигах и богатырских встречах. Но более всего читателям понравится в «Карелии» местность тамошнего края, изображенная во всей дикой красоте. Примечания о нравах, обычаях, повериях карелов и пр. также весьма любопытны». Вошло в Собр. соч., т. 3. Фактически в «Карелии» объединены три сюжета: исторический — о Марфе Иоанновне Романовой, сосланной Борисом Годуновым в Толвуйский погост; рассказ монаха-отшельника о прибытии его в Карелию и его духовные речи; фольклорно-этнографический, состоящий из картин карельской природы и изображения быта северных крестьян. Показательно, что внимание современников было обращено исключительно на описательные картины и фольклорные мотивы «Карелии»; на первом месте в отношении такой оценки следует поставить отзыв Пушкина. «Изо всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, — писал Пушкин, — может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в станцах метафизических, или Крылова в сатирической притче. Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностью, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной, — все дает особенную печать его произведениям. Поэма «Карелия» служит подкреплением сего мнения. В ней, как в зеркале, видны достоинства и недостатки нашего поэта» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. 11, 1949, стр. 110). Мнение Пушкина нашло широкое подтверждение в критике 30-х гг., единодушно отметившей положительное значение поэмы «Карелия». Просматривая

обзоры и рецензии в периодике 30-х гг. («Северный Меркурий», «Карманная книжка...», «Денница», «Московский вестник» и др.), нетрудно убедиться, что пушкинская рецензия определила мнение многих рецензентов, писавших о «Карелии». А. Воейков, например, ограничился тем, что в № 46 «Русского инвалида» (от 19 февраля 1830 г.) перепечатал отзыв Пушкина, сократив цитаты из поэмы. С мнением «Литературной газеты» солидаризовалась «Карманная книжка...», отмечавшая вслед за Пушкиным, что «из всех наших поэтов, он (Глинка. — *В. Б.*), может быть, есть самый оригинальный, что поэма «Карелия» служит новым сему доказательством и что в ней видим все его достоинства и вместе его недостатки». «Ф. Н. Глинка, — писал С. Раич в «Отечественных записках», — принадлежит весьма к малому числу наших поэтов. Его муза облекается в особенную одежду, говорит языком особенным, и, своенравная в своих поступках, безотчетливая, она не следует ходу подражания, но проложила себе дорогу отдельную, не придерживаясь слепо ни партии французского классицизма, ни новейшего романтизма... Приводимая мифология карельцев любопытна, а более того занимательна по сатирическим оборотам и намекам поэта. Четыре сказки о витязе Заонеге носят на себе общую печать русских народных сказок: чудесное в подвигах и богатырских встречах, язык чист и плавен, но вообще имеет особенную какую-то печать; нет в нем ни германской легкости Жуковского, ни постепенности живописного Пушкина. Ф. Н. Глинка, подобно князю Вяземскому, Языкову и Батюшкову, — оригинален, напечатлен, так сказать, свыше каким-то *дивным отличием!*» («Отечественные записки», 1830, № 5, стр. 255—256). Справедливую оценку поэмы дал Орест Сомов в «Северных цветах»: «Событие, заимствованное из истории, служило ему только рамками для поэмы описательной. Прекрасная в своей дикости природа Карелии, с ее чудными водопадами, с ее дремучими лесами, несчетными озерами и тундрами, изображена в картине великолепной, верной, заманчивой своим разнообразием. Одно из вводных лиц — назидательный собеседник знаменитой заточницы Марфы Иоанновны — рассказывает ей свою повесть, в которой поэт искусно совокупил с превратностями жизни инока набожные свои мечтания и восторги духовные, излитые в лирических отрывках. Нравы лесной Карелы, ее предания и поверия, духи, населяющие ее северные пустыни, народные сказки ее — все это набросано кистью смелою и пленяет теплотою красок, которою отличаются произведения нашего поэта-живописца» («Северные цветы» на 1831 г., стр. 44—45). Восторженно встретил поэму «Карелия» «Северный Меркурий». В этой газете Глинка назывался «народным поэтом», а его поэма, при всех ее недостатках, — произведением превосходным. «Наиболее народный из русских стихотворцев есть Ф. Н. Глинка, — писал рецензент в «Северном Меркурии». — Доброжелательная любовь к родной стране и производимая ею полнота души, тонкое чувство изящного, открывшее тайну поэзии в русской природе, в русских нравах, политической жизни России, русский язык со всей его выразительностью, точностью, гибкостью и благозвучием — вот, по нашему мнению, отличительный характер того рода стихотворений Глинки, который ставит его, в отношении к народности, на первое

место между русскими стихотворцами и делает сего поэта драгоценным достоянием России» («Северный Меркурий», 1830, № 22, 19 февраля.)

Введение. *Россини* Джоакино (1792—1858) — итальянский композитор, составивший эпоху в развитии итальянской оперы. *Орфей* (греч. миф.) — певец, укрощавший своим пением диких зверей.

Часть первая. *Сойма* — см. стр. 400. *Иемия* — Иемен, государство в Аравии. *Ясли Вифлеема.* По библейскому преданию, в яслях в городе Вифлееме лежал новорожденный Христос. *Внимает младая Лазаря сестра благому господу Мария.* По библейскому преданию, у Лазаря, друга Христа, было две сестры — благочестивая Мария и погруженная в житейские заботы Марфа.

Часть вторая. *Мстислав с Редедей.* Имеется в виду летописное предание о поединке в 1022 г. тмутараканского князя Мстислава Владимировича с касожским богатырем, князем Редедей. Поединок решил исход борьбы между Тмутараканью и касогами. *Байя* — древнеримский приморский город близ Неаполя. *Марон* Публий Вергилий (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор героической поэмы «Энеида». *Кончина мира, гибель дней.* Здесь говорится о кончине мира, предсказанной «Апокалипсисом» (раннехристианское произведение, помещенное в конце Нового завета), написанном, по библейскому преданию, на острове Патмосе. *Омир* — Гомер. *Авзония* — Италия.

Часть третья. *Соломон* (993—953 до н. э.) — иудейский царь и мудрец. *Сампсон* — библейский герой, обладавший необыкновенной силой. *Уткин* Николай Иванович (1780—1863) — выдающийся русский гравер. *Укша, Косалма, Конче* — селения Карелии. Раздел 3. *Мреже* (церковнослав.) — рыболовная сеть.

Часть четвертая. Раздел 17. *Аполион* — смерть, преисподня (греч. перевод еврейск. Аваддон — уничтожение бытия). *Луда* (церковнослав.) — камень, выступающий из воды, прибрежная каменистая мель.

1830—1875

Ранняя весна на родине (стр. 407). Впервые — «Альциона» на 1831 г., стр. 39. Написано в связи с посещением в 1831 г. села Сутоки Смоленской губернии, где родился поэт.

Купальня (стр. 407). Впервые — «Альциона» на 1831 г., стр. 68.

К милому дитяти (стр. 408). Впервые — «Альциона» на 1831 г., стр. 3.

Бедность и утешение (стр. 408). Впервые — «Северные цветы» на 1831 г., стр. 72. Прочитав в «Северных цветах» стихотворение, представлявшее интимное обращение поэта к жене, Пушкин в письме к Плетневу от 7 января 1831 г, иронизировал: «Бедный

Глинка работает как батрак, а проку все нет. Кажется мне, он с горя рехнулся. Кого вздумал просить к себе в кумовья!»

Осень и сельское житье (стр. 408). Впервые — «Северные цветы» на 1831 г., стр. 83.

К N*** (стр. 409). Впервые — «Сиротка» на 1831 г., стр. 117.

Воспоминание (стр. 410). Впервые — Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1831, № 43, 30 мая, стр. 334.

Сельская вечеря (стр. 410). Впервые — «Одесский альманах» на 1831 г., стр. 259.

К деве, подательнице сновидений (стр. 411). Впервые — «Телескоп», 1831, № 3, стр. 310.

Псалом 103 (стр. 412). Впервые — «Северные цветы» на 1832 г., стр. 158. Это стихотворение Глинка послал Пушкину из Твери в 1831 г. вместе с двумя отрывками из «Девы карельских лесов» в ответ на его приглашение принять участие в издании альманаха, посвященного памяти Дельвига.

Я долго, долго бы глядел (стр. 414). Впервые — «Эвтерпа» на 1831 г., стр. 167.

Первый снег (стр. 415). Впервые — Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1832, № 74, 14 сентября, стр. 591.

Неизвестность (стр. 415). Впервые — Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1832, № 43, 28 мая, стр. 342.

Постояльцы (стр. 416). Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. 3, стр. 22.

Ангел (стр. 417). Впервые — «Современник», 1837, т. 7, стр. 146, вошло в Собр. соч., т. 1, под названием «Песнь об ангеле».

Погоня (стр. 418). Впервые — «Альманах 1838 года», стр. 83.

Воспоминание о пиитической жизни Пушкина (стр. 420). Впервые — отдельным изданием, М., 1837, где есть второй заголовок — «Пушкин-поэт. Воспоминания». Перепечатано в «Библиотеке для чтения», 1837, т. 21, стр. 85, с искажениями, сделанными, очевидно, редактором журнала О. И. Сенковским. С Пушкиным Глинку связывали узы многолетней дружбы. В августе 1830 г., когда Глинка переехал из Петрозаводска в Тверь, Пушкин вместе с кн. Вяземским по пути из Москвы в Петербург встретили своего старого знакомого, который продолжал находиться под тайным надзором полиции. «Драгоценное посещение Ваше, — признавался Глинка в письме к Пушкину, — для меня сугубо памятно. Вы утешили меня, как почитателя Вашего, давно желающего Вас видеть

и обнять, и, в то же время, Вы приняли во мне участие как человек, в котором совсем не отразился настоящий век. С добродушием, приличным старому, доброму времени, Вы сами взялись похлопотать (разумеется, по возможности) об улучшении моего положения. Вот Вам тетрадка. Имейте великодушие ее прочесть, и Вы увидите, каково было мое служение в Олонецкой губернии и как я рекомендован» («Бумаги А. С. Пушкина», вып. 1. М., 1881, стр. 32). Поэма «Воспоминание о пиитической жизни Пушкина» является живым откликом на трагическую смерть «поэта-великана». *Эмпирей* (греч. миф.)— верхнее небо, где живут боги. *Северная Пальмира* — Петербург. Пальмира — город в Сирии, знаменитый своими величественными сооружениями. *Таврида* — древнее название Крымского полуострова. *Нереиды* (греч. миф.) — морские нимфы. *Итака* — остров, родина легендарного Одиссея, на который он вернулся после многолетних скитаний. *Мельмот* — герой романа Матюрена «Мельмот-скиталец».

1812 год (стр. 426). Впервые — «Галатея», 1839, № 34, стр. 501.

Звезда (стр. 429). Впервые — «Утренняя заря» на 1840 г., стр. 247.

Москва (стр. 431). Впервые — «Москвитянин», 1841, № 1, стр. 29. В той же части «Москвитянина» напечатана программная статья Шевырева «Взгляд русского на современное образование в Европе». «Москва, — писал Шевырев, — есть то верное горнило, в котором переливается все пришлое от Запада и получает чистую печать русской народности». Патриотический гимн Глинки перекликается с этой статьей Шевырева. Среди неопубликованных стихотворений поэта имеется «Привет и прошение граду Петра», в котором содержится обычная для славянофилов отрицательная характеристика Петербурга:

Слышала Москва-старушка,
Что богат ты больно стал:
Весь обделан, как игрушка,
Весь сияешь, как кристалл! . .

. . .Чудо стал ты, барин Питер!
Страх в тебе нам, москвичам:
Ты собрал со всех палитер
Краски на соблазн очам!

«Мы понимаем, — писал Белинский в ответе «Москвитянину», — что господам славянофилам, живущим в Москве, очень лестно прикрыться именем такого важного в России города, как Москва, и завербовать в свои ряды всех москвичей поголовно, но лестно ли это будет для Москвы и москвичей, — вот вопрос!» (Полное собрание сочинений, т. 10. М., 1956, стр. 224).

Раздумье (стр. 432). Впервые — «Современник», 1841, т. 23, стр. 174.

Рейн и Москва (стр. 433). Впервые — «Москвитянин», 1841, № 7, стр. 7—9, с пометой: «23 февраля».

Славное погребение (стр. 435). Впервые — «Москвитянин», 1850, № 2, стр. 184.

К портрету *** (стр. 435). Впервые — «Маяк», 1843, № 16, стр. 11.

В защиту поэта (стр. 436). Впервые — Федор Глинка. Избранное. Петрозаводск, 1949, стр. 150. Ранний вариант под названием «Два я» появился в 1841 году в «Маяке» (№ 15, стр. 25). В стихотворении «В защиту поэта» дается определение поэзии, близкое ранним взглядам Глинки. В стихотворении «Два я» поэт проповедует примирение с действительностью: поединок поэта-гражданина с поэтом-созерцателем кончается осуждением того, кто «боролся» и «бился». Ниже стихотворение «Два я» приводится по тексту «Маяка»:

Два я боролися во мне:
Один рвался в мятеж тревоги,
Другому сладко в *тишине*,
Сидеть вблизи большой дороги,
С самим собой, в себе самом;
На рынок жизни — в шум и гром —
Тот, бедный, суетливо мчался:
То в вышину взлетал орлом,
То змеем в прахе пресмыкался,
То сам пугался, то страшил,
Блистал, шумел, дивил, слепил,
Боролся, бился, протеснялся,
И, весь изранен, весь избит,
Осуетился, омрачился...
Но, кинув свой заботный быт,
Он к я *другому* возвратился.
Что ж *тот?* — А *тот*, один одним.
Не трогаясь, не возмущаясь
И не страша и не пугаясь,
В тиши, таинственно питаясь
Высоким, истинным, святым,
В какой-то чудной, детской неге,
В каком-то полусне, на бреге,
У самых вод живых, сидел
И улыбался и светлел!
Кто ж в выигрыше? — Один, мятежный,
Принес с собой и *мрак* и *пыль*,
Туман и смрад, и смерти *гниль;*
Другой, как цвет в пустыне нежной,
Спокойный, чистый, как эфир,
Пил до́сыта *любовь* и *мир*, —
Счастливец! пировал свой пир
Под золотым любви наметом:
Он веровал, он был поэтом!..

Заздравный кубок А. П. Ермолову (стр. 437). Печ. по тексту, опубликованному в книге Александра Ермолова «Алексей Петрович Ермолов. Биографический очерк». СПб., 1912, стр. 190. *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — ученик Суворова, герой Отечественной войны 1812 г., после смерти Кутузова популярнейший генерал русской армии. Его ненависть к крепостничеству, политическое вольномыслие, независимость в отношениях с царем снискали ему популярность в декабристских кругах. Александр I, опасаясь этой популярности, удалил его на Кавказ (1816—1827). В качестве командира кавказского корпуса русского войска одержал ряд побед, определивших исход покорения Кавказа, его историческую судьбу — вместе с Россией, а не со странами Ближнего Востока. После разгрома декабристов Ермолов, связанный с ними, был отстранен Николаем I от дел и жил несколько десятилетий в опале. Именно как к опальному генералу, к Ермолову обращались Пушкин и Лермонтов. В этом же ряду стоит и обращение Глинки.

Ф. И. Тютчеву (стр. 438). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 482, с пометой: «1849».

<Стихи о бывшем Семеновском полку> (стр. 439). Впервые — «Русский архив», 1875, № 12, стр. 422. Стихотворение записано и сообщено В. Д. Давыдовым. Семеновский полк — один из старейших гвардейских полков, в котором служили видные декабристы, в том числе С. М. Муравьев-Апостол и И. Д. Якушкин. В 1820 г. произошло известное восстание Семеновского полка. Встретившись с Г. А. Перетцем в день восстания в Семеновском полку у Поцелуева моста, Глинка сказал: «У нас начинается революция» и рассказал о бунте сем, о коем я, — признавался Перетц, — ничего не знал, о строгом с сим полком поступлении, несмотря на то, что покойным графом Милорадовичем якобы обещано было прощение» («Каторга и ссылка», 1926, № 4, стр. 109). Стихотворение написано в 1856 г. в связи с возвращением в Москву амнистированного декабриста И. Д. Якушкина, старого члена Семеновской артели. *Вспомянем мы хоть про Новинки* — имение Ивана Николаевича Толстого, находящееся на границе Московской губернии. *Где благородный Муравьев* — Матвей Муравьев-Апостол. *Где, у семьи благословенной* — семья И. Н. Толстого, бывшего семеновца, в имении которого амнистированные декабристы нашли приют, так как им не разрешалось после возвращения из Сибири жить в Москве. *Якушкин наш в объятьях сына* — Евгений Якушкин, сын декабриста, привезший своего больного отца в Новинки.

Слезы умиления (стр. 441). Впервые — Собр. соч. т. 1, стр. 291.

Что делать? (стр. 442). Впервые — Собр. соч., т. 1, стр. 319.

Элегия (стр. 442). Впервые — «Русский архив», 1886, № 2, стр. 228, с пометой: «Тверь, 16 ноября 1869 г.» Представляет собой добавление к элегии И. М. Муравьева-Апостола, сочиненной

на греческом языке по случаю событий 14 декабря 1825 г. Глинка сделал свое добавление в связи с возвращением М. И. Муравьева-Апостола из ссылки. Три лавровых дерева олицетворяют трех сыновей-декабристов И. М. Муравьева: Матвея Ивановича (1793—1886), Сергея Ивановича (1796—1826) и Ипполита Ивановича (1806—1826). Приводим перевод текста элегии И. М. Муравьева-Апостола, опубликованный в «Русском архиве»: «Три лавровые дерева, предмет гордости посадившего их, полны силы и прелести юной красы, росли, сплетаясь ветвями и устремя верхи свои к небу, стояли крепко, прямо и были славой отчизны. Но Зевс грянул перуном — неслыханное дело! — в дерева, посвященные Фебу, и поразил их до корня! Они потеряли красу свою и теперь повержены на той земле, которую должны были любить и защищать. Какая же участь того, кто их посадил? .. Осиротевшая глава его лежит под их пеплом! ..»

Невысказанная тайна. Две дороги (стр. 443—444). Впервые — по рукописному собранию стихотворений Глинки — Федор Глинка. Избранное. Петрозаводск, 1949, стр. 151, 154. Написаны после олонецкой ссылки. Точная дата написания неизвестна.

Два я (стр. 445). Впервые — Федор Глинка. Избранное. Петрозаводск, 1949, стр. 158. Одно из последних стихотворений. Завершает тему о судьбе поэта. См. примечание к стихотворению «В защиту поэта».

Исправление

Стихотворение «К N***» (стр. 409) было впервые опубликовано в «Соревнователе просвещения и благотворения», 1820, № 5, стр. 184. По техническим причинам оно не могло быть перенесено на стр. 202.

*

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Ф. Н. Глинка. Литография Беггрова с гравюры К. Афанасьева. 1825. Пушкинский дом АН СССР.

2. *Стр. 101.* Титульный лист трагедии «Вельзен, или Освобожденная Голландия». Смоленск, 1810. Пушкинский дом АН СССР.

3. *Стр. 151.* Титульный лист сборника «Опыты священной поэзии». Пушкинский Дом АН СССР.

4. *Между стр. 352 и 353.* Титульный лист поэмы Ф. Н. Глинки «Карелия». СПб., 1830. С дарственной надписью А. С. Пушкину. Пушкинский дом АН СССР.

5. *Между стр. 368 и 369.* Ф. Н. Глинка. Фотография Н. Лоринковича с прижизненного портрета 1840—1850-х годов. Пушкинский дом АН СССР.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

ОПЫТЫ СВЯЩЕННОЙ ПОЭЗИИ

ОПЫТЫ ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХ ОПИСАНИЙ В СТИХАХ

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1826—1830

1830—1875

Глинка Федор Николаевич
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редактор *Э. Э. Найдич*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *И. Г. Клейнер*

Сдано в набор 23/X 1957 г. Подписано в печать 11/XII 1957 г. Бумага 84×108/32 Печ. л. 31 7/8 (26,14). Уч.-изд. л. 25,81. Тираж 20 000. Заказ № 959. Цена 9 р. 35 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., д. 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
17	11 св.	боюсь	боясь
25	4 сн.	«Два я»	«В защиту поэта»
32	22 св.	иносказательные описания	иносказательных описаний
34	10 сн.	На невских	В заневских
46	20 сн.	храм	трон
52	15 сн.	И И Дмитриев	М А. Дмитриев
135	3 св.	И карты	И в карты
252	17 сн.	молвил	молил
273	*Под стихотворением «Летний северный вечер» выпала дата: «Между 1827—1829».*		
278	14 сн.	дыханьем	дыханием
278	12 сн.	страданьем	страданием
287	2 св.	переложение священной книги	подражание священной книге
296	15 св.	сил	сих
335	6 св.	Слышен, шумнее	Шумнее слышен
338	7 св.	дым	дом
375	17 сн.	И в многое	И многое
394	11 сн.	ряд	род
422	9 сн.	Чайльд	Чильд
423	15 св.	*Мельмонта*	*Мельмота*